АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ

Подстриженными глазами

YMCA - PRESS
ПАРИЖ

АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ

Подстриженными глазами

Книга узлов и закрут памяти

YMCA - PRESS
ПАРИЖ

Copyright 1951 by YMCA-PRESS
Société à responsabilité limitée, Paris.
Tous droits réservés.

УЗЛЫ И ЗАКРУТЫ

В человеческой памяти есть узлы и закруты, и в этих узлах-закрутах «жизнь» человека, и узлы эти на всю жизнь. Пока жив человек. Говорят, что перед смертью «вспоминается вся жизнь», так ли это? и не искусственный ли это прием беллетристики? Перед смертью ничего не вспоминается — «одна мука телесная» и больше ничего. Потому что «смерть» это только какой-то срыв, но никакой конец — ведь и самое слово «конец» тоже из беллетристики. Узлы памяти человеческой можно проследить до бесконечности. Темы и образы больших писателей — яркий пример уходящей в бездонность памяти. Но не только Гоголь, Толстой, Достоевский, но и все мы — постоянные или просто сотрудники, гастролеры и иногородние, и те, кто выпускает свои книги в издательстве, и те, кто за свой счет, и те, кто, как я, терпеливо переписывает без всякой надежды на издание, все равно, все мы в какой-то мере на своих каких-то пристрастиях, на вдруг напахивающих мотивах ясно видим по явной их беспричинности нашу пропамять, и кто же не чувствует, что о каком-то конце можно говорить только в рассказах, искусственно ограниченных. Узлы сопровождают человека по путям жизни: вдруг вспомнишь или вдруг приснится: в снах ведь не одна только путаница жизни, не только откровение или погодные назнамен*а*, но и глубокие, из глуби выходящие, воспоминания. Написать книгу «узлов и закрут», значит написать больше, чем свою жизнь, датированную метрическим годом рождения, и такая книга будет о том, «чего не могу позабыть».

Разве могу забыть я воскресный монастырский колокол густой, тяжелым серебром катящийся поверх красных Захаровских труб и необозримых Всесвятских огородов с раскрытыми зелеными парниками, легко и гулко проникающий в распахнутые окна детской, раздвигая, как ивовые прутья, крепкие дубовые решетки — предосторожность и преграду лунатикам.

Родился я в сердце Москвы, в Замоскворечье у Каменного «Каинова» моста, и первое, что я увидел, лунные кремлевские башни, а красный звон Ивановской колокольни — первый оклик, на который я встрепенулся. Но моя память начинается позже, когда с матерью мы переехали на Яузу, и там прошло мое детство по близости от самаго древнего московского монастыря — Андрониева. Летним блистающим утром в воскресенье, когда Москва загорается золотом куполов и гудит колоколами к позней обедне, из всех звонов звон этого колокола, настигая меня в комнате или на Яузе на тех окатистых дорожках, где ходить не велено и где спят или бродят одни «коты» с Хитровки, возбуждал во мне какое-то мучительное воспоминание. Я слушал его, весь — слух, как слушают песню — такие есть у всякого песни памяти, как что-то неотразимо знакомое, и не мог восстановить; и мое мучительное чувство доходило до острой тоски: чувствуя себя кругом заброшенным на земле, я с горечью ждал, что кто-то или что-то подскажет, кто-то окликнет — кто-то узнает меня. И теперь, когда в Андрониеве монастыре расчищают Рублевскую стенопись, для меня многое стало ясным. И еще раньше — я понял, когда читал житие протопопа Аввакума: в Андрониеве монастыре сидел он на цепи, кинутый в темную палатку — «ушла в землю»: «никто ко мне не приходил, токмо мыши и тараканы, и сверчки кричат и блох довольно». И тот же самый колокол — «густой тяжелый колокольный звон» вызвал в памяти Достоевского по жгучести самый пламенный образ в мировой литературе: мать, просящая у сына прощенье. Я хочу сказать — я чувствую непрерывность жизни духа и проницаемость

в глубь жизни; искусство Андрея Рублева, страда и слово Аввакума и эта жгучая память Достоевского — этот вихрь боли — Мать с ее «глубоким медленным длинным поклоном», все это прошло на путях моего духа и закрутилось в воскресном колокольном звоне древнего московского монастыря. И я знаю, этот звон — с него начинается моя странная странническая жизнь — я унесу с собой.

Весенний зеленый вечер, у соседей зацвела черемуха, и эти белые цветы для меня, как в Париже весною каштан. Я вышел, когда совсем смерклось и зелень вдруг почернела. Мать ушла ко всенощной и долго не возвращается — я и вышел ее встретить. И сразу увидел и так отчетливо, как по своей близорукости никак бы не мог увидеть: не то она остановилась передохнуть, не то медленно подвигалась, но как медленно! и я понял, что ей очень трудно — с ногой что-то. Я поспешил навстречу, взял ее под руку, и не глядя, не спрашивая, стали мы подвигаться и я почувствовал такую тяжесть, не вел я, а нес человека. И то что можно было пройти в минуты, мне показалось, час. И когда, наконец, вошли мы в прихожую и она сбросила с себя пальто — какая глубокая печаль лежала тенью около ее губ! — и в одной руке зонтик, в другой моя палка, низко нагнувшись к земле, как на четвереньках, переступила она в комнату — и черные слезы, я это так вижу неизгладимо до боли, черные полились из ее вспугнутых истерпевшихся глаз.

Или это страждущая моя тень — боль, от которой мне никак не уйти? Какая-то женщина в мэтро на остановке поднялась и направилась к двери: в руках у нее большой сверток, очень мешал ей. И когда переступила она из вагона, дверцы автоматически закрылись, защемив подол. Если бы не в ту же минуту — — и рванувшимся поездом, сбив с ног, втянуло бы ее под колесо! — но в ту минуту кто-то из соседей успел распахнуть дверцы — и поезд тронулся. В окно я видел мельком белый неудобный сверток. И увидев этот сверток, я увидел и то, что могло быть, — и

саднящая ноющая боль обожгла меня: я видел — не в окне — а там — я вижу до мельчайших подробностей замученное лицо, вспугнутые остановившиеся глаза и содранная кожа на спресованных в морковь пальцах.

Вы, неразлучные мои спутники, боль и бедность, на каком пути и когда — вы не помните? — наша первая встреча?

Булонский лес перед глазами, но пройти до него — сгоришь. Такая была июльская жара. Рядом на скамейку села женщина, нагруженная старьем. И не разберешь, старая она или не старая — такое утомление и в лице и в руках, опустившихся вместе с узлом и сломанной клеткой. И видно было, села она не для того, чтобы ждать трамвая, а чтобы только передохнув, через силу подняться и через силу продолжать свой раскаленный путь. Я видел и через ее тяжелые опущенные веки — в ее глазах лежала пропастная дорога. А это была сама бедность — так близко — плечо к плечу. И я узнал ее: такие не просят — на их пути остался один только камень.

Place de la Madeleine — у каменного выступа Маделен прямо на тротуаре — не минуешь; ближе к сумеркам, но еще все отчетливо; резкий ветер захлестывал и подгонял: бегом — но она сидела — или путь ее окончился? — голова, обмотанная в тряпках, тряслась, и вся она, все ее тряпки, тряслись — было до боли холодно, и я подумал: «я бы кричал». Но она не кричала: лицо ее красное ошпаренное, и как ошпаренная крыса лапками, так она руками делала, как умывалась. — —. И потом в мэтро, когда я возвращался домой — час разъезда: народу две волны, но и через головы я увидел: он стоял отдельно, не в очереди, никуда не торопясь — да ему никуда не ехать да и не на что — какой ужасный холод! — и какая покинутость, с каким отчаянием смотрел он!

Разве могу забыть я «столповой» распев Большого Московского Успенского Собора — одноголосый унисон литии, знаменный догматик и затканную серебром песенную пелену — эту голубую глубь — древние напевы дымящейся синим росным ладаном до самой прозрачной августовской зари бесконечной всенощной под Успеньев день. Родился ли я таким — и в этом моя глубокая память или с детства в мой слух незаметно вошло — песенный строй: лад древних напевов. А этот лад не навеянный голос, а голос самой русской земли. И этот лад — моя мера и мой — суд. И в серебряном ливе Гоголевского слова, засветившегося мне из черной Диканьской ночи, я узнал его лад русской земли.

И разве забыть мне каменные скользящие плиты, тесные приделы у Николы Великорецкого — в храме Василия Блаженного, и эти тяжелые вериги по стене — какими глазами я глядел на них! Это были мои вериги — добровольно надеть на себя и итти в мир за страдой. Но однажды, выйдя на Красную площадь и невольно сторонясь кровавого Лобного места, я вдруг остановился: явственно надо мной выговаривал дьячий голос — «а велел его держать за крепкими сторожи, сковав руки и ноги и на шее цепь».

Trances perpetuelles... боязнь кругосветная или всесветный страх. Узел неразвязываемый и никак неразвязывающийся. Я окружен постоянным страхом и невозможно привыкнуть. Боюсь переходить улицы, боюсь мостов — в Сену ветром снесет шляпу, а если дует сильный, то и меня со шляпой, а когда в Нарве нас погнали из карантина на вокзал разгружать багаж — Нарвский мост мне и теперь снится! —я стал на четвереньки; боюсь автомобилей, автобусов, трамваев, автокаров и редких в Париже лошадей — я боюсь ездить в автокарах и в автобусах и, конечно, в автомобиле, мне все кажется, или опрокинет или наскочит; я боюсь ездить по железной дороге и в мэтро, я всегда думаю о крушении, а все встречные лошади грозят мне ударить

подковой; на аэропланах же и без всякого аппарата, как тибетские ламы, я летаю только во сне и совсем бесстрашно. Засыпая, вдруг просыпаюсь и прислушиваюсь, не случилось ли, не горит ли? И встаю проверить, закрыт ли газ, но и без пожара я боюсь ночи: как часто, засыпая, я вдруг вижу бледно-голубую звезду или блестящий шар, разрывающийся у меня где-то в голове или серый стальной автомобиль, сухо громыхая колесами, промчится сквозь мою голову и я вздрогну такой дрожью, от которой проходит всякий сон. А в грозу — днем ли, ночью ли — я всегда боюсь, молния попадет в дом. Я никогда не ем рыбу — боюсь подавиться косточкой, и эти косточки мне мерещутся во всякой еде и я со страхом отстраняюсь от самых тоненьких жилок. В театре и концерте я сижу, как на иголках: мне все кажется, рухнет потолок или начнется пожар. В кинематограф я никогда не хожу. И представьте мою тревогу и вечерний трепет, когда целых два года пришлось прожить и не по соседству, а над кино! В парикмахерской я боюсь бритвы, я бреюсь сам, но все равно при стрижке всегда натачивается бритва и лезвие меня приводит в ужас. На улице страх подстерегает из-за углов, а в домах из-за дверей. А когда я попадаю в деревню, начинаются другие страхи: я боюсь собак, коров; меня пугают комары, врывающиеся в окно жуки, пчелы, осы, шмели и падающие камнем летучие мыши — все живое, вся движущаяся, снующая, плодящаяся «природа»: да и вещи — всегда может упасть и стукнуть по голове. Зимой я боюсь мороза, осенью дождя, весной простудиться, а летом гроз. Всякий день просыпаясь, я совершенно спокойно говорю, что это мой последний день, а ложась — моя последняя ночь. И все-таки я боюсь какой-то нечаянной гибели — какой-то «наглой» смерти. И днем и ночью всегда на-стороже и в опаске: я боюсь писем — со страхом разрываю конверт и раскрываю газету, боюсь, ожидая человека, с которым условился о свидании и всю дорогу и особенно у дверей того дома, куда мне назначили. Боюсь входить в магазин, боюсь спросить улицу, боюсь опоздать в театр и

на поезд. Я боюсь каждого незнакомого и знакомого. Весь живой мир для меня страшен: жду ли я, что вот ни с того, ни с сего меня ударят или скажут грубое слово и я не найдусь, что ответить, или просто зададут вопрос, а и при самых немудреных вопросах я теряюсь. Во всем мире единственное существо кот Кори, к моему удивлению, не скрывая, меня боялся, но стоило нам прожить вместе один только летний месяц и на следующее лето, когда мы снова встретились, этот рыжий Кориган не только меня не забоялся, а куда я, туда и он. Пожалуй, есть еще — Дюк: Дюк пока что боится — завидя меня, он с какой-то гнетущей грустью убегает — а если бы он знал весь мой собачий страх! Но когда и Дюк перебоится, нас останется двое: мир — грозящий и я со своим страхом. А ведь я люблю и землю и цветы и деревья и море и грозу, я люблю музыку, люблю и джаз, люблю и цыганские песни, и мне больно перед болью и несчастьем человеческим и мне жалко зверей и я берегу вещи и я чувствую себя «человеком» перед глубокой мыслью человеческой, перед поступком человека большого сердца, смелости и мужества. И не могу победить моего страха. И вот кругосветная боязнь так загоняет меня, и я завидую кроту — какое счастье слепым кротом спрятаться под землю и там глубоко свободно — в волю — вздохнуть: бояться нечего! И когда выпадет счастливый час, там из-под земли послушать бурю — и это тоже узел моей памяти: мое самое любимое, когда на Океане бушует буря и черный хаос, самый ужасный, затягивает свою слепую черную песню, черной горечью заливая никогда не успокаивающееся мое бушующее сердце.

⁂

И разве могу забыть я вечер с такой ширью пожаром разлившейся вечерней зарей — Тула, та самая Тула, где Лесков подковал на подковы стальную аглицкую блоху, Тула, известная своими самоварами, пряниками, ножами, ру-

жьями, а прославившаяся на весь мир и навсегда Ясной Поляной.

После дневного зноя с душною, пыльною крутью вечером, уложившим в свой красный закат весь дневной серый ветер, нас, таких же, как ветер, серых, погнали на вокзал, чтобы с тяжелым пассажирским поездом отправить в Москву. На самом конце платформы около водокачки оцепленные конвоем, мы ждали поезда. День был праздничный, и среди отъезжающих, провожатых и просто вышедших погулять по платформе немало нашлось любопытных, заглядывавших за наш круг. И я стоя в стороне, разглядывал лица, и мне казались все похожими друг на друга, — у всех были, как мне казалось, точно втягивающие в себя, напряженные глаза; так, должно быть, и все мы были на одно лицо с одним, но потерянным глазом: арестанты. Староста, проворовавшийся Лесковский Левша, хлопотал с чаем: по дороге мы получили подаяние и медными деньгами, и калачи.

В глазах у меня все еще живо стояли дорожные встречи — я знаю, что я думал, когда приходилось с воли слышать звяклый звон кандалов, но я не знал, что думали — какая своя боль и беда томилась в этих долгих взглядах, провожавших наш печальный потерянный путь или это было невольное и мучительное: в звяклом звоне обличающий тебя голос в твоей вине за всех; мне все еще виделась повязанная темным платком — мать ли это, потерявшая сына, или бабушка, пережившая и детей и внуков, и как крестясь и бессловесно шепча, сунула она мне в мою свободную руку копейку, и как зажал я в моей свободной руке горячую, единственную и, может быть, последнюю; мне все еще виделось, как из освещенного дома выбегали одна за другой по ковровой нарядной лестнице, еще наряднее казавшиеся от кровавого фонаря и как призраки: искаженные черные рты их выплевывали отборную ругань, перемешивая с жалостными словами — «голубчик», и как вдруг волю я почувствовал — никогда ни раньше, ни потом, я не видел с

такой ширью пожаром разливавшейся вечерней зари, и такую безграничную и такую глубокую, с каждым вольно вдохнутым воздухом наполнявшей меня в моей неволе: рука моя была соединена с рукой соседа стальной «баранкой», а сосед был на голову выше меня.

Левша расжился кипятком — такой вот огромадный чайник, заварил в жестяном чайничке чай и раздает калачи. И тут я увидел: мальчик, лет двенадцати, — и как это раньше я его не заметил? — худенький в серой пропыленной курточке, робко держал он свою кружку и калач. Или и тогда, как гнали на вокзал, затесненный, робел? И все обратили на него внимание. Видно было, что он очень голоден. Но не по тому, как пьет он и ест — ему еще налили кружку — а по тому, как заговорил он, когда стали понукать «расскажи», я почувствовал, и я знаю, не один я, вдруг, как свет осветил наш серый, оцепленный конвоем, круг. Торопясь, точно чем-то обрадованный, рассказывал он каким-то оттепленным голосом — так только после долгого молчания загнанный человек, вдруг очутившийся под тихими глазами, может сказать. И в голосе его был тот самый свет — и весть и какая-то память — свет, который глубже проник, и мне больно становилось от его самых обыкновенных слов. Путаясь, рассказывал он, как, начитавшись Майн-Рида и Жюль-Верна, он убежал из Приюта искать приключений — Америка! и как его поймали и теперь гонят домой — в Москву.

«Жизнь человеческая ни в грош не ценится!» — это я еще тогда всем сердцем понял и из сердца спросил себя: «какая жестокая рука написала этот закон и какое «мраморное» сердце исполняет этот закон?».

Завтра с горячим солнцем наш тяжелый поезд медленно подойдет к облаговестанной колоколами Москве — буду глядеть из-за решетки окна — сначала Рогожское кладбище, потом белая башенная стена Андрониева и многоярус-

ная белая колокольня, и как колокольня, с другой стороны, красные кирпичные трубы Гужона, потом проедем мост, — высокая насыпь, — буду искать за домами Захаровскую фабрику, Малый Полуярославский переулок с садами; завтра на Курском вокзале выстроят серую стену: впереди те, кто на каторгу, а за ними те, кто в Сибирь на поселение, а за ними те — — и под звяклый звон кандалов напролом громыхающей Москве, — ломовые, крючники, кладь, железо, хлопок, лотки, разносчики, дребезжащие пролетки и прорывающийся трезвон — через Садовые, мимо Сухаревки, Самотекой, Слободской на Бутырки.

И этот звяклый звон сквозь — зачем и почему и кому это нужно? — никогда не заглохнет в моем раскрывшемся сердце к человеческой беде и боли.

И еще, как закрута, в памяти ночь. Звездная ночь и как звезды, блестит хрупкий синий снег. Выйдешь из дому — захватывает дух, а вернешься — белый свет полосой от ледяного окна в морозных цветах к дышащей теплом до-синя белой изразцовой печке. Московская зима — моя первая память. Но никогда я не чувствовал ее так живо, как однажды на Океане, в десятилетнюю память Блока. Моя напряженная мысль вызвала его, как живого, и вот мы опять встретились.

У меня сказалось, что я должен быть один. И я увидел себя в том самом доме в Москве на Яузе у Полуярославского моста. В окне стоит луна и такая огромная, какой виделась мне в детстве, и белый свет широкой полосой от окна к печке. И в этой белой лунной полосе вдруг я увидел Блока. Как и в жизни, улыбаясь, он протянул мне руку. И мне показалось по его одежде, что он прошел большой — бесконечный путь, и этот путь вел его через жестокую зиму, и нет у него крова, и странствие — его доля, и одиночество и молчание — его удел, и что за десять прошедших лет в первый раз он видит человека. Но он только смотрел на меня, и по его кроткой улыбке я догадался, что больше

не мучается — не мучает его мороз в его бесприютном бесконечном пути и не знает он больше утомления: все его чувства сожжены. И я подумал: «вот лицо человека, сгоревшие чувства которого обнажили душу!». И еще подумал: «я не ошибся, душа его была беспокойная — беспокоющаяся — всегда тревожная, и вот без чувств он успокоенный — какая кротость и ясность!». — «Если бы двери восприятий были очищены, всякая вещь показалась бы людям такой, какая она есть — бесконечной», — прочитал я у Блейка в его «Венчании неба и ада» и очнулся. И снова увидел: в окне огромная луна — белый свет широкой полосой от окна к печке. И от этого лунного света такая тишина, словно бы во всей Москве все вымерли, и один только я. И мне стало страшно. «Но ведь еще страшней ходить по земле чужим среди чужих!», — подумал я. И тогда в комнату вошли. И, увидя живых людей, я сказал: «Сейчас я видел Блока».

И разве могу забыть я холодный августовский вечер. А это было в день смерти Блока. Наш телячий поезд по пути к Нарве, нейтральная зона: на той стороне солдат в щегольской английской форме, сапоги по пояс, а на этой — наш русский. И каким нищим показался мне этот красноармеец. И вдруг я услышал за спиной голос:

«Прощайте, товарищ!».

И этот голос прозвучал отчетливо, в нем было такое кипящее — из рассеченного сердца последним словом. И на это последнее слово — Россия! — я весь вздрогнул. Я видел, как красноармеец как-то с затылка неловко снял свой картуз, я видел, обернувшись, — я встретил, и не забуду, глаза — дальше и сверху глядели они, горя, и я узнал этот голос, я его слышал однажды: этот голос — над раскрытой могилой.

Как-то ранней весной — и это тоже колдовская закрута в моей памяти — к нам под окно прилетела маленькая

птичка, и на голом еще платане свила гнездо. Всякое утро я слежу из окна. Скоро весь Париж, как Рождественская елка, уберется белыми свечами расцветших каштанов, а на платане повисли, как орешки, древесные цветы и надулись почки. Я замечаю, как прилетает и улетает птичка: она серенькая, но это не воробушек. А когда я увидел ее в первый раз близко, я и сам не знаю, почему я так обрадовался. И потом понял, что эту птичку нам кто-то послал, тот, кто думает о нас. А ведь это очень странно звучит: «кто-то думает о тебе». По горькому опыту я узнал, что думать о ком-нибудь человек не может, а если раз и подумает, то тотчас и успокоится, поверив и самому вздорному слуху, что кто-то еще позаботился — «подумал». Глядя на птичку, я думал: как все странно на свете — в этом мире, где человек ходит по земле чужой среди чужих и кругом лгут и все на подозрении, но я чувствую, есть какой-то другой мир и мы связаны с ним, есть другая жизнь без этой нашей лжи и подозрения. И эта птичка — я вспомнил курочку протопопа Аввакума: «Божие творение» — и она послана доброй волей и заботой из того мира, потому-то я и обрадовался. И, вспоминая птичку, я чувствую, как тает у меня на сердце и весь мир для меня по-другому.

И есть у меня память о слове. Слово также неизбывно, и неожиданно пришло оно, как эта птичка, а вычитал я у Лескова.

Николай Семеныч! давно я хотел вам сказать, что меня поразило в вас — не ваши «праведники», эти садовники, насаждающие сад на земле, и знаете, Гоголь, о котором вы сказали так хорошо: — «Гоголь, ведь, как известно, помешался перед смертью» — «Вам это известно, что помешался?». «Говорят». «Однако, все сбылось так, как он слышал, а слышал он час своей смерти», — Гоголь сжег II-ю часть «Мертвых Душ» именно за эту «праведность» — на нее у вас был мятеж вашей Лизы, а поразил меня ваш старец Памва, и

не смирение его, которому и имени нет, а его глубочайшее ведение о «правде»: «не кичись правдою!». Ваше слово о Вавилоне, этом столпе кичения, вышедшее из вашего мятежного сердца, когда я его услышал в первый раз, оно мне вдруг осветило и меня самого и мои отношения к людям, — мои отталкивания, мой страх, мои влечения, а также и загадку самого загадочного по своей самоизвольной судьбе — Гоголя. Слыша час своей смерти — «полдневный окликающий голос», Гоголь решительно понял всю чванливость своею «правдой» в «Переписке» и оценив ее, увидел ясно всю черствость — бессветность — своих воображаемых «праведников» — этих цензовых и чиновных садовников, во главе с генерал-губернатором. И, расставшись с последним и единственным добром, своим изъездившим заграницы чемоданом — рукописи сожжены! — принялся за себя... и, исстраждав в «муке телесной», в свою последнюю минуту, я верю, услышал, наконец, в своем сердце расколдовывающее слово всему зачарованому миру, то самое слово, которое тщетно ждал на благословенном месте среди заколдованных мест, на святой земле в Иерусалиме.

Николай Семеныч! ваш старец Памва со своею правдой о правде, как три старца Толстого со своею чистою верой, как Гоголь с его словом от волшебного до-синя серебряного до последнего — белого цвета — самого жаркого и самого пронзительного, горят большим светом над Вавилоном — над этим нашим миром единственным, очарованным, и чванливым своею правдою до лютой смертельной ненависти человека к человеку.

ПОДСТРИЖЕННЫМИ ГЛАЗАМИ

НА СЧАСТЬЕ

Гадальные карты Сведенборга! Эммануил Сведенборг (1688—1772) — какое волшебное имя — и с ним я родился. Я помню эти карты с первой памяти.

Я не отдавал моих глаз земле, как однажды свои отдал крот, но я мало чем отличаюсь от крота. А между тем доля человека начертана мне при моем появлении на свет. И случилось это в самый таинственный час из сокровенных ночей — еще первый петух не запел — в полночь красного лета Купалы.

И это не осталось незамеченным. И как молния и гром среди зимы, запишется в неписанной летописи домашних, близких и знакомых на Москва-реке по Замоскворечью. Будет долго помниться и повторяться: 24-ое июня в полночь рождение человека. А досужие астрологи с Зацепы: черный кузнец, оперенный птичник и чешуйчатый рыбак вечерами по своим каморкам при одноглазой коптилке согнутся над гороскопом. И гороскоп показывает: долголетие, бурю приключений и счастье — девать некуда, богатый человек!

И еще было дознано, сейчас же наутро, в блестящий день блистающего цветами Купалы, что родился в «сорочке». Правда, «бабка» схватила эту «сорочку», унесла из дому, в-тай.

Моя мать рассказывала с большой досадой, она все видела и не могла остановить: «сорочка» эта, как веревка с висельника, приносит счастье!

«Ну и что ж, повешенный без своей веревки, — но какое еще надо ему счастье? А мне без счастливой «сорочки», — но разве украдкой можно меня обездолить?»

Так за меня утешилась мать: я был последний — из пяти братьев меньшой. И все ей сочувствовали.

А при первых «Ладушках», подув мне на ладонь, повела кормилица от пальца к пальцу своим щекотным, а твердым, как сук, пальцем: «Сорока-воровка-где-была-далеко...» Она заметила на моей левой руке на ладони в желобке у большого пальца знак — красное пятнышко, как укол веретеном.

А уколола, — надо так понимать, — своим магическим веретеном Наречница, нарекая мне долю (Наречница-Парка-Норна-Мойра).

А этот знак, такой дар — такая сила счастья — не скрасть и не унести себе «на счастье», разве что с рукой. Будь не на Москве, а где-нибудь на дремучей Онеге, мне давно бы оттяпали левую руку.

Кормилица показала на моей ладони этот знак, и что-то говоря, но слов я не понял, я только чую: она говорила, что этот знак дается не всем, а из всех одному, а означает счастье.

И целуя меня в глаза, в щеки, в губы, в нос, в уши, шею, макушку, темя, она долго держит мою левую руку, не отрывая от ладони своих горячих губ — даже щекотно. Или хотела она выцеловать хоть долю счастья себе от меня, богатого счастьем.

Первое слово, которое мне запало с моим ласкательным именем, было «счастье».

В девять месяцев меня отняли от груди, в одиннадцать я научился ходить и говорю. А кормилица не отходила от нас.

Однажды, обрядясь в дорогу, стала она перед образом и молилась. Она молилась как простые русские люди, со всей теплотой и крепко, со всей русской несомненной верой, смиренно, но и неотступно — последняя надежда. И вдруг, чего-то как вспомнив, обернулась.

«Дай мне твою руку на счастье, эту, — и она показала мне на мою левую и свою поднесла ко мне ладонью, — хлопни!».

Я хлопнул по ее руке. И еще, и еще раз хлопну — мне было чудно и игриво. И все лицо мое в свете глаз моих «нечеловеческих» сияло от счастья.

И это движение моей сияющей счастливой руки и этот мне в-упор пригорюнившийся взгляд — глаза, смотревшие из глуби тревог и с такой несомненною русскою верой, смиренно, но и неотступно, запечатлелись в душе моей навсегда.

И все-то ей исполнится по желанию и вере.

Вечером она вернулась — ее не узнать было. Какая теплота, и свет сиял, когда она, обрадованная, целовала меня в глаза, в щеки, в губы, в нос, в уши, шею, макушку, темя и отмеченную ладошку на левой счастливой руке — со чмоком взасос...

Это было мое первое. И повторилось, и не раз — и с не меньшей удачей. И стало обыкновенным: редкий день кто-нибудь не зайдет в дом — мы жили на фабрике, много рабочих и жены их с детьми — и кто-нибудь всегда попросит:

«Дай ручку на счастье».

Мне всегда было очень приятно хлопать левой рукой по заскорузлым и тяжелым рукам; меня никогда не тяготило одарять моим счастьем.

И это навсегда. И остается неизменно.

С годами обращенный в крота, но вынужденный жить не под землей, в своей стихии, а во враждебной, под солнцем, я чувствую себя таким бедным и беспомощным — чем я могу одарить или измученную душу как и чем обнадежу?

*

Мой природный счастливый дар спаян с именем Сведенборга. Карты Сведенборга, — я встревался моей судьбой в вашу судьбу.

Подлинных карт я никогда не видел. Знаю обыкновенные игральные карты, на обороте рукою матери ясно и четко имена и значение.

Но когда во время гаданья произносились имена, передо мной возникали живые образы: одни сулили удачу, другие грозят бедой, третьи предостерегали. Я «моими» глазами видел всех этих хамелеонов, волков, фазанов, тигров, астролога, водопад, арфу.

И потом, когда прошли годы и годы, и все, кажется, забылось, так давно это было, вдруг я вспомнил эти карты. И рисую их, совсем не думая, как нарисуется, а только вспоминаю, как они легли на столе, голос матери и взлохмаченный у стола черный «гишпанец» — его глаза, ожидающие решения.

Так нарисовались эти мои карты Сведенборга — «бесхитростного знаменования» (dessin inconscient).

Попробовал я нарисовать эти же самые карты, но думая только о рисунке. И вышло — «прилично», но какая пустота и никакого волшебства. Да любой рисовальщик, не чета мне, сделает отчетливее, но и еще скучнее, и Сведенборгу никак не признать за свои карты: астролог будет со знаками зодиака, сфинкс с египетской фотографии, «гишпанец» — тореадор из «Тореадора», «амазонка» — знатная «леди» со старой гравюры, а звери и птицы — смотри Зоологический атлас.

Нагадала ли моя мать себе злую долю, она неохотно гадала, а себе никогда. Или поняла она, что не всякому в разум значение карт, ведь как часто «угроза» предвещает вовсе не горе, а благо человеку, а «благополучие» — распад и развал, сущую беду. Сужу по своим снам, вычитывал про такое и в сказках. Или она щадила человека — боялась «правдой» смутить и развеять последнюю надежду?

И вот что странно — и это уж потом, когда нарисую эти волшебные карты — вспоминая старину, на Святках для забавы около елки в свете свечей гадаю — если по картам выходило плохо, я всегда вычитывал другое из «благопри-

ятных»; а после проверю: да никакой беды не случилось, и все как по моему вышло. Или мое «благоприятное» оказывалось верным истолкованием «угрозы»? Или пожеланием можно отвести грозу и погасить начавшийся пожар бед? Да, видно, что так, но...

Как за моим счастьем, моей отмеченной рукой — в дорогу или при решении и начале дела, появлялись у нас на кухне наши фабричные соседи погадать на Сведенборге. В самом имени Сведенборга, звучавшем как-то на русский лад, передавалась таинственность карт. Если мать уступала и раскладывала карты, я всегда был возле.

Я и так бы не забыл вечера — эти унылые, осенние вечера, с забывом ветра и костяным постукиванием в окно, этих нахмуренных, продрогших, забитых «гишпанцев» и «амазонок» у стола перед разложенными картами, но из всех вечеров особенно памятны, когда я своею судьбой встреваюсь в непререкаемую судьбу Сведенборга. По Сведенборгу выходит темно и угрожает — беда неизбывна! — но моя счастливая рука...

«Дай ручку на счастье!» — скажет который упавшим голосом, потерянный перед неизбежным.

И я хлопал своей левой рукой по черной, мозолистой, трудной руке.

И после самых несчастных карт, приговоренные Сведенборгом, люди уйдут обнадеженные моим счастливым даром: моя счастливая рука развеет и осветит.

Все это я понял и пересказал себе в который раз, когда я вдруг почувствовал, что я один, заброшен, — и как это случилось, меня никто не зовет, и почему забыли? И как бы проверяя жестокую напорхнувшую мысль — разгадку, я невольно посмотрел на свою левую руку. И с ужасом заметил: на ладони в желобке у большого пальца не кровавый укол, а одна бледная точка: счастье покинуло меня.

Но разве нареченное судьбою счастье может покинуть человека? Нет, — доля неизбывна.

И снова — на какой-то срок — я буду чаровать человеческое сердце. Но это совсем про другое. Тут не о руке — с чарующей счастливой рукой покончено — тут мой голос: редчайший среди голосов — альт.

В церкви за всенощной я буду петь в хоре догматики русским старинным распевом с отголоском древних русалий. Глубь и чистота моего голоса раскроют и обедованное, сжатое в комок сердце, и веем надеянной весны я вдохну мир в измученную душу.

ПЕРВЫЕ СКАЗКИ

Когда я смотрю на карточку моей кормилицы, я думаю: Россия — сама русская земля. И вся-то в цветах, праздничная! — ленты, бусы, кокошник, прошивы, кружева — ее поле, ее лето — ее «лелю» и ее «ладо» — от Ивана Купала до Ильина дня. Я счастлив что родился русским на просторной, полной до краев, глубокой без дна, как океан, русской земле Льва Толстого и Достоевского в ее сердце — Москве с освященным в веках Кремлем, «красным звоном», напевной московской речью, и русская кормилица меня выкормила и научила меня ходить по земле.

У меня было две кормилицы. Помню вторую. А о первой — даже имени ее не знаю. Помню разговоры, и всегда называли ее «моя первая кормилица»; я прислушивался, и потому что была первая — мое первое прикосновение к живому, и еще потому, что в словах о ней было для меня непонятное. А взяли ее, очень понравилась матери — такой, говорила мать, я никогда не видала! — а когда через три дня принесла она свой паспорт, оказалось, «желтый билет». И наняли другую, а «первой» отказали.

Евгения Борисовна Петушкова, калужская песельница и сказочница, и меня не отделить от нее. Так из Толмачовского переулка понесла она меня на Пятницкую в дом Рожнова к фотографу Мартынову. Фотограф усадил ее нарядную, и меня с ней, и сказал (хитрый фотограф!): «Смотрите, птичка летит!». И оба мы на «птичку» встрепенулись, тут он и щелкнул. И эта «птичка», судя по карточке, больше во мне: взлет глаз и разлившаяся радостью улыбка, точно говоря — мир так прекрасен, звенящее небо, земля на-

рядна, душиста и тепла! Мне тогда исполнилось семь месяцев жизни. Сколько прошло — какие события! — дважды у нас горело, пожар, а затем война, революция, годы, как столетия, военный коммунизм, мало чего осталось из вещевой памяти, пропала библиотека — долголетнее собрание подобранных любимых книг, путеводные огни памяти, а карточка уцелела. Но даже если бы и погибла, образ моей кормилицы — Евгении Борисовны Петушковой — живет для меня в моих книгах-сказках: *Докука и балагурье* и *Русские женщины*. А с ними неотделим образ: Россия.

А появилась она в Москве в Замоскворечье в Большом Толмачовском переулке не из воли и радости, а по горькой судьбе. На Ивана Купала, как и я, родилась у нее Машутка, а тут слышно, мужа на войну забрали — рабочий на Чугунно-литейном заводе с Зацепы. Она с Машуткой и прикатила в Москву из калужской деревни. Что ей делать? А говорят: такую — в кормилицы возьмут. Не хотелось: жалко расставаться со своим; а согласилась. «Подержите ребенка, сказала она, а я обомру!». И, передав няньке свою Машутку, обмерла. А как очнулась, меня подложили к ее груди и я жадно впился. И она погладила меня своей жесткой рукой и назвала своим ласкательным, созвучным с ее Машуткой. И не одни песни, а и слезы осенили мои первые дни.

Что еще осталось из этих, как сквозь сон, промелькнувших дней? Я помню, как, распеленутый, корчу ноги, задирая к лицу — дети это любят, чтобы руками себя за ноги ловить, еще не отличая своего, а она рукой меня тихонько по груди и по животу, тихонечко: «потягунушки-повалянушки!» — рука жесткая, и немножко щекотно. И еще я помню, что, играя, крепко впивался в ее грудь, и она, оторвав меня, смотрит с укором, качая головой. «Но разве хочу я сделать ей больно?» — говорю я без слов глазами и улыбкой. И этот взлет глаз и эта разливающаяся радостью улыбка покоряет ее: ее взгляд уже не тот, и она, наклоняясь ко мне и тряся головой, как это делают с детьми, играя, целует «под

душку» — очень щекотно, и опять я слышу свое ласковое имя, созвучное с Машуткой.

Девять месяцев она кормила меня, и я был с ней неразлучен. И долго потом безотчетно я ее помнил — меня уж никто не называл тем именем и с той женской простонародной интонацией, неповторимой в моем произношении, моя невольная память исходила из самого существа: я чувствовал запах ее молока. Вдруг, и это как запах «чистого поля», цветов и травы в Париже в самую бесснежную зиму и гололедицу, вдруг.

И еще я помню: кот Наумка, мой ровесник. Как, бывало, меня кормить, он тут-как-тут: караулит. А уложат меня в кровать — около кровати верблюжья шкура (цибики с чаем завертывают китайцы), так обрезок: на этой шкуре — на лысинке кот и пристраивался; поищется-почешется, свернется калачиком и поет-баюкает — Наумка! И всегда чего-то он озабоченный, таким я его вижу. А как тепло от его шерстки, переливчатого мягкого брюшка, бархатных лапок, и тишина от его дыхания! Семь лет был он со мной неразлучен, храню о нем память в сказках — в моей *Посолони*. О коте вспоминала и кормилица: и ей — как позабыть! Как изгладить из памяти те дни, не дни, долгие месяцы, когда она кормила меня: муж на войне, о Машутке забота. Проснется ночью — огонек от лампадки, да Наумка на верблюжьей лысинке дышит, и тишина — тишина не тихости, покоя и мира, а эта — рвущихся слов разбитого сердца, щемящей жалобы и затаенных вздохов.

С двух лет начинаю отчетливо помнить. Я словно проснулся и был, как брошен в мир — за какое преступление или для каких испытаний? — в мир, населенный чудовищами, призрачный со спутанной явью и сновидением, красочный и звучащий нераздельно, красногрознозвонный.

Мое пробуждение вышло из крови, больно. Затеев какую-то игру (или это только так говорится: «игра», а вернее, что кто-то взял меня за руку и повел), я влез на комод и с комода упал носом на железную игрушечную печку. И с

ясностью последних минут приговоренного к казни (я это встретил в «Идиоте» Достоевского) я увидел на моем белом пикейном платье, а меня еще наряжали, как девочку, по белым рубчикам кровь и из сини окон свинцовую грозовую тучу, белую башенную стену и колокольню Андрониева монастыря, красный, утыканный, как щетка, гвоздями — острием забор перед домом, усатых турок в зеленых шароварах на обоях детской — турки, высоко подкидывая ноги, плясали! И не так от боли, а что вдруг — а это и есть пробуждение: вдруг — я увидел «весь мир» — какой мир! — и «закатился», не слезы, кровь липким мазала мне рот и руки, а в ушах стоял колокольный звон. В этот первый мой «сознательный» день, когда *я* свернувшись, как Наумка, лежал с переломанным носом и разорванной губой, а около кровати на верблюжьей лысинке кот, неотлучный, тщательно гладил себе лапкой мордочку, водя из-за уха к усам — «замывал гостей», и, должно быть, я заснул, и вдруг появилась кормилица, в руках веник: зеленые стручки; и она подошла к моей кровати, положила мне в кровать этот веник, — и зеленые свежие листья закрыли меня с головой; мне почуялось, будто погрузился я, как в воду, в душистый зеленый воздух, и издалека, как со дна, а ясно, как на ухо, я услышал свое неповторимое ласкательное имя и открыл глаза.

А оправившись я захворал: скарлатина, осложнившаяся водянкой. Приговоренного к смерти — доктор сказал, что нет надежды, и чего ни попрошу, чтобы дали, а я уж и не говорил и не глядел! — меня посадили в теплую ванну с трухой. Ощутив вокруг себя зеленое тепло, я точно вспомнил что-то и открыл глаза и на желанный «зеленый» голос, а этот голос прозвучал мне из зелени, которую я увидел, «чего ты хочешь?», — у меня потеплело на сердце: «селедочки!», — сказал я. Дали ли мне селедку, а наверно не дали, да и не в ней была тайна, но только с этого дня наступило выздоровление.

И всякий раз, как приезжала кормилица из калужской

деревни на побывку к мужу, она заходила к нам и не одна, а с Машуткой, моей молочной сестрой. Жесткими пальцами гладила она меня по носу, и я чувствовал запах деревенских лепешек, кумачу, и молоко. «Выровняется!», говорила она. И мне было приятно, и я подставлял ей свой сломанный нос. Нянька, штопая чулки, а их всегда был ворох, и не уменьшался, глядя из под очков, качала головой: «За озорство покарал Бог, и останешься таким до Второго пришествия, Страшного Суда Господня!». Я представлял себе «страшный суд» очень далеким, — «когда я буду, как нянька», но всякий раз при упоминании о «суде», о котором я наслушался из Четий-Миней, меня охватывало горькое живое чувство: «кончится мир» — «кончился мир!». Покаранный за озорство (про меня говорили «сладу нет!»), я как бы присутствовал на Страшном Суде и гладил себя пальцами по носу, как гладила меня кормилица, а нос с перебитым хрящиком торчал смехотворной пуговкой, и тут же вертелась непоседливая, быстрая Машутка с лукавыми глазами и непослушным улыбающимся ртом, такая же, и без всякой кары, с пуговкой, как я. Кормилицу поили чаем с вареньем. Я всегда сидел с ней и слушал ее рассказы о калужской деревне: упоминались сказочные для меня поле, лес, звери; и действительная жизнь — деревенская быль перемешивалась со сказкой. Когда я научился писать, я на листе написал свои желания: чего бы я хотел, чтобы она привезла мне из деревни, — кроме лошади, коровы, овцы, козла и всяких птиц до соловья, в мой реестр попал и волк, и лиса, и медведь, и заяц, и... леший с домовым и полевой и луговой и моховой. Каких-каких сказок я не наслушался в те первые мои годы! И о «семивинтовом зеркальце» — что-то вроде пятигранного камня, талисмана Ала-ад-дина: если его повертывать, увидишь весь мир, все земли, и куда ни захочешь, в миг перенесет тебя на то место и без всяких ковров-самолетов, только скажи куда; и о волшебном «глазе»: его, обернув в салфетку, надо хранить в чистой тарелке, и когда надобно, вставь в свои «пялки», и с ним все открыто, — все

мысли и желания человеческие будут тебе, как свои. Читая потом записи сказок в этнографических сборниках, я все прислушивался, я искал среди строчек, я хотел вспомнить те первые, и случалось, вдруг слышу — и тогда я писал не по тексту, а с голоса калужской песельницы и сказочницы, Евгении Борисовны Петушковой.

В пять лет я начал учиться читать и писать. Моим учителем «начатков» был известный московский педагог-законоучитель дьякон Покровской, а в обиходе «Грузинской» церкви на Воронцовом поле, Василий Егорыч Кудрявцев. Жил он недалеко, и мы с братом к нему ходили. Этот мой брат в неизбежных спорах, всегда, как последний, непререкаемый довод своей правоты, повторял неизменно, что он «умнее меня на год», а был он хворый, и все ему трудно давалось, и я всегда на уроках ему подсказывал. И однажды случилось, дьякон вышел из комнаты, мы остались одни. И я по своей близорукости задел рукавом чернильницу и залил стол и тетрадку брата. Брат заплакал. А когда дьякон вернулся, я повинился. Но он не поверил: он убежден был, что это сделал мой брат, и вот плачет. И сколько я ни уверял, дьякон не соглашался, он был уверен, что из жалости я взял на себя вину. К случаю рассказал он одну из самых любимых сказок русского народа: «Чужая вина». «Но, по справедливости, — сказал дьякон, — так не следует делать: надо иметь волю и мужество отвечать за свои поступки!». Потом уж, читая в первый раз Толстого «Войну и мир», я вспомнил «Чужую вину» в судьбе Платона Каратаева, эту сказку из сказок, вышедшую из неумиренного сердца перед самым явлением в мире человеческого «греха»; и в легенде, приводимой Достоевским в «Братьях Карамазовых», о «Хождении Богородицы по мукам», в слове Богородицы — «хочу мучиться с грешными!» мне послышался тот же мотив «Чужой вины».

И еще о ту пору я узнал про Барму: эту сказку рассказывал «глухонемой» печник. На масленицу приходил он к нам вечером ряженный: тряс головой-барабаном, украшен-

ным лентами, он мычал и что-то делал руками, подманивал. Стакан водки был магическим средством выманить у него слова. И на глазах совершалось чудо: «глухонемой», хлопнув стаканчик, глухо, точно издалека, словами, выходящими из «чрева», начинал сказку о похождениях вора. Потом я узнал этого Барму и в воре Мамыке и в арабском Камакиме и в Ваньке-Каине.

И еще о «принцессе-павлиньи перья», эту сказку с феями-джиниями рассказывала нянька. Я представлял себе павлинью принцессу моей «первой кормилицей» с ее таинственным «желтым билетом», безымянную, ни с кем не сравнимую, кормившую меня три дня и похищенную страшным маридом.

На второй год моего ученья у дьякона, неожиданно на Страстной появилась Евгения Борисовна Петушкова: она приехала в Москву, чтобы везти мужа в деревню: попал в машину, и ему отняли ногу. «На войне был и ничего, говорила она, Бог спас, а вот — калека!». — «Такая судьба, девушка!», сказала нянька. И я помню, я видел, как на это непререкаемое, на этот «суд непосужаемый», и все заключающее «судьба», встрепенувшись, она посмотрела: испуг это? нет! — и какие огни посыпались из ее глаз — и пусть разразит ее, не согласна! И опустившийся рот ее задрожал.

Такой я видел ее в последний раз. И этот образ сжился со мной. Так ярко я чувствую и живо, как свое: отпор, огонь на огонь встречной, неумолимой, беспощадной судьбы, это сердце и волю. Вот кто меня выкормил и научил ходить по земле, — какая «взвихренная Русь»!

ПЕРВЫЕ СЛЕЗЫ

Не знаю, как сказать и отчего, жизнь моя была чудесная. Оттого ли, что я родился близоруким, и от рождения глаза мои различали мелочи, сливающиеся для нормального глаза, и я как бы природой моей предназначался к «мелкоскопической» каллиграфии, или я сделался близоруким, увидев с первого взгляда то, что нормальному глазу только может сниться во сне.

Величественный и в величии своем грозный окружал меня мир. И все было так огромно, и люди такие большие — великаны, и я чувствовал себя — потому что все великаны — загнанным карликом: подводя к самым глазам крепко стиснутые руки, я убеждался, как они малы и слабы, в сравнении с кажущимися мне огромными ручищами-лапищами у других. Огромная величественная луна восходила над Андроньевым монастырем, и, если в детской никого не было, я тихонько подходил к окну и, не отрываясь, глядел на нее и на белую рядом колокольню монастыря с ее мучительным для меня колоколом, потом всколыхнувшим во мне память о Андрее Рублеве, Аввакуме и какую-то общую память с Достоевским — о загадочной материнской тайне — о матери, просящей прощение у сына. Наглядевшись, я бродил по комнате в лунном свете, крепко стискивая перед собой руки, точно прося кого-то — но кого и о чем? Из самой глубины моего сердца я чувствовал тяготеющее проклятие на себе — этого имени я еще не знал, но я помню свое чувство, да и все потом оправдалось, именно проклятие, и, стискивая перед собой руки, может быть, невольно просил эту огромную единственную луну, всегда пораженный небезраз-

личным чутким ее молчанием, просил ее снять с меня мою грозную долю какой-то первородной виновной совести, назначенного на мою долю и неизбывного «греха», который я непременно совершу непредумышленно, безотчетно, именно как «первородное проклятие» — с ним пришел я в мир, и без него немыслима моя жизнь. Мои стиснутые руки, — но это были не угрожающие сжатые кулаки детей, «убивших Бога», из сокровеннейших видений Достоевского, этих обольщенных, обманутых и изнасилованных детей, мои стиснутые руки — не угроза и не отчаяние, а только мольба с сознанием всей безнадежности попавшего в капкан зверька. Я был похож на того маленького зверька с белой, от белизны блестящей, как снежные блестки под рождественской елкой, жесткой шкуркой, и этот зверок — я, очутившийся в огромном ярком мире среди великанов-людей, и, чуя живым бьющимся сердцем свою обреченность, не знал, как защититься, или, по крайней мере, как отдалить обступающую грозящую беду. Если бы кто-нибудь, хоть однажды, заметил, как я хожу по комнате, стискивая себе руки; если бы кто-нибудь однажды заглянул тогда в мои, все преувеличивающие, глаза... Но какие силы, да и могло ли что-нибудь поправить в моей судьбе? Или теплая ласка, тихое и внимательное слово из того источника человеческого сердца, тогда мне чужого, непонятного и неслыханного, и который называется любовью человека к человеку, вывели бы меня из моего исступления или бы смягчили до отчаяния давящее меня чувство проклятия неизбывной грозной доли отдаляя наступающее предрешенное «преступление» — казнь и кару, которую суждено мне нести до моего последнего дня на червящейся человеческими бестолочными жизнями пустыми, но и горчайшими, на незащищенной под грозой комет земле.

Я видел человеческие слезы — и как плакала мать и как плакали братья, я помню эти слезы, и слезы входили, как часть в тот величественный мир, с которого начинается моя память, но я не помню, когда бы я сам плакал, а, должно

быть, никогда, и если мне бывало больно, я кричал. Сергей Семеныч Кривокурцев, лечивший всех детей от Лялина переулка до Полуярославского, называл меня «орало мученик».

Азбуке и складывать слова я незаметно для себя «шутём» научился от моих старших братьев, и у меня осталось чувство, что не было такого времени, когда бы я не умел читать. Но писать я еще не умел. В пять лет я стал ходить учиться вместе с моим братом, старшим меня на год, к дьякону Покровской церкви на Воронцовом поле, которая называлась Грузинской по чудотворной иконе Грузинской Божьей Матери. Церковь эта снесена, и едва ли есть в Москве хоть один, кто бы вспомнил о ней, но я ее сохраняю в моей памяти. С тех пор, как дьякон начал учить меня писать, я вижу себя в этой церкви на клиросе: старик дьячок с косичкой, Николай Петрович Невоструев, пел по «крюкам», и я за ним тянул альтом; потом я узнал, что это унисонное пение называется знаменным распевом, на котором пели в Москве и во времена Андрея Рублева, и при дьяконе Иване Федорове, и который отменен был царем Федором Алексеевичем, сжегшим в Пустозерске протопопа Аввакума, — лучшей школы для моего слуха трудно было и придумать; впоследствии это дало мне возможность чутко определять всю фальшь и как раз в том, что именовало себя «русским стилем» с его непременным признаком — «слащавостью», «размягченностью» или умилением и ритмически-ассонирующей «красивостью», пример: «В лесах» Печерского.

Дьякон Василий Егорыч Кудрявцев славился от Воронцова поля до Старой Басманной, как просвещенный педагог и законоучитель, — память о моем учителе я сохраняю через всю мою жизнь: это был кротчайший человек, и только одно мне было странно, что как в церкви, так и дома, он был совсем одинаков, и я никогда не видел, да и улыбался ли он вообще? Дьяконица Екатерина Александровна из курсисток, педагогичка тоже очень тихая и всегда озабоченная: дочь у них Женя, моих лет, больная девочка, все лежала — туберкулез, должно быть.

Писать я выучился легко и писал с удовольствием, и особенно меня прельщало писать «поминанья», а скоро я одолел и эту церковно-славянскую премудрость нашего древнего «полуустава». Но что мне не давалось: это — диктовка. Я делал всегда одни и те же ошибки: я всегда писать «ют» вместе «ят», и «ишь» вместе «ешь», и «ин» вместо «не». Дьякон очень огорчался, а мне было неловко, но он никогда не упрекал меня, как потом в гимназии, за мое постоянство в ошибках и неисправимость. Иван Иванович Виноградов даст мне прозвище, которое и несу до сего дня, — «пустая голова». Мой брат сеял между словами частицу «же» — явление нормальное в дамских произведениях и противоестественное в диктанте будущего гимназиста. И выходили иногда такие сочетания — не было сил удержаться от смеха, но дьякон со всей кротостью и терпеливо, без всякого намека на улыбку, вычеркивал эти смехотворные «же», как переправлял огорчавшие его мои постоянные «ют», «ишь» и «ин», мое «фонетическое правописание».

В то время, как старшие мои братья часами просиживали за книгой, я ничего не читал: какой-то непонятный мне страх чувствовал я перед раскрытой книгой. В доме у нас были старинные Макарьевские Четьи-Минеи в корешковых переплетах с застёжками, и эти Четьи-Минеи составляли единственное исключение: я с трудом еще разбирал по-славянски и читать не мог, но очень любил смотреть на буквы.

Вечерами после уроков старший брат иногда читал какое-нибудь житие. В моей памяти ничего не сохранилось — или очень было все чужое мне или написано непонятно? — и только остались «муки» из жития Федора Стратилата и до сих пор слышу — как из-за бесконечных верст доносится до меня голос, освященный тоненькой восковой свечей.

« — — *тогда разгневася Ликиний царь и повеле святаго протягнути и жезлием бити и дати шестьсот ран по плещема, пятьдесят по чреву* — — ».

И разве могу забыть я блистающее утро — —

« — — *Ликиний же света не дожда, на брезу посла два сотника своя и рече: принесите ми злосмрадное тело Феодорово да в раку оловяну вложше ввержем в море несмысленных ради християн* — — ».

И разве могу забыть я блистающее утро — блестящее, такое теплое, как только летом, а только что наступил май, и сквозь сон всю залитую солнцем нашу тесную детскую, когда меня разбудили, но меня разбудил не колокол Андроньева монастыря, свободно, легко и властно катящийся тяжелым чугуном поверх зеленых огородов и всегда с какою-то серебряною нежностью касающийся моего слуха, меня разбудил торжественный необычайный шум — и этот шум, мне показалось, был от крыльев огромных птиц, кружащихся над самой крышей, и, может, таких же, как солнце, жарких, и вот отчего тепло так — и вдруг прикосновением холодных пальцев тревога насторожила меня: или оттого, что в этом торжественном шуме и шарыгающих крыльях я почуял затаившееся внимание, а в комнате никого не было. Я вскочил с кровати и опрометью бросился в соседнюю комнату, откуда из окон видно — через сад — торчали две огромные кирпичные трубы с иглой громоотвода и рядом красный с до-синя сверкающими окнами фабричный корпус — сахарный завод Вогау. И я увидел у раскрытых окон и няньку, и ее дочь, приехавшую вчера из Зарайской деревни и ночевавшую с нами, и всех моих братьев. И когда за всеми потянулся я посмотреть, меня обдало жаром: горел сахарный завод. Синее, тающее, крутящееся колесом пламя и сквозь расплавленную синь из синющего сердца густая каплями кровь, и эта огненная синь дышала жаром, и не птицы, слепые крылатые звери — распущенная, разодранная шкура, — тяжело вылезали, продираясь из кипящих металлических масс и, шарыгая крыльями, душно лезли через сад к окну. И вдруг жгучая мысль, как расплавленная капля, с

болью пронзила меня, я понял что-то — вспомнил, как вспоминается давно когда-то бывшее, глубоко скрытое, вдруг вспыхивающее пожаром, и, горя, я поднял руки к огню, — пламень извивался надо мной, и пламень вырезалась из сердца — пламя окружало меня...

Если бы не решетка, загораживающая окно, я упал бы на каменные плиты во двор и проломил бы себе череп. Но я только ткнулся носом в подоконник. Дочь няньки подхватила меня и подняла к себе на руки. И на руках ее я очнулся. Жмурясь от боли смотреть на свет, я горячо обнял ее шею и, прижимаясь к ее лицу, горько заплакал — как будто в веках накопившиеся слезы из тяжело-наполненного сердца вдруг, — это были первые мои слезы.

КАЛЛИГРАФИЯ

Каллиграфия всегда была свободна и никогда никто не встревался в ее волшебное царство, где буквы и украшения букв: люди, звери, демоны, чудовища, деревья, цветы и трава — ткутся паутиной росчерков, линий, штрихов и завитушек.

Начертание слов может быть понятно и непонятно, можно иметь неразборчивый почерк или ясный и отчетливый, можно писать ровно и твердо или «куроляпкой» и стесняться своего почерка но это никаким боком к искусству писать буквы, слова, фразы, и как расположить их на странице.

У китайцев каждое произведение требует своего особого буквенного расположения — в «как, на чем и чем» написано есть зрительный ключ для чтения, «мелодия»; китайская рукопись, черной ли тушью на бумаге или золотом на шелку, всегда звучащая — и немых строчек, как в нашем однообразно написанном, не отличающим сказки Толстого и розысканий Веселовского, не может быть. А разберет ли кто этот китайский ключ или останется загадкой, для автора, он же и писец, безразлично: начертание неразрывно с формой произведения.

Арабские и персидские чистописцы, о мастерстве которых сложены стихи, а имена вошли в сказку — как не вспомнить того несравненного мастера из «Тысячи и одной ночи», подделал письмо самого доброго человека на земле и искусного писца Яхьи-ибн-Халида к его врагу Абд-Аллах-ибн-Малику-аль-Хусан, и тем примирил их! — арабские писцы в своем искусстве были далеки от искусства «наживы».

И наши книгописцы — все эти Леониды и Иосифы,

«влодычные ребята», и дьякон Григорий и дьяк Иоанн и поп Алекса и княжна Ефросиния Полоцкая, никакой «утилитарной» цели не преследовали: уставное письмо без перерыва между словами — слитной строкой и без знаков; скоропись с надстрочными и подстрочными буквами при разнообразии и никогда не одинаковой величине букв и как в «уставе», без перерыва; и, наконец, «вязь» — слово из сплетения, вплетения и разветвления букв — рука не поднялась бы написать буквы, чтобы слово вышло непременно для кого-то понятно — для какого-то среднего глаза, нет, писалось так, как писалось и иначе не могло написаться, подчиняясь лишь какому-то начертательному закону развития самой линии, составляющей букву.

Сколько голов, столько и почерков, а искусство — каллиграфия — одно.

КУРОЛЯПКА

О свободном искусстве каллиграфии я стал знать со вступительного экзамена в гимназию — с первой написанной под диктовку строчки «коровы и лошади едят траву» или как у меня написалось —

«каровы и лошоди идят траву»

при чем, несмотря на линейки, хвост строчки, начиная с «ди» (лошади), спустился за линейку, и вся строчка изобразила лошадь; голова же строчки с рогатым «к» (коровы) имела подобие — коровье.

Мне только что исполнилось семь лет; снисходя к моему возрасту, меня приняли в приготовительный класс. И началось мое чистописание.

От чистописания все мои двухплановые рисунки с центральной, составленной из резко очерченных линий, фигурой на фоне воздушной паутины росчерков, штрихов и завитушек и всевозможных спиралей, которые и должны выражать волшебство: то странное сияние, по Гоголю, что примешивается к блеску месяца или тот блеск другого мира, что чудится за «натуральным» блеском, по Толстому.

У меня было два учителя чистописания: Александр Родионович Артемьев — Артем по МХТ — Митрич по «Власти тьмы», и Иван Алексеевич Иванов. От них я и перенял: от Артемьева — росчерк и завитушку, от Иванова — линию.

А тот бисер, которым нижу строчки, бессчетно переписывая «на-бело» мои рукописи, я перенял у учителя математики Сергея Николаевича Световидова. Точнее и аккуратнее я не встречал человека, а за то и название имел он — «Аптекарь». Этим аптекарским бисером пользуюсь я для

подписи под моими рисунками: себе в память и другим в разумение: потому что изображаемое мною в природе не существует, а вышло из моей памяти о многомерном мире, в котором прошло мое детство, как в сновидении.

Самая материя моего письма, должен признаться, самая чистейшая лесковская «куроляпка» из «Полунощников»; черновые мои записи, особенно те — глубокою ночью — самому мне разобрать редко удается, и только по догадке.

Но я знаю, «куроляпкой» я не завековал бы мой век; я знаю все значение «встречи»: встреча с человеком, события и книги. И всегда: что-то приходит, или чтобы пробудить, или чтобы убивать; способности убить нельзя, а *убивать* можно.

Александр Родионович Артемьев, по прозванию «Вий», в самой запутанной своей «артистической» шевелюре заключал все тайны своего искусства. Изъеденный оспой, сонный, с полуопущенными веками вдруг взблескивал, устремляясь на росчерк: усики, закруты, оплет, загиб, вывих и закорючка; а размах его пера был такого дыхания, что когда, как очнувшись, вел он завиток, — дух захватывало.

Все его ученье заключалось в том, что он начнет тетрадь. Одним духом, непрерывая, выписывал он заглавную букву — буква занимала угол страницы, но это еще не конец: непрерывая, от буквы к противоположному углу или во круг буквы к углу вниз, он выводил росчерк, и вот в этом-то росчерке вдруг из какого-то завитка выскочит птица или показывались заячьи уши и округлится усатая мордочка, или вдруг загораздит целое поле — и колокольчики, и ромашка, и трава с «петушками», а если разлистятся листья — такие «леандры», не проберешься. Иногда он писал и целую строчку: и в этой строчке все будет кругло — все буквы, как откатывались от прописной непрерывно.

Я сравнивал свою тетрадь с тетрадями других и с уцелевшими тетрадями моих братьев, старших меня по классу, и заметил, что птица везде была одна, заячьи уши и усатые мордочки — все одинаковые, а цветы и трава и листья

— одни и те же. Из году в год, целый учебный год начинать тетради — и вот рука так намахалась, как в подписи; но пусть даже по привычке, механически, выскакивала птица и заячьи уши, — какая сила, твердость и размах!

Первая моя проба была неудачна. Я расчеркнулся — и разорвал бумагу. Беру другую страницу и начал путать и закручивать — и получилась грязь, а из слившихся волшебных спиралей поднимается самая лесковская «спираль»; хотел поправить и посадил кляксу. И испугался.

Я не знал еще, какие чудеса можно сделать из любой кляксы: ведь чем кляксее, тем разнообразнее в кляксе рисунок, а из брызг и точек — каких-каких понаделать птиц, да что птиц, чего хочешь: и виноград, и китайские яблочки, и красных паучков.

Я испугался и на третьей странице, приноровив и следя за ручкой, со всем вниманием к перу, — а сколько раз обмакивал и стряхивал, — робко повел, — но закруты не выкручивались, хвосты не загибались, — что-то жалкое, беспомощное, вроде как у детей, копирующих оригинал с подкладной синей мажущейся бумагой: не было линии, каждый штрих дрожал и прерывался.

И получил единицу.

И отмеченный единицей, продолжал портить бумагу. И не только в тетради чистописания, я расчеркивался, где попало, и на учебниках, и на доске, и за доской, а попадет под руку чужая тетрадь, зазевается какой-нибудь Доронин или Дивилин, я и в их чистенькие хвост вхвощу.

Мои каллиграфические выкрутасы подымали на смех — для всеобщего развлечения на глазах у всего класса я показывал фокусы, так надо это понимать, и заметил, что чужой глаз меня не смущает, только б не подталкивали, рука не дрожит и росчерки сами льются, пока чернил хватит. А между тем, «Вий» ко мне не подходил — я из всех считался самым плохим по его памяти: «единица!» — и в четверти он ставил мне двойку из снисхождения: по возрасту я был самый младший в классе.

И только к концу года я решился, и сам подошел к «Вию» со своей тетрадкой: на чистой странице я вывел заглавную «Д», никаких зайцев, но отлет-закрута и сетка-оплет в два угла вверх и вниз, непрерывно.

С едва сдерживаемым хохотом ждал класс, все повскакали с парт. Но ко всеобщему разочарованию, — «Вий» поставил мне пять и приподняв свои полуопущенные веки и взблеснув на меня, как перед росчерком, прибавил к пятерке плюс.

Многого достиг я за этот год «приготовительного класса», но овладел росчерком много лет спустя, когда о первых гимназических уроках не вспоминалось.

В Петербурге я читал те учебники, какие проходили слушатели Археологического института. И когда под руководством С. П. Ремизовой-Довгелло я добрался до образцов старинных рукописей, сердце мое заиграло. Я разбирал и переписывал старинные грамоты. Сколько ушло на это ночей — упорство мое было такое же, как в семь лет над росчерком после позорной единицы, может быть, единственной в практике учителей чистописания! — и ночей и сплошь дни: я проходил букву за буквой в скорописных веках.

А понемногу начал и от себя писать грамоты. И выходило, я это видел. И еще я видел, что это было то, да — не то. И это меня обрадовало.

Как в моих апокрифах и сказках, только имея в памяти всевозможные сборники сказаний и записи сказок и областные словари, особенно ценные для меня не столько словами, сколько примерами на слова, я никогда не копировал и не стилизовал, так и в своих рукописях-грамотах: само выбиралось, что было в веках под мою руку и шло к моей руке. В сказках я продолжал традицию сказочников, а в письме — книгописцев.

Из русских писателей над прописями трудился Гоголь. Зачем ему понадобилось под конец жизни выправлять свой

почерк? Или потому, что в рукописи есть магия, как и в человеческом голосе. Обладая необычайной магической силой слова, Гоголь знал и волшебство голоса — звучание слова: Гоголь слышал «полдневные» оклики. А кроме того, несмотря на свой козлиный голос и что немножко был он «из под Глухова», Гоголь, по воспоминаниям Тургенева, читал изумительно — «актеры обижались!». И если с голосом можно и пустяками обворожить, что очень хорошо известно всякому мошеннику, рукописи — творят чудеса.

*

Другой мой учитель чистописания, Иван Алексеевич Иванов, которому я обязан «прямой» и «параллельной», — ничего общего с «Вием», никакой шевелюры, а одет, как с иголочки, и очень аккуратный, без всякой «виевой» обсыпки. Он был как в упряжи лошадь, несогбенный, а если по Гоголю, «голова его сидела в воротнике, как будто в бричке», а синий фрак с золотыми пуговицами, наутюженный до окаменения, как тяжелый чеховский футляр, — работа знаменитого портного с Костомаровки Павла Павлыча, по прозвищу Поль-уже, а на указательном пальце сверкал перстень. И жил он не на Смоленском бульваре, откуда приволакивался «Вий» в своей порыжелой, выеденной, жалко смякшей енотке, а по соседству с нами на Яузе в Криво-Ярославском переулке около Всехсвятских необозримых огородов, застроенных в канун войны, а в те времена изумрудных весной и, как подсиненная скатерть, в московскую крепкую зиму, и носил шапку под Некрасова. Не «Вий» — «свободный художник», а «ученый каллиграф» Строгановского училища, а имя ему было Козлок.

(Не «Козел» — Козлом по воспоминаниям Пришвина звали В. В. Розанова в бытность его учителем географии в Ельце).

Теперь я думаю, по его какой-то проницающей все существо его черствости и по его формализму, ему подошло бы лесковское «Павлин».

То, что Козлок жил около огорода, сказывалось на его словоупотреблении. Козлок не признавал линейку: он сравнивал ее с капустным червем, «пожирающим нежный кочан», — и прямая, проведенная по линейке, не живет, а мертва, «как сухой черный корень»; единственное исключение: по линейке можно было сделать рамку — «как для весенних парников неизбежна бывает стеклянная рама»; параллельные, которым придавалось особенное значение, сравнивал он с черными мартовскими грядами, резко очерченными еще не сошедшим снегом на межгрядьях, — а эти весенние черные полосы я на веки вечные помню! — рекомендовал чистить спаржу, что навастривает руку на прямые, приучает к терпению и методичности, а глаз к мере; еще советовал из бумаги вырезывать квадраты и треугольники и резать фигурками морковь и картофель, чтобы получались конусы, цилиндры и параллелограмы, вроде кушанья свифтовских лаппутян; транспаранты же и разлинованную бумагу, как рассадник лени, советовал при всяком удобном случае уничтожать: «сорные травы и козлу не в корм!».

Никогда в тетрадях — метода «Вия», а на доске на глазах у всех всему классу Козлок выписывал буквы — мелом особо выточенными брусками разных размеров. Когда я бывал дежурный, я не мог удержаться и под предлогом разбил, ем: так был белоснежен, заманчив меловой пестик.

Все сводилось — все буквы — к прямой. Из прямой, пальцем подмусля с концов, выводил Козлок овальные. Методично ныряя перед доской, меловыми буквами изображал он тончайшим образом изящнейшую строчку.

Такой ли она была на самом деле? — ведь я только догадывался. Но думаю, что не ошибался: мастерство Козлока было не меньше «Вия», только совсем в другом роде, — не звездами распускавшийся росчерк, не волшебные спирали, а математически-точная линия.

И опять горе: никаких прямых у меня не выходило и параллельные мне не давались, а моя строчка всегда сползала. Я хотел щегольнуть своими завитками, но Козлок толь-

ко погрозил — и его сверкающий перстень алмазом беззвучно срезал раз и навсегда. А за мои сползавшие прямые и дрыгающие параллельные поставил двойку.

Только и было во всем классе нас двое — двоешников: сын запойного ильинского дьякона Воскресенский, по прозвищу «Пугало», да я, сверзившийся на двойку с «вийной» пятерки с плюсом.

«Пугало» пустяками не занимался, а для меня начался скучнейший год: упражнения в прямых и параллельных. И как когда-то над росчерками-завитками, теперь на «палочках» — я не пропускал клочка бумаги, а если не было чернил, в пустую махал пером под параллельные. И к концу года наметал глаз и навострил руку — я не знаю, что бы мне давалось легко: с какими усилиями я добываю слово, чтобы выразить мои мысли, а чтобы что-нибудь твердо запомнить, мне мало слов, мне надобен еще и рисунок, а сколько положено труда, чтобы научиться писать! Козлок поставил мне пять, и с «Пугалом» меня рассадили: я снова стал первым по чистописанию.

Но плюса к пяти я не получил.

Потом уж, когда ни «Пугало», ни Козлок не вспоминались и всякая память о прямых и параллельных стерлась, я напал на старинные гравюры и понял, за что прибавляется к пяти плюс: какая четкость и мера!

В рукописях Достоевского попадается готический собор и ясно выписанные — каллиграфически — имена и слова. И это при исступленности и горячке Достоевского! Но это-то именно и характерно, ведь иначе хаос и распадение — именно у Достоевского готический собор и каллиграфия. В этой четкости и мере — власть.

КРАСКИ

Я не помню, когда бы я не рисовал.

И больше всего я любил смотреть картинки.

Из первой памяти сохраняю иллюстрации к Гуливеру: раскоряченные ноги Гуливера, между которыми проходят военным парадом лилипуты; цветные картинки к сказкам Гриммов — хрустальный башмачок, ежик и людоеды; черная к «Вию» «подымите мне веки, не вижу!» — всегда звучавшая во мне с прибавлением «ничего» — «ничего не вижу!».

Рисовал я не карандашом, а красками — акварелью: такие продавались в Москве дешевые, игрушечные картонные палитры с наклеенными разноцветными кружками-красками — не мог смотреть равнодушно.

В игрушки я не играл, и была у меня одна единственная «роковая», всегда царапавшая меня, печка с плитой — из жести. Потом уже появились, только для меня не как «игрушки»: фарфоровый медвежонок, который уйдет в мои сказки, и бумажная змейка, вылезавшая из яйца, которая уйдет в мои рисунки — от спирали до змеи-скоропеи и от змеиных голов, до гностического Офиса, — отцовская память: отец перед смертью, прощаясь, подарил мне.

Без игрушек я возился с красками.

И по весне, когда перед Пасхой красили яйца, оставшуюся краску я выпрашивал себе, а также и бумагу, на которую раскладывали яйца, вынимая из краски: на такой бумаге сами-собой выходили необыкновенные рисунки. На эти рисунки, не отрываясь, я мог глядеть часами. Как мог часами, — пока голова не закружится — зажмурившись, сле-

дить за выплывавшими в глазах, малиновыми и голубыми, сгущавшимися волнами в серебряной кайме, или без всякой жмури заглядываться на стеганое одеяло из разноцветных шелковых лоскутков.

Я брал, что попадало, но чтобы из металла, лучше всего массивная каминная кочерга, неизвестно откуда взявшаяся у нас, в дом, у нас не было каминов: заткнув пальцами уши, я ходил по комнатам по стене, ударяя кочергой о стену — я мог часами слушать раскатывающийся звон; этот звон, нарастая, плыл всегда окрашенной волной. С трепетным чувством я слушал: слышал и видел; и эта музыка своей красочно-звучащей волной уводила меня в какие-то пражизненные глуби.

Цвет и звук для меня были нераздельны.

Я различал колокола московских монастырей не только по звуку, а каждый колокол окрашивался для меня своим цветом: звон Андрониева монастыря — «Андрея Рублева» звучал мне синей в серебряных звездах катящейся волной; далекий Симонов — «Бесноватых» тяжелой зеленоватой медью, а сам Иван Великий, проникающий и за двойные рамы самых отдаленных, у застав, окрайных московских домов, был как москворецкое половодье — рытый вишневый бархат.

По голосу я мог судить о цвете и по цвету человека о его голосе.

А был у меня — семь лет неразлучен со мной, — кот, звали его Наумка, на пророка Наума — 1 декабря — именинник. Кот был мой ровесник: я родился, и в ту же ночь кошка окотилась, и кота мне, как за няньку, для забавы определили. Родился я в Замоскворечье близ Каменного моста, памятного по деяниям Ваньки Каина, в Большом Толмачевском переулке у Николы в Толмачах, по соседству с Третьяковской галлереей. Но на второй год — только год засыпал я и пробуждался под Кремлевский красный звон, этот первый звон, неизгладимо оставшийся в моей памяти своим особенным ладом, и откуда, должно быть, идет все мое различение подлинно русского от подделки! — на вто-

рой год моей жизни мать переехала из Толмачей и со всеми детьми на Земляной вал, к Высокому мосту, под опеку к своим братьям: ее поместили на заднем дворе,выходящем к Полуярославскому мосту, в Сыромятниках, в отдельном флигеле, где когда-то была красильня-набивная моего прадеда, красильного мастера, по соседству с фабричными «спальнями» бумаго-прядильной Найденовской фабрики и коморками для мастеров. И кота перевезли, Наумку, с Москва-реки на Яузу.

Серый, пушистый, седые усищи, зелено-глазый, он и спал около моей кровати. И, когда я садился за мои краски, кот всегда «присутствовал». Мне казался он огромным, светился, и свет его был, как пасмурный день, спокойный, пробуждающий бескрайнюю мечту. Я сочинял ему всякие небылицы, разговаривал с ним, а он внимательно слушает; а иногда мне казалось, что и он мне что-то рассказывает, я прислушивался, старался понять... Так дружно мы жили. Я рисую, а кот лапкой чистится — «песни поет». Я его никогда не мучил; говорят, что коты это любят, не знаю: «любить боль!», — но терпеть, пожалуй; я не щипал, не дергал его за хвост, а тискал не чересчур, но моими любимыми красками я кота красил.

Я любил краску, любил и самый запах краски.

И если бы меня спросили тогда, кем бы я хотел быть, я не задумавшись сказал бы:

« Я хотел бы быть одним из Самойловских маляров».

Федор Никитыч Самойлов, церковный староста, в молодости рыжий, а теперь седой зеленоватый, на «Благообразном Иосифе» в страстную пятницу при выносе плащаницы, подпевая, плачущий золотыми в алом свете своей пылавшей свечи слезами, и в одноэтажном белом с зеркальными окнами доме — в Воробинском переулке в подвальном помещении жили маляры, — хозяин малярный.

Все лица я видел в осиянии, но всех осияннее мне виделись маляры: особенно был один — Матвеем звали, весь золотой, воздушный, и пел он тонко и как в красочной зву-

чащей волне каминной кочерги, с какой-то уводящей тоской, — какие-то сумерки, какой-то пасмурный день, когда на душе все собирается: и то, что было, и чего никогда не будет, и то, что видел, и чего никогда не увидишь. А потом он очень смешно рассказывал с защелком-рифмой, пословя на манер протопопа Аввакума, и пахло от него хорошо: свежей замазкой на конопляном масле.

Что выходило из моих собственных картинок, я не помню, вижу одни цветные пятна, переходившие с бумаги на руки мне, с рук на стол, а со стола на пол и по полу — к огорчению нашей старой няньки, Прасковьи Семеновны Мирской, по прозвищу Прасковьи Пискуньи.

«Хоть бы ты, девушка (у нее все были «девушка»), за собой подтирал!».

А голос кроткий, покорный, никакого писку, а скорее низ, как и глаза запалые перетерпевшиеся, с глубоко канувшей скорбью — из бывших крепостных.

Когда победив «коров и лошадей, питающихся травой», я поступил в приготовительный класс Московской 4-ой гимназии — старинный дом А. Г. Разумовского на Покровке против Боткинского антикварного магазина и знаменитой Чуевской булочной — и начал хвосты хвостить и завитушки у «Вия», было у меня два любимых внеклассных развлечения.

Возвращаясь из гимназии с Пугалом, таким же растерзанным и нескладным , под стать мне — костомаровский портной Поль Ужé шил нам гимназические куртки и шинели на рост — мы не пропускали дома и звонили в каждом подъезде, поднимая тревогу на весь Введенский переулок, вмещающий, по крайней мере, авеню Мозар.

А по утру, по дороге в гимназию, метили прохожих меловыми «чертями»: намелив себе ладонь и два пальца, а на ладони, слюнями сделав кружки-глаза и расщелинку-рот, прихлопывали, как бы случайно, норовя на спину — и сколько доброго народу, простецкого и с форсом, разносили на

себе, не зная-не-ведая, ушатую белую печать, как арестантский бубновый туз, с Покровки на Марасейку — в город.

Этот меловой чорт был единственным моим реалистическим рисунком: во всяком случае ни на Ильинке, ни на Варварке, ни на Никольской, и нигде в переулках подписи не требовалось, и самый дураковатый малец из Рядов, завидев припечатанного прохожего, зевал и удивлялся: что за диковинка — чорт голландский!

И в одиночку, без неизменного Пугалы, я рисовал мелом на заборах, где мелом же грозила полицейская надпись: «*здезь строго воспречаетца останавливатса*».

Но эти мои заборные рисунки, как и мои краски, едва ли были кому понятны: все было грандиозно и необычайно, как тот мир необычайный, в котором проходила моя загадочная жизнь, пронизанная каким-то трепетным чувством, как в жутком сновидении.

И сны мне снились всегда красочные — громадные «первозданные» с окрашенными звуками, и собственный мой голос звучал мне звонко голубым.

Краской красилось и то, что я видел, и то, что я слышал или, что то же, все было в звуках, и однажды, как в сказке, я приложил ухо к земле — к московскому дикому камню, и дикий серый камень заговорил.

НАТУРА

Учитель рисования Капитон Федорович Турчанинов или просто «капитан» — из Школы Живописи, Ваяния и Зодчества с Мясницкой; более миниатюрного я не видывал как среди людей, так и человекообразных, да едва ли и есть еще такой; если хотите, «*цверг*» из Гриммовских сказок, а штаны длиннющие с Ивана Евсеевича Евсеева (знал я еще и такого учителя чистописания, среднее между Артемом-Вием и Ивановым-Козлоком), — неужто ж работа Поля-Уже, на рост? бритый, с седыми бачками или как мне виделось, с полежалой зиму между оконных рам ватой, а добродушнейший и ворчун неугомонный, его никто не боялся, и как будто был он и не человек вовсе, двоек не ставил.

Говорили, что он ровесник священнику от Грузинской, Алексею Димитриевичу Можайскому, старику же священнику было за восемьдесят, все это знали, а между тем... по какому-то делу был я с матерью на Мясницкой, зашли в Почтамскую церковь, известную по «Масонам» Писемского, а насмотревшись всяких символов, от которых у меня ничего не осталось в памяти, улицу перешли и в Школу к Капитону Федоровичу. И, вот, верите ли, это-то я очень хорошо помню, и как сейчас вижу: в прихожей нас встретили и потом в тесном зале, где нам пришлось ждать, — из всех, какие были, щели, щелки, перегородки и из под стола и из под стульев и кресел, низеньких с протертым сиденьем, повылезли и глазели на нас, и все такие же крохотные — мальчики и девочки, и все на одно лицо — «цверги» — и все — вылитый Капитон Федорович, только без паутинной, ле-

жалой между оконных рам, ваты — штук двенадцать, а может, и побольше!

Капитон Федорович, взглянув на мой рисунок, взял резинку и ничего не говоря, стер все и сам нарисовал цилиндр. Я был очень удивлен: никакого цилиндра! — я видел совсем другое.

— Надо смотреть на натуру, а не фантазировать! — ворчал Капитон Федорович.

На следующий раз я нарочно вызвался посмотреть поближе, что за натура: а это была усеченная пирамида и куб.

Я сидел на первой скамейке и стараясь не «фантазировать», стал вглядываться; и чем больше вглядывался, на бумаге у меня выходило совсем непохожее ни на пирамиду, ни на куб, я это чувствовал.

Капитон Федорович, когда дошла моя очередь, ворчливо заметил:

— Откуда ты взял этих чудовищ? Я тебе сказал: надо рисовать с натуры. Понимаешь: натура!

И начал было стирать мой неподобный рисунок.

— Я не рисую чудовищ, — сказал я, — это натура.

И вот за все свои восемьдесят лет Капитон Федорович должно быть, в первый раз рассердился: затхлая вата на щеках его взбилась, бросил он резинку и с остервенением жевал губами, подбирая самое презрительное, чем бы выразить свое крайнее возмущение.

— На-тура! — сказал он, передразнив меня, — на-тура! — и, с трудом поднявшись с парты, перешел к другому.

Но долго не мог успокоиться, все повторял и на всякие лады это единственное, попавшее на язык, само по себе безобидное, но, ведь, и самое безобидное, если долбить — осатаневает, и резинка дрожала в его руках: «на-тура».

Обезкураженный, я продолжал рисовать с — натуры.

Если пристально вглядываться в какой-нибудь предмет, то этот предмет или фигура начинает оживать, вот что я заметил: из него как будто что-то выползает, и весь он дви-

жется. Я рисовал этих движущихся «испредметных» — с натуры.

Моей мечтой было научиться рисовать: изощрив глаз на «испредметных» и точно передав «лицо» их, найти средство оживить это «лицо». Мне хотелось научиться растушевывать — и не штрихами из моей каллиграфии, наука Козлока, а кружочками: я видел, как Капитон Федорович, чтобы изобразить выпуклость и глубь, прибегает, кроме карандаша, еще к собственному мясистому волосатому пальцу, — и тогда кружочки пропадали, а ложилась ровная тень. И эти тени мне казались живыми, как кровь; только в них, и от них зависела жизнь «натуры».

Капитон Федорович, заглядывая в мою тетрадь, больше не стирал резинкой моих «испредметных» и не пытался восстановлять натуру, а губы его что-то жевали, но не сердито, а с сожалением: «натура!», звучавшая, как «несчастье»!

Только по бесконечному добродушию его, за все четверти отметка по рисованию у меня была удовлетворительная: три с минусом.

Капитон Федорович, мой первый учитель рисования, был опытный и мудрый цверг: безошибочно распознавал способных и неспособных и не требовал; а не то, что какой самозванец: пристанет, изволь, по его, с его глаза, в котором весь мир сошелся, пристанет, не отвяжется, а того не понимает, что «дурак» и есть «дурак», и не виновен.

С легкой руки Капитона Федоровича, я был припечатан «чудовищем» — с каких это пор! а вот живо и до сегоднешнего дня. А сам я, чувствуя, что это что-то не так, не находил слов выразить свое недоумение. Одно я знал, что страха и отвращения, внушаемого тем, что подводится под «чудовище», я не чувствовал.

И когда в первый раз я увидел «натуру» Босха и Брейгеля, меня нисколько не поразили фантастические чудови-

ща: глядя на картины, я почувствовал какой-то сладкий вкус, как от мороженого, и легкость — дышать легко, как на Океане, или так еще: как в знакомой обстановке.

И при чтении средневековых хроник — в повестях о неведомых странах и одноногих, пупкоглазых и людях с песьими головами и людях-кентаврах, но не с коньим, а со свиным хвостиком; во всех чудесных и волшебных «Александриях» у меня не было чувства, как от чего-то чужого, странного, «уродливого», чудовищного, внушавшего когда-то страх или внушающего беспокойство.

И превращения из «Тысячи и одной ночи» и Гоффманская китайщина, и Гоголевские свиные хари, нюхающие крысы, трясущиеся руки и дрожащие вийные пауки — — не чувствую, не понимаю, да где? в чем? отчего принято говорить: «чудовищно», отвратительно и страшно?

Я никогда не присваивал себе высокого звания «художника» и такая совестливость идет у меня от врожденного мне чувства «перспективы», как долго не мог принять я имени «писатель», и все по той же самой причине, — «как заглянешь в глубь истории, вспомнишь имена, сравнишь свое...» вот как это выговаривается. Научившись весить и мерить по глазу и слуху слова, проникнув в родословие слов и в словесные сочетания, я усвоил писательство и стал называться писателем.

Мои рисунки заинтересовали, как чудачество писателя.

И я не помню, когда бы я не показывал свои иллюстрации к моим снам и сказкам и к любимым произведениям писателей, занявшим высокое место в моей памятливой зрительной дали.

Глядя на мои рисунки, прежде всего и больше всего повторяли замечание, которому положил начал Капитон Федорович: «зачем я рисую чудовищ?». В этом отзыве не было никакой оценки, и я не обращал внимания.

Но проникновенные люди отнеслись по-другому.

«Это для вас очень хорошо, — говорили, — вырисуетесь и освободитесь от всей вашей чертовщины!». Или: «Как по-

смотришь на ваши рисунки, жутко подумать, какая у вас душа!».

И я невольно задумался.

Но сколько ни думал, никак не мог найти в себе того «черного» признака, которым наделяли моих чудовищ (и почему «чудовищ»?) — моих окрашенных или оттушеванных «испредметных», от которых для моей будто бы пользы я должен освободиться.

Не пожалуюсь, есть во мне трудолюбие, усидчивость и любопытство к человеческому знанию. Но я окончательно лишен всякой «телепатии»: на мой подслеповатый глаз никогда никто не оборачивался, и никогда ничего я не предвидел и не предсказывал и ни в какое, даже любительское, спирическое общество меня не примут — сами посудите, полжизни, а может, и больше, провел я согнувшись над столом, и хоть бы раз от прикосновения моих рук стол заколебался, или чтобы ножка стола сама собой простучала или, как блюдечко ходит, пошла бы моя рукопись или книга, а ведь сижу я не безразлично и, если пишу, слова у меня не льются, а выдираются на свет Божий.

Счастливая напалая мысль! Каких только чудес не творит: у слепца раскрываются глаза, а хромец Лифарем перекинется.

Поль Элюар, истонченнейший из современных поэтов, сюрреалист, к своей статье в «Мониторе» дал ряд открыток «Les plus belles cartes postales».. Самые ходовые — и довоенные, и современные — поздравительные-праздничные, любовные и влюбленные-поцелуйные, «головки» прославленных красавиц, жёномы с моноклями и бытовые сцены: дружба, клятва, ревность.

Глядя на эти открытки, — а кто их только в руках не держал, да и сам я, когда не было ничего под руками, разводил на них свои узоры —науку Артема-Вия, потом надписав адрес, наклеивал марку... — — да разве это не чудовища, не чудовищно? и что черного в моих чудовищах, когда вот она перед моими глазами, чернющая пошлость, и

почему же никому не приходит в голову прежде и раньше всего освободиться от ее чудовищности? или все так привыкли, весь мир сжился и никто не замечает, а чудовищность и уродства ищут совсем-совсем не там.

Одна из открыток — случайно: луна, в окно высунулся — поет петух, видны взмахнутые крылья и трясущиеся лапы, а зад у петуха, луне не видно, человечий голый, не свиной, хвоста и признака нет,и лапы звериные — «L'innocence persécutée».

Это петушиное чудовище моей натуры, и это «чудовище» разве можно сравнить с рассевшейся на стуле лицом к спинке: в пальцах папироса, расстегнувшийся ливчик, в одних «кюлот», или это, но это не с открытки, а из жизни: спортивный мордач на тоненьких ножках, а штаны-бэбэ или жёном с короткими рукавами-руками в шерсти или, а это сейчас у нас под окном: мальчик в высоком цилиндре пляшет под скрипку... — и это не кошмар?

И знаете, почему «чорт» всеми силами старался мешать кузнецу Вакуле, когда Вакула трудился над картиной, изображавшей святого Петра в день Страшного Суда, изгонявшего из ада злого духа? А за то, что злого духа Вакула наделил вот этим человеческим, никого не пугающим, привычным — примелькавшейся кошмарной пошлостью.

Если бы тогда, в первые мои уроки, я хоть приблизительно так думал! Но тогда я мучился «своей натурой» и одна была мысль, как наловчиться, чтобы рисовать «по-человечески» — «с натуры».

НИКОЛАС

В нашем доме — в бывшей красильне-набивной, приспособленной для жилья, со всеми удобствами, появился художник.

Откуда он взялся, никто не полюбопытствовал, и как фамилия, в голову не приходило спросить. Ровесник моему старшему брату, старше меня на пять лет, мне он виделся куда старше — ну, как Капитон Федорович, которому можно было дать и все сто. Сам себя называл он «Николас», ударяя на «яс»; так и пошло — и все стали его звать Николасом.

В нашем доме всегда бывало много гимназистов — у каждого, а нас четверо, свои товарищи: одни были известны по фамилии — Карташов, Беневоленский, Минорский, Суворовский, другие только по имени — Костя, Володя, Саша, а третьи по прозвищу, как «Пугало»-Воскресенский, и ничего нет странного, что никто не знал фамилию Николаса.

По одежде он отличался от нас — ничего от гимназического серого и серебра, весь в черном, черные брюки и черная блуза, в какую рядились толстовцы, и сзади, по меткому определению Лескова толстовцев, явственно выступал «курдючок».

Мой старший брат готовился в филологи-классики, переводил Софокла и в то же время мечтал сделаться художником. Говорили, что только один он из всех нас не в Ремизовых — не в отцовское, а в Найденовых — в материнское.

Моя мать рисовала; я видел ее ученические альбомы и ее готическую немецкую каллиграфию. Мать училась в

немецкой Петропавловской школе, которую основал популярнейший в Москве пастор Дикхов; в этой школе с правами гимназии учились не только дети московских немцев, но и дети того тесного культурного купеческого круга, о котором Островский не имел никакого понятия. Почерк моей матери в русском письме твердый и крупный, не женский, на мой взгляд чересчур красивый, без задоринки, и вовсе не сделанный, не искусственный — не «выработанный», как у меня, а природный, направленный немецкой готикой. И все ее братья и сестры, прошедшие ту же немецкую школу, рисовали, а в письме — очень похоже, под одну руку. Говорили, что это по наследству — от деда, от нашего суздальского прадеда.

Егор Иваныч Найденов (по старинному, по-московски не мягкое «е», а твердо) — из села Батыева, Суздальского уезда, Владимирской губернии, крепостной, отпущенный в Москву, красильный мастер, набойщик. В начале прошлого века обосновался на Яузе у Полуярославского моста в Сыромятниках, завел свою ткацко-набивную и красильню, и с сыном Александром работал; сын книжки любил читать, товарищ Верещагина — о Растопчинской расправе над Верещагиным я слышал с детства... Так вот от суздальского красильного мастера и выводили все рвение к рисованию у моего старшего брата Николая.

А я добавлю, что и сами стены бывшей красильни, где прошло наше детство, располагали к краскам.

Николас задумал учить моего брата писать масляными красками.

В доме у нас появился мольберт, ящик с душистыми красками и палитра с кисточками и масло в жестянке. Рисовали они деревья и небо.

А однажды, для примера, Николас написал портрет нашей няньки, Прасковьи Семеновны Мирской — Прасковьи Пискуньи.

Я видел, как терпеливо высиживала она «сеансы» и с тем покорным взглядом и скорбным, точно говоря, что в

трудные минуты повторяла, вспоминая крепостное время: «пороли нас, девушка, пороли на конюшне!».

— Кто ж это, девушка, ровно б утопленник? — спросила она, когда Николас с расшарком, живописно откинувшись под Пастернака,и крутя курдючком, не без гордости показал ей свою работу.

— Утопленник! — Николас никак не ожидал и был сбит с толку, — да вы вглядитесь хорошенько...

— Ничего не вижу, девушка.

На портрете Прасковья Семеновна сидела зеленая.

— На фоне дикого винограда, — объяснил Николас.

Но не одна была зелень дикого винограда на портрете, от которого помутилось в глазах у няньки, а по зелени, как исполосовано, багровым: июль!

А вы знаете, что такое московское июльское солнце, когда, с зарей выкатившись откуда-нибудь из Бухары и проплыв Киргизские степи — через Астрахань и Казань — к полдню станет оно над Москвой и стоит до самого заката, и такое жгучее, как только тамошнее, что над Гоголевскими баштанами, близ Диканьки, наливное, прикатившее прямо из Крыму.

Зеленое, исполосованное багровым! Да, это как раз то, что мне было так близко: ведь все лица виделись мне цветные, и цвет их менялся со светом — в полдень один, а в сумерки совсем другой.

Не отрываясь, я следил за красками: как червяки, выползали они из тюбиков, а Николас размазывал их кисточками по палитре. А как хорошо пахло! Лучше всякого одеколону — и если сравнивать, можно сравнить только с запахом свежей «снимки». Я все совался поближе к мольберту, мне все хотелось разгадать самый размаз красок: почему та и другие, а не эта, и настолько — не больше, не меньше. Но меня отгоняли: и зашу и под руку.

А когда я показал Николасу свои «испредметные» с оттушевкой-кружочками, по которым прошелся палец — наука Капитона Федоровича, Николас, перелистывая тетрадь,

добродушно улыбался, или не совсем так, а скорее снисходительно, как смотрели мы на ребячьи забавы, в которых всегда есть что то, но никогда — да и в голову не придет, чтобы искать завершенности, вылитости или того, что зовется мастерством: в следующий опыт, может, и выйдет что то, дело не безнадежно, а может, и ничего не выйдет.

Я просил Николаса, чтобы дали мне самому покрасить, но Николас мне сказал, что сначала нужно научиться рисовать, а потом уж красками. И обещал мне достать у своего приятеля-художника —

«Подержанные краски».

В слове «подержанные» заключалось для меня что-то и таинственное — необычайное, как золото, не простое, а серебряное, и само-собой завлекательное, как всякая тайна.

Я любил смотреть на небо — какие грозные чудовища, дымящиеся рыбьи хвосты и гигантские плавники, рогатые и крылатые, плыли надо мной, и цвет их менялся, и от цвета менялась их форма; я любил вглядываться в сучки на свежем тесе — какие неподобные носы, прячась, выглядывали на меня из своих ореховых окошечек; я любил, прижавшись к холодному стеклу, глядеть на «морозные цветы» и, глядя, проникать в самую их чащу, пробираясь ельником к крестящим елям, переливающимся в алмазных огнях в краткий трепетный час перед зимним закатом и вечерами, когда зажигали лампу; жмурясь перед сном, я мог вызвать и этих чудовищ, проплывавших по небу, и карликов, прячущихся в сучках, и лес — узорную чащу «морозных цветов», я засыпал с ними, и с моим сном переходили они в сновидения.

Задумав рисовать на обоях прямо на стене в столовой — обои желтоватые с выцвевшими золотыми фигурками — я неожиданно для себя обнаружил, что когда, намуслив палец я стал пальцем водить по обоям, из пятна показался рисунок: этот рисунок как бы сам собой выходил из обоев.

«Мое «испредметное», значит, — подумал я, — не только в предметах-вещах и в живых лицах, а также и в самом матерьяле — в бумаге, и для вызова к жизни не требуется никакого внимания — всматривания, глаз совсем не при чем, а надо только как-то коснуться».

Тайна материала и магия жиого прикосновения — об этом я собирался рассказать Николасу, я был убежден, что он все знает.

И вдруг Николас пропал.

И день нет и другой, не приходит. Говорили, что кто то видел его на крестном ходу в Ильин день, будто в Лялином переулке цветы нес. А как стали допытываться, оказалось, что видели: с рыжей бородой; а про «курдючок» ничего не известно. А какая там борода у Николаса, да еще и рыжая? А не заметить «курдючок», да это все равно, что гребень у петуха или у слона хобот... Всегда вот так: скажут да еще и уверять будут, и поверишь, а потом — ну, ничего подобного.

Так и пропал.

В ночные Успенские хода в Кремле мы ходили всю неделю с Преображенья до Успеньева дня. И однажды, когда под окличный серебряный ясак вышел крестный ход из Благовещенского собора, вдруг вижу — и глазам не верю: Николас! Но как странно: рыжая борода — и стало быть, правду говорили, с бородой; весь в черном, но без курдючка; и что то было в нем от Самойловского маляра — золотого воздушного Матвея, и в руках он нес осенние цветы, пунцовые астры, и мне послышалось — — я сунулся поближе, но народ уже шел, теснясь к хоругвям, и меня оттеснили.

И уж как следил я, глядя во все глаза — но тут из-за Ивана-великого ударило солнце, и с «красным» звоном все загорелось, а меня ослепило.

Это солнце! этот опетый, перепетый и воспетый поэтами «источник жизни»! — так много всегда говорилось и го-

ворят: и «красное» и «теплое» и «солнечный денек» и на «солнышко» и «на солнышке» — а мне было всегда нестерпимо: хотелось забиться в чулан, в душный угол, где свалена всякая рухлядь, тронутая молью, подмоченная и прелая, или куда бы нибудь в погреб на самую черную погребицу, нет, я люблю тепло, не потому — но чтобы только не видеть резкого мучительного для меня света — этого ослепляющего меня дракона, от которого на земле мне нет скрыти. А как легко мне и тихо — пасмурный день и дождик, как я любил и люблю осенние дни и туманы.

А Николас так и пропал.

И только потом уж вдруг осенило и я понял, что напрасно искать неизвестно откуда взявшегося и также канувшего в неизвестность — и разве неясно, что это был самый доподлинный «дух» красок — «домовой» бывшей красильни, вызванный в нашу жизнь моей страстью, а может и без всякого вызова явившийся, чтобы показать силу и волшебство красок.

5

СЛЕПЕЦ

С начала зимы мой старший брат, не пропуская ни одного воскресенья, после обеда отправлялся с ящиком через всю Москву в Строгановское училище: по воскресеньям в Строгановском училище были бесплатные рисовальные курсы для приходящих.

Помня завет таинственного художника и обещание: подержанные краски», — я твердо решил научиться рисовать «с натуры»: я хотел овладеть этой натурой, как когда-то росчерком у «Вия» и прямой-параллельной у Козлока.

Мой брат легко рисовал и карандашом, и углем — перерисовал весь фабричный Найденовский двор, монахов Андрониева монастыря, Всехсвятских пололок и огородников и всех нас, и наших собак и кошек. А я, постигнув растушовку кружочками с пальцем, изловчившись наводить тени и самые глубокие и такие легкие — дунь, и сдунет бесследно, я не в состоянии был срисовать с натуры и самого простого проволочного треугольника, а уж про лица, мурлы и морды говорить нечего, — все, что я ни делал, было «неузнаваемо».

И однажды в воскресенье я увязался за моим братом.

Но я пошел в класс для начинающих, где происходил отбор по пробному уроку.

Самый большой класс, до потолка увешанный картинками в рамках. Народу было уже много. Сел на заднюю скамейку.

На кафедре высоко на подставке стояла на виду какая-то геометрическая фигура. Но что это было, я так и не знаю. А когда зажгли свет, я увидел — и очень много увидел. И

сейчас же рисовать, и с час рисовал, как привык рисовать свои «испредметные».

А когда, наконец, пальцем наведя тени и полутени, я подошел к кафедре, и учитель заглянул в мою тетрадь, я сразу почувствовал, дело не ладно: это был совсем не Капитон Федорович и никакого добродушия.

Возвращая мне тетрадь, учитель срыву:

— Не годится.

И не зная, что ответить, и не беря тетрадки, а он ее мне тыкал в руку, я поперхнувшись:

— Куда — приходить? (т. е. в какой класс?).

— Никуда и никогда!

И мне почувствовалось, больше чем нетерпение, в его голосе была досада с уничижительным «отвяжись».

Теперь-то я понимаю: Прасковья Семеновна Мирская, в крепостное время или «в крепостях», по ее выражению, первая кружевница, не очень справлялась с заплатками — «ничего, девушка, не вижу!» — и продранные, заплатанные мои колени и на локтях топорщилось, нашивка на нашивке — учитель понял: хулиганю и что нарочно все это наворочал — «с натуры».

Но тогда я не мог понять, «за что?». И за что: «никуда и никогда».

Вернувшись домой с тетрадью, а нес я ее через всю Москву открытой на моем рисунке, я ничего не сказал. А мой брат, вернувшись со своими красками, ничего не спросил.

Два других моих брата, старшие меня на один год, другой на два, оба лунатики. По ночам во сне они проделывали самые рискованные гимнастические упражнения, они вылезали за окно и, бродя по карнизам, вдруг отрываясь — я видел — висели в воздухе с протянутыми руками к луне. И еще я заметил, что дотрагиваясь до стены, они проникали глубоко за обои, касаясь рукой не только стены, но и глубже, как бы проникая в самую стену. И я убежден, что им ничего не стоило бы вызвать и самого красильного духа, в

черном, черная блуза, с курдючком, затаившегося в пропитанных красками стенах бывшей красильни. Но они в красильном духе не нуждались, потому что и не рисовали. А я, лишенный лунного дара, без дара лишаться веса под лунным волшебством и проникать заполненное пространство, «интерпенетрировать», мог прикосновением моей руки только вызвать на обоях призрак, очертание его, не больше, и мне ничего не оставалось, как только перед стеной в стену пожаловаться на свои неудачи.

Я не мог понять, отчего все так вышло и почему все, кроме меня, могут, и пусть неумело, не точно, а могут — «с натуры»?

Мне было до боли. Куда больнее, чем тогда, как сверзился я со шкапа и угодил носом в свою игрушечную жестяную печку, переломил нос и разорвал себе губу и, весь измазанный липкой кровью, в первый раз увидел нашу пеструю детскую, а в раскрытое окно синюю грозовую тучу над белой колокольней Андрониева монастыря. Боль, окрашенная кровью, и из крови восторженно начало моей жизни (мне исполнилось два года), и вот боль — бескровное, а какая беспомощность — безнадежное перед стеной-в-стену!

А ведь так это просто и понятно безо всякого «красильного духа»! Ведь для меня «натурой» была совсем другая «натура», и научиться какой-то общей натуре, выработанной в веках средним «нормальным» глазом для среднего «нормального» глаза, я пропал бы, а никогда не научился бы. Мой мир — совсем другой мир, это был осиянный, пронизанный звучащим светом и окрашенный звуками мир, о котором знал только я. Но этого я еще не знал.

И вот однажды мой единственный непохожий волшебный мир был разрушен. Его тайна раскрыта, загадка разгадана. И это открытие сделал знаменитый московский географ Сергей Павлович Меч.

Его любимое имя Стэнли, но не Стэнли, «Алтаец» — страстный путешественник, описавший наш дремучий север. Преподавание географии без учебника. Большой выдумщик,

любил и сочинить и пересочинял, т. е. с вариациями. «Алтайца» он и получил за свои сочинения: трезвые люди уверяли, что на Алтае он никогда не был, а именно о путешествии по Алтаю больше всего и рассказывал, и с таким увлечением и такими подробностями, как только тот, кто самъ исходил все таинственные тропки, пронизанные белым серебром.

Слава про моего учителя, моя слава: про меня тоже всегда говорили, и редко не порицая, что я все сочиняю. Да, я сочиняю, я сочинял, и это выходило у меня само собой, как бы росло из меня — это было мое, только мне принадлежащее, «испредметное», которое я видел в вещах, оживавших под моим глазом; но должен сказать, было и такое, что почему-то принималось другими за «сочинение», но что я-то, ничуть не «сочиняя», видел собственными глазами.

Я был из первых: моими ответами всегда был доволен Сергей Павлович и никогда не вызывал меня к карте, как других, заставляя тыкать палкой в океаны, острова, горы, города, бухты и заливы. И почему-то вдруг пришло ему в голову: хотел ли он показать пример «бестолковым» — он был во мне так уверен.

Я подошел к доске, взял палку и нацелил в карту.

— Москва.

Не задумавшись, я ткнул.

— Париж, — сказал кто-то из «бестолковых».

— Стань ближе! Лондон.

Я покружил палкой и — попал.

— Иркутскъ, — кто-то пискнул за моей спиной.

— Ближе! еще ближе, — ужъ тоненько прозвучал голос, что означало, что «Алтаец» сердится, — Шпицберген.

Я стоял совсем близко, плечом касаясь карты, и держась за кончик палки, ткнулъ.

— Кавказ! — еще писклявее пропищало у меня за спиной.

Мне показалось, что это пищит —

— Да ты слепец! — выпискнул «Алтаец»: неподдельная радость прострунила в этом писке, как будто где-то на ка-

ком-то легендарном Алтае он открыл, наконец, никому неизвестную новую вершину — гору из чистого серебра без единого пятнышка.

На другой день доктор освидетельствовал мои глаза. И оказалось: одиннадцать диоптрий. Доктор пенял, почему раньше не обратился, — и как я с таким зрением не свернул себе шею, а мне не проломили череп.

Доктор показался мне весь белый и из белого желтый светящийся блин, где значится лицо, и этот блин был в огромных хрустальных, как ламповые подвески, очках. Но когда стал он примерять мне стекла, я увидел — невероятно! — и не блин, а рыжеватая хвостиком борода, одутловатые выстекленные щеки и крохотные, как кофеинки, глаза из под самых обыкновенных и никаких не огромных хрустальных очков.

— Воинской повинности отбывать не придется! — и засмеялся.

И в первый раз я увидел человеческие зубы — хитрые — человеческие, а лживые — как прославленная за Божественный дар человеческая улыбка. И не словами, чувством принял я тогда эту бестию правду.

И когда я надел очки, все переменилось: как по волшебству, я вдруг очнулся и уж совсем в другом мире.

Все стало таким мелким, бесцветным и беззвучным — сжалось, поблекло и онемело; оформилось и разгородилось. Не то солнце — моя неизбывная гроза! — игрушечный дракон; не те звезды — погасли кометы! — никогда я не думал, что звезд бесчисленно и все бесхвостые, а блеск их — только в стихах; а месяц — не те его лунные серпы, что никогда не в одиночку, а парами слушали-глядели из ночи, блистающие ухо-глазы; и уходящие под облака фабричные трубы Найденовской бумагопрядильни, и та кирпичная, в обхват не охватишь, красная Вогау, и дом, наша бывшая красильня, из окна которой, размазывая на себе липкую кровь, с восторгом в первый раз я увидел мой волшебный мир — —

И сам Сергей Павлович никакой волшебник, не «Алтаец», а стракун-кузнечик, тоненькие ножки, длинный и остренький, с редкими рыжими волосами, как приклеенными, по лицу и на голове; и географическая карта, взорвавшая мой мир, не менее волшебная, чем этот мир, географическая карта с золотыми горными хребтами и глубокой синью — плавью морей и океанов, омывающих землю, и вот ставшая бескрасочной, испещренной точками и перепутанной меридианами — —

Если бы можно — да некуда! и бесповоротно! — не уйти и не скрыться от этого резко-ограниченного трезвого мира, от оголенного математического костяка, преследующего каждый твой шаг, каждый твой взгляд, каждый поворот. Так вот она какая натура!

Бедные! бедные! бедные! люди — обездоленное нищее человечество! — тупая норма и нормальная тупость.

Мне тогда и в голову не приходило, что, имея и нормальный глаз и ограниченное поле зрения, человеческий гений, входя, вдвигаясь и проникая в глубь в этом ограниченном поле размеренной «натуры», добирается до того «чудесного блеска», что над блеском, доступным простому глазу, и проникает к «волшебному сиянию», примешивающемуся к сиянию месяца: гений Гоголя и гений Толстого.

ДОМАШНИЙ МАЛЯР

Тринадцать лет я прожил в фантастическом мире какой-то немирной мятежной стихии.

Чудовище каких-то других измерений, похоже на кошмарное сновидение, в разливающемся, все проникающем звуко-цвете, с осиянием человеческих лиц и излучением предметов, вот та «натура», обособившая меня за тринадцать лет! Но никогда за эти необыкновенные годы я не сознавал свою отдельность так резко, как теперь, когда вдруг открылся моим глазам мир — все тот же Божий мир! но без никаких «концов из середины», а геометрически размеренный и исчисляемый математикой.

Если тогда во власти глазатого-звездами и ушатого-лунами чудовища из всех я один, рисуя, не мог передать «натуру», за то едва ли не один из всех я не затруднялся ни перед какой задачей, и это я знал; знал я и то, что шопотом нельзя было сказать при мне слова, и не прислушиваясь, я слышал отчетливо, как сказанное на ухо, а в хоре вздрагивал от фальшивой ноты, незаметной и самому учителю пения с его уши-и-душу раздирающей скрипкой. Теперь же став рабом Эвклида, лишенный непосредственного чувства к тому «бушующему» мятежной стихии, скрытой за геометрией и что было мне когда-то осязательно, очутившись в «общем порядке», я понял, какая пропасть отделяла меня от других, умевших, рисуя, передать «натуру», как жизнь моя была непохожа, как и мир мой — подлинно чудовище, единственный со своей «натурой».

Оглядевшись — а в очках я все отчетливо видел, как

на фотографическом снимке — я без восторга закрыл эту «небесную» книгу видимого мира. Я и потом, вжившись и приспособившись к нормальному зрению, никогда не мог понять, как это можно любоваться «видами» природы или, по трактирному, «романическим местоположением»; и самою скучною книгой мне показался тогда Аксаков «Детские годы Багрова-внука» — награда за мои математические успехи, слух и каллиграфию.

До тринадцати лет я читал случайно, а между тем весь дом — вся наша бывшая красильня, начиная с матери, все мои братья упивались чтением. Детская литература прошла мимо меня. Но теперь книга стала для меня все: я читал на уроках, в перемену и дома вечерами, пока не гасили свет. Я точно розыскивал в книге чего — потерянное?

«*В лесах*» и «*На горах*» Мельникова-Печерского — первые из прочитанных книг, а попались случайно и за дешевку — на Сухаревке. Чувство мое было горячее, горящее — читал и не мог начитаться.

Потом все позабылось, и не как вытесненное, а нагрузом других, по чувству памятных: Достоевский, Толстой, Салтыков, Лесков, Гончаров, Тургенев, Писемский и много позже Гоголь. А когда я раздумываю, кого мне назвать своим родоначальником, я уверенно говорю: Мельников-Печерский.

И как странно, не Гоголь, а ученик Гоголя, да не из первых, не из «оркестра», как Достоевский, а один из бесчисленных «копиистов» стал вдохновителем трех современников.

У Кузмина единственно живые лица его романов — Марья, Устинья и Марина — старообрядки, отблеск «Лесов» Печерского; у Андрея Белого — его «*Серебряный голубь*»: книжно-измысленные хлысты — по Мережковскому, а по теме — с «Гор» Печерского; а в исследовании о Гоголе, где Андрей Белый дает параллель из текстов «Гоголя-Яновского» и «Белого-Бугаева»... ведь только непоправимо оглушенному трескотней Заратустры, автору параллелей, растерявшему звуковое чутье, не чутко, что не с Гоголем-Яновским, а с

Павлом Ивановичем Мельниковым — Андреем Печерским сличим Борис Николаевич Бугаев — Андрей Белый. И наконец мое — моя «*Посолонь*» запевно-отпев Мельникова-Печерского, из лирики «Лесов»; Печерский пользовался Афанасьевым, «*Поэтические воззрения славян на природу*», я же Веселовским, его «*Розысканиями*», и тут между нами пропасть: после Веселовского никак не засластишь под «русское», да и «белой» гурьевской каши не сваришь.

А как мне было не читать с волнением Мельникова-Печерского: ближайший круг знакомых и родственники по кореню старообрядцы — из «Лесов»: Хлудовы, Прохоровы, Востряковы, Лукутины... А было и с «Гор» — со стороны отца.

Отца я видел на перечет и помню смутно, в последний раз — в гробу, это я помню. Дед мой — Тульский, из села Алитова, отпущенный крепостной, жил в Москве у Иоанна Воина, а отец начал у Кувшинникова «мальчиком», вышел в приказчики, а по смерти Кувшинникова, стал хозяином. И не у Ивана Воина, а Николы в Толмачах жил в собственном доме, и писался не «Ремезов», как дед, а с «и» — «Ремизов», не желая, как говорили, происходить от «птицы-ремеза». После смерти отца я всего раз был с матерью в Третьяковском проезде и в Солодовниковском пассаже, два галантерейных магазина отца: от вещей и вещиц глаза разбежались и остались только рамки и рамочки, откуда, должно быть, мое пристрастие — все свои рисунки я непременно обрамлю: сама рука ведет и инкрустирует.

Из родственников отца поминали сестру его, Анну Алексеевну, живет в Туле, и еще рассказывали, что есть у отца родственники в Тамбовской губернии, не то двоюродная, не то троюродная сестра — хлыстовка Татьяна Макаровна.

Потом уж я узнал, что эта Татьяна Макаровна из села Перевоз Кирсановского уезда, современница Гоголя, последовательница «Христа» Аввакума Ивановича Копылова, «восходившего на седьмое небо»: была неграмотная и вдруг, по благодати, «в духе», стала книги читать и говорить по кни-

гам, обличая в скрытых грехах и тайных помыслах. Двадцать лет она пророчествовала, «воли своей не имея, а во всем действуя святым Духом». Ее судили вместе с Копыловым, долго держали в Кирсановском остроге и присудили на поселение в Сибирь. Следствие производил Набоков.

Два московских женских монастыря особенно меня трогали: Вознесенский и Ивановский. Вознесенский в Кремле, усыпальница московских цариц и царевен — там были цветы, как в раю, царские и особенно осенью, так бы все и вдохнул в себя! А в Ивановском, пристанище хлыстов, известного по деяниям Ваньки Каина, — там был необыкновенно желтый песок, золотой и особенно летом, тронешь, он теплый и меж пальцев, как лучи; там всегда вспоминали хлыстовку — Татьяну Макаровну.

Как-то летним вечером — в год смерти отца, мне шесть лет — на Найденовском «бесконечном» дворе показалась коляска. Мы выбежали посмотреть: отец тоже из Замоскворечья приезжал в коляске, но эта была не отцовская — вороные лошади, а рыжие и кучер не «наш». Коляска не остановилась у белого Найденовского дома, в котором жили два старших брата моей матери, а, проехав фабрику, дрова, фабричный корпус-спальни, повернула к красному флигелю бывшей красильни.

Это был какой-то — мне показалось, наш учитель француз Лекультр и с ним дама в белом костюме. Нас очень удивило, что, спросив мать, назвался Ремизовым.

Весь вечер они просидели у нас. Пили чай со свежим вареньем и потом ели дыню — белую «ананасную». Наши гости оказались родственники, правда дальние; он — инженер, в Москву по делам, и опять поедут назад в Тамбовскую губернию: у них имение в Кирсановском уезде, село Перевоз. Что еще говорил он с матерью — возможно, что о завещании отца, но до меня доходили только отдельные слова. Весь вечер со мной возилась его жена — со мной всегда занимались гости, оттого ли, что я был младший или потому что смотрел чудно — никто не догадывался, в каком я жил

мире, но может быть, чувствовалось? Прощаясь, они обещали, что в следующий их приезд в Москву они непременно заедут, и чтобы мы непременно приехали к ним в Перевоз — и что у них так хорошо, ну, как Божий рай!

Мы вышли провожать за ворота — мать и нас четверо. И я знаю, не один я, а все мы тогда поверили в это — где так хорошо, в этот рай, куда и мы и очень скоро на тех же рыжих лошадях... Высоко над необозримыми, а теперь как зажатыми в лапах ночи, Всехсвятскими огородами из-за белой колокольни Андрониева монастыря подымался месяц — серебряная чаша — и рыжее вдруг почернело, а из белого — коляска тронулась, гости махали — такого белого, надутого, как вихрем, хлынул на меня синий и, если бы уже не Гоголь, я бы сказал: звенящий свет, и я почувствовал на губах, на груди, на пальцах какой-то сладкий до боли воздух.

А когда мы вернулись в дом, мать сказала, что это был сын хлыстовки Татьяны Макаровны.

Долго чувствовал я на себе этот запах духов, что-то таинственное соединилось у меня с этим приездом, и образ хлыстовки стал передо мной белым взвихренным с синим хлывом в лунную серебряную ночь.

Но больше мы их никогда не видели и не было от них вестей из «рая». И были ли они на самом деле и рай их — «где так хорошо!» — не из моей ли бушующей стихии, вызванной моей мечтой, как когда-то таинственный художник, появившийся, чтобы показать все чары красок, и вдруг пропавший?

И вот читая «На Горах» Печерского, я что-то вдруг вспомнил, точно из своей жизни я читал.

А чего-чего я не читал в те годы и по программам систематического чтения и так, что подвернется под руку, и еще по какому-то капризу, что вдруг взбредет в голову — так почему-то потянуло к Китаю и я много перечитал всяких китайских историй и знал наизусть изречения Конфуция и Лаотци.

Спрятавшись от видимого мира — знать, не очень-то

мне показался! — погрузившись в мир книг, я продолжал рисовать. Я рисовал даже и тогда, когда изводимый толстовским «зачем» и «для чего» и проникнувшись толстовскими взглядами, отверг всякое искусство; я рисовал и тогда, когда, уверовав в марксизм (правду сказать, всегда я чувствовал себя перед настоящими марксистами как-то неловко, никак не умещая своего мира в штампованные клетки!), мечтал сделаться ученым экономистом и революционером. Только я уже не рисовал свои «испредметные» — тот мир для меня навсегда закрылся! — я рисовал мелкие вещицы, камушки, песчинки, всю ту «Чехонинскую» мелочь, доступную лишь близорукому.

А еще, собирая бабочек, я составлял гербарий: цветы и пестрые крылышки мне что-то напоминали из моей, канувшей навсегда, «натуры». Я заметил, что сплошных красок в природе не существует и, чтобы передать переливы, я взялся за разноцветные камушки и лоскутки. Мозаика и ковры! Из шелковинок, лоскутков, кусочков все мои «чудища» моей глубокой памяти, как и нимбы на лицах и мордах не иконография, а неотделимое от моего прошлого зрения осияние.

Страсть к рисованию, как и страсть к литературе, я сохраняю на всю жизнь. Рисовать для меня, что горе-рыбаку рыбу удить или так: рисование мне, что криксе соска. И иногда мне кажется, что мне легче нарисовать, чем выразить словом, — по моей беспамятности на слова и тугому на слово, памятливому лишь на движения и цвет.

А имени суздальского «красильного мастера» — Егора Ивановича Найденова — прадедовское наследство и завещание, я не оправдал. На Найденовской фабрике много было рабочих, — мужчины, женщины и дети, шпульники и шпульницы, были и слесаря — мастера и подмастерья, плотники и столяры, был кузнец, был садовник, был печник и был маляр: «Ефим домашний маляр». Если надобилась какая-нибудь сложная работа, а главное экстренно и наверняка, звали Самойловских маляров. Ефим без краски и креста не положит, такая в нем была малярная кипь, но ручаться —

Ефимино мудрование знал всякий, и не спрашивали. Вот на звание «домашнего маляра» — по Ефиму — я имею право, но не больше.

Два дела можно делать, но чтобы были они одной сути и существа, а «живопись» и «слово» — что может быть более отдаленного и такое разное? А жизнь можно положить только за одно. Мне на долю выпало с л о в о.

КИТАЙ

Куда бы ни пришел я в магазин, мне на мой вопрос о чае, всегда и неизменно, и эта меня не удивляет, я привык, один ответ: «Есть китайский». Но я называю «цейлонский» или «индошин», есть очень дешовый, в заварке крепкий, а травянистый, и вижу недоумение, оно не выражается словами, а в игре лица: «Как? китаец... и! — (спрашивает) не китайский?!» В писчебумажных магазинах, когда я выбираю бумагу или спрашиваю чернил, мне всякий раз, как и с китайским чаем, предупредительно и неизменно: «А китайской туши?» — и на лицах я вижу ту самую игру-любезность, с какой иностранец выпаливает при встрече другому иностранцу, может быть, единственное чужое или ряд заученных чужих слов: русский «бонжур и вуй» французу, француз «дайте мне соли, пожалуйста» русскому. А когда однажды на рю д-Отой я поднялся из-под налетевшего на меня автомобиля и, оказалось, что и из-под автомобиля вышел цел и невредим, я услышал из набежавшей любопытной толпы: «Китаец!» — и в этом «китайце» было, пожалуй, и «фокусник», но и побольше: «Этот не выдаст!» — и что-то от нашего в быту загадочного «Китай», не в смысле страны, а как название народа. И когда я слышу «китаец» — в Европе меня считают китайцем — я вспоминаю Москву, «Китай-город» — слово из первых, услышанных мною в детстве, я глазами моей неистребимой памяти вижу Москву — Россию, где я был когда-то для всех и всюду русским и говорил на ясном русском языке.

И, вот, я вспомнил: после ужина я улегся спать, кутаясь с головой — привычка с незапамятных лет, брошенная здесь,

в Париже, когда и через мою голову стали проскакивать призрачные, а по впечатлению, как подлинные с улицы такси — и слышу через соседнюю комнату нашей детской и лестницу снизу из кухни: «Китай». «Китай синий, страшный...» говорит горничная Маша, всегда мне представлявшаяся розовой яблоновой и от которой пахло яблоками (она учила меня плавать). «А ты, девка, не бойся — и что он тебе сделает?» замечает старая кухарка, каким-то боком старой веры, всегда в черном платке, Степанида, мастерица на пироги и жаркое. И на ее уверенный бесстрастный голос взрыв живого смеха. Я и потом и не раз слышал этот смех, есть и название — какое-то медицинское, но тогда я еще ничего не понимал. И не понимаю, отчего так смеется Маша, и опять, но тише: «Китай синий, страшный...»

В наш дом приходил китаец — в Москве всегда ходили по домам разносчики китайцы — и был он весь в синем, белые чулки, и с черной жесткой косой. Он мне казался таким высоким — под потолок кухни, выше лампы, а выпуклые ногти на его длинных пальцах, как розовые камни. Шелковые куски, которые он раскладывал, развязав черный длинный сверток, развертывались шуршащими облаками, разноцветные и легкие, тихие для глаза, а из них звучали какие-то короткие слова, как буквы, словно выписываясь черною тушью столбиками и фигурками по цветному полю, а заканчиваясь чудным загадочным «бреука». А потом все свертывалось также воздушно, китаец — китай — держа черный, как утыканный розовыми гвоздями, длинный сверток, смеялся коротким, как его русские на китайский лад слова, китайским смехом и пропадал, оставляя запах шелка.

«Китай синий, страшный...» — уже не говорил, нет, это не из кухни, это был не голос Маши, а шепталось, шурша шелком, из стен нашей детской с зелеными турками на обоях, из каждого зеленого турка в красной феске, из каждой фески, черной, как турецкие усы, от огонька лампадки.

Я всех их вижу, как живые, они проходят, проникая опаловую даль Океана, видения моего зрения — призрачные

образы моих первых впечатлений: таинственный художник в черном с курдючком, но с чертами лица золотого воздушного маляра Матвея, дух красок, пронизанный тонкой волной звуков — дыханием вечернего покоя, а за ним вся в белом, снеговом, как русская зима, с глазами лунных синих полос, с горящей свечей в руках — и от огня не свет, не мир, а предгрозное затишье, безотчетная тревога и напев, выбивающийся ключом из сердца, а за тамбовской Вещицей — синий, страшный Китай!

***

Может быть, образ этого китайца — «синий, страшный Китай», канув с чудовищами моего чудовищного мира, когда через очки мне представился общечеловеческий нормальный мир, вызвал во мне без всяких «зачем» и «почему» интерес к истории Китая, и я принялся за чтение мудреных книг. Университетская библиотека, откуда получал я через моего старшего брата студента-филолога китайскую мудрость, зарегистрировала впервые выдачу таких обреченных на залеж и запыль книг. Может быть, этот «синий, страшный Китай» вошел так глубоко в мой мир с когда-то зримыми и только скрывшимися призраками — ведь не только мысли, а и намеки на мысль живут с человеком и доживают век человека! — чем иначе объяснить, что когда в Революцию петербургский ученый китаец дал мне матерьялы сказок о китайской Лисе — у китайцев Лисица, у кабиллов Шакал, а в Тибете Заяц — я разбирался в них, выбирая нужное мне для моей собственной китайской сказки, как в чем-то уж однажды слышанном, когда-то известном, во всяком случае своем. Может быть, от этого «синего, страшного Китая» мой глаз на небо и землю словесно выражается по-китайски — наблюдения нашего парижского китайца, сравнившего тексты поэта, историка литературы и министра одиннадцатого века из Среднего Китая Оу-Янг-Сиу и из моих сказок. И, наконец, не тот же ли самый «синий Китай» сблизил меня

о Э. Т. А. Гофманом именно через его китайские привязанности — ведь почему-то одно нравится, а другое отталкивает и не только в жизни во встречах с людьми и в выборе вещей, а и в той всенародной исповеди, редко откровенной, а больше лукавой с гибельной для человека оглядкой «что скажут?» и что известно, как литература: роман, повесть, рассказ и «философия», как критика литературных произведений.

Был в Париже какой-то теософский съезд и много съехалось лам из Тибета. Ламы говорили по-русски и по-английски; по французски не говорили. Да особой нужды и не было: ездили они по Парижу на Чижове, и Чижов за них везде разговаривал и все им мосты показывал — ламы почему-то больше всего интересовались мостами. Надоели они Чижову хуже горькой редки или, как в басне, зайцу сметана: понадобилось им зачем-то на нашу улицу, сказали они номер дома, Чижов и повез — дорога знакомая! — и высадил благополучно, да не у того дома, а у нашего подъезда. Вечером на звонок я отворил дверь. Два незнакомых. Спрашивают мосье Руло. «Этажом ошиблись, подумал, и перепутали имя: над нами англичанин Репей, его часто путают!» И я ответил о Репей и, как это тоже со мной бывает, на ясном русском языке. «Ты говоришь по-русски?» — пискнули они разом: голоса тоненькие, птичьи. «Еще бы!» — «А ты не мосье Руло?» — «Не Руло, — говорю, а Ремизов, происхожу от птицы». И должно быть, на «птицу» они как чему-то обрадовались, так «пальчиками» что-то сделали. И я догадался, пригласил их чай пить: была у нас накануне одна кроткая дама — есть еще на свете кроткое сердце! — и принесла в подарок душистого чаю. И когда они вошли и скинули с себя не то плащи, — почтальоны в таких зимой щеголяют, — а не то попоны, один оказался голубым, другой — желтый: «Ламы из Тибета!» А когда я их провел в мою комнату, а в те поры у меня «висело», и первое, что им бросилось в глаза среди моего «дна Океана», были подвешенные на нитки рыбьи кости и, взглянув на рыбьи кости, они

еще больше оживились, что-то по-своему друг другу перешепнули, я разобрал: «китай». «Что, говорю, китай?» — «Да ты сам и есть китай!» — —

Окно нашей кухни выходило во двор — в окна кухни богатой квартиры. Когда по утру я чистил картошку, исполняя свою несложную поварскую работу, я наблюдал за поваром-китайцем, и заметил, что китаец с неменьшим любопытством смотрит на мою русскую работу и удивляется, потому что все у меня не то... В самом деле, какой же я китаец? И вот доказательство: настоящий китаец — это повар.

А на поверку вышло не так... или одним поваром доказательства не исчерпываются?

Вот уже два года я встречаюсь с редактором «La Nouvelle Revue Française» — Жан Поляном. Полян автор «Les fleurs de Tarbès» — слова о словах, о стиле, словом мое — моя любимая словесность и чего мне так не хватает среди русских.

Русские как-то ухитряются сохранять традицию словесного равнодушия, а вернее невежества. Пытливость к слову — а слово это тот матерьял, без которого писатель не бывает! — объявлялась и объявляется «штукарством», фокусничеством, ненужным и праздным делом. Мне вспоминается Пришвин: однажды пришел он к нам на Таврическую взволнованный, в бороде лапша, живописный зачес его над плешью встал гребнем, как в старину в искушениях изображались бесы, глаза вытаращены, как у кота, — я подумал, не беда ли стряслась с его любимой собакой, нет, про собаку ни слова, а был он в кругах С. Аф. Венгерова и там на него напали за слово «заворошка», будто такого и слова нет; помню, я его утешил: на меня там же и также напали, и это он хорошо помнит, за слово «неуемный».

В имени «Полян», чего Жан Полян никак не подозревает, заключается для меня особенный смысл: я не могу не думать — «поляне». И сейчас же продолжаю: «древляне» — и таким древлянином мне представляется секретарь Поляна

Брис Парэн, автор «Retour à la France»; мои встречи с ним так же часты, как с Поляном.

Ожидая в приемной, сколько я перевидал писателей французов: придет, буркнет телефонистке, и та, не переспрашивая, позвонит. Не то с мной: я стараюсь говорить свое имя громко и так раздельно, ожидающие непременно встрепенутся, а каждый раз она непременно переспросит, и тогда я пишу на бланке, и все-таки слышу, когда она телефонирует Поляну, ей чего-то не твердо и голос не тот. Думая облегчить, я сослался на Ларусс: буква «R» слово «remiz» — птица. А когда в следующий раз я сказал свою фамилию, она очень обрадовалась: «Fleur, сказала она, belle fleur!» — «Не fleur, поправил я, а oiseau». Но это все равно, «птица» ли, «цветок» ли — имя мое не поддавалось. А когда однажды, не дождавшись к «древлянам» я на листке написал Парэну письмо, и когда телефонистка взглянула на мои «письмена» — — я не утерпел и спросил, за кого она меня принимает? «Китай!» сказала она и, отложив письмо, взялась за телефонную трубку.

Был ли я на самом деле, в каком-то состоянии моего духа, в Китае, а может, я и не был китайцем, что подтверждает китаец-повар, но с чем никогда не согласятся мудрые тибетские ламы, а за ламами, голубым и желтым, непосредственный голос моих встреч — и эти мои каллиграфические китайские повадки! — а был всего только московским или суздальским странником по чудесному востоку, родине сказок, расшитых цветных ковров и шелка, мечетей, узорных кумирен и непревзойденной каллиграфии, и несу в этой жизни память из моего хождения за три моря? Есть какая-то красочная тайна — что руководит художником в выборе красок, почему у одного все блекло — серо-розовое, а у другого жаркие цвета; и не только по теме — навязчивые излюбленные мотивы, а и по звуко-цвет-словесному выражению узнаешь о человеке и догадываешься о его прошлом. Но что можно сказать о духовном родословии человека наверно? — ведь кроме бессознательных слепых влечений есть еще

и влияние, что называется «поддался!» Или «наверно» только и есть в этом тесном ограниченном неверном мире, по крайней мере для меня, появившегося на свет с моим зрением, и в который мир по «необходимости» — таков закон и какого-то другого мира! — меня втолкнули, как под гильотину, на какой-то человеческий век.

НИ НА КАКУЮ СТАТЬ

А еще в те времена, когда книга заменила мне мой потерянный чудесный мир и мне попалась «*Тысяча и одна ночь*» — ни одна из сказок так не тронула меня и до сих пор я о ней не могу забыть! — рассказ *десятой ночи*. «Про меня», так это сказалось во мне. Я видел себя братом, но ярче я чувствовал себя сестрой, покрытой изаром, надушенной духами и в драгоценностях. «Есть такие чувства, такое пламя чувств и беззаветность, думал я, перечитывая - переговаривая рассказ о преступной любви сестры и брата, да, стало быть, есть такое огненное чувство, ради которого — и единственное средство сохранить это чувство! — ты должен уйти из этого мира от его «нет»; и вот единственный выход: схорониться живым в могиле и там — сгореть!» Чувствуя себя сестрой и братом, я видел себя и рассказчиком, потом поплатившимся своим глазом, тем человеком, который по просьбе брата живьем замуровал его с его сестрою, — помню (так живо я это вижу!) как опустив плиту над могилой и завалив ее землею, а землю обделав камнем и камни скрепив цементом, я вдруг почувствовал, что охмелел и был, как пьяный. Брат с сестрою живыми ушли в могилу и там замурованные сгорели, и отец, проникнув к ним в могилу, проклиная сына, запустил в него, уже обуглившегося, свой башмак. Вот этим отцом я никогда себя не мог представить — ведь этот башмаком проклинающий отец — это мир! Мир, может быть, и даже наверно мудрый, предусмотрительный, но мне, моему сердцу и моей воле глубоко враждебный с его «нормой» — непререкаемым «да» и «нет».

Вся моя жизнь, как и первые ее годы бессознательно, шла сознательно наперекор. Всякий запрет, всякое «так полагается», всякая «установленная форма», всякий «контроль» я принимал с болью и, если подчинялся, всегда одна была мысль: рано или поздно нарушить и сделать по своему. Послушание мне было непонятно, а «смиренный» вызывал недоумение. Неспособных и тупиц я жалел, а над дураками мудровал. Я не курил не потому, что нельзя курить, а просто не было желания; я готовил уроки не потому, что так надо, я сам хотел учиться. И читал книги по какому-то своему выбору — я рано одолел и Толстого, и Достоевского — и не то, что рекомендовалось по моему возрасту. И когда я слышал «рано» и «не пойму», я пропускал мимо ушей, и если оказывалось, что замечание резонно, я не смущался, а искал средства овладеть неподступным.

Когда я задумал заниматься философией, как до того сидел над историей Китая, я обратился к единственному знакомому философу Н. А. Звереву. Профессор московского университета — история философии права — помощник, а затем ректор, черный, с головой, запутанной волосами, подслеповатый и в чем-то зверский, не то цыган, не то дьякон, он представлялся мне настоящим философом. Он был среди избранных гостей у Найденовых, в белый дом которых время от времени нас всех вызывали и с матерью из нашей бывшей красильни, и где с незапамятных лет я услышал имена: Погодин, Самарин, Киреевские, Хомяков, Страхов, Аксаков, Забелин; Зверев же считал себя последним славянофилом. На мой вопрос, что прочитать по философии, он указал на Шопенгауэра *Мир, как воля и представление*, в переводе Фета. А начав чтение, я почувствовал, что нахожусь, как в потьмах, не было для меня никакой связи, отдельные, а чаще и непонятные слова, ничего не понимаю. И когда я об этом сказал Звереву, он напомнил мне из предисловия Шопенгауэра о «божественном» Платоне и Канте, без знания которых нельзя приступать к чтению. И я взялся за *Пролегомены* Канта в переводе Владимира Соловьева, и

тогда темный «Мир, как воля и представление» выступил передо мной во всей своей ясности.

«Нет ничего, чего нельзя было бы одолеть!» — такой вывод сделал я тогда еще в первые годы моего чтения, в тринадцать лет, очутившись в незнакомом мне мире ясного зрения. Я еще не «грыз землю от лютости» и такое я видел у самоубийц, а со временем и это узнаю, но не у стены непрошибаемой, а от своего бессилья самому воздвигнуть такую стену.

Страсть к чтению не исключала моей рисовальной охоты. Но не меньше рисования мной всегда владело безотчетное влечение к зрелищу и театру.

Зрелища: крестные ходы, пожары, уличная драка и случайный утопленник на Яузе. А театр — единственное, что я видел в раннем детстве: *Конек-Горбунок* и *Волшебные пилюли* — в Большом театре, и Макбет — в Малом. Но и этого было довольно, чтобы заиграть самому.

И почему-то — или боялись, что подожжем, другого объяснения не придумаю — наш домашний театр попал в индекс вместе с игрою в бабки (проломить голову свинчаткой неудивительно!) и торчанием в фабричных корпусах (наслушаться всяких историй немудрено!). И так как это было запрещено, оно особенно и привлекало — история обыкновенная и ведет начало не от «первородного греха», как это пишется, а от исконной человеческой воли и отвращения перед всяким рабством. Найденовские фабричные были на нашей стороне, и театр из наворованных досок, сооружался в самом скрытном уголке бесконечного Найденовского двора.

Не всегда сходило с рук, бывали случаи беспощадного истребления в разгар работы, но еще хуже, когда театр прекращался во время представления. Разыгрывались водевили, сцены Лейкина и неизвестных авторов. Найденовский конторщик Башкиров, сам не раз выступавший в любительских дачных спектаклях в Богородском, доставал нам пьесы и делал указания.

Я играл женские роли. И это как-то повелось. Мы росли, как в монастыре; наш круг — гимназические товарищи, и никаких сестер, ни их подруг. Играть женские роли мне было легко, я не насиловал моего голоса и не ломался. И до сих пор при выборе чтения — мне свободнее передать интонацию женской души — я читаю Лукерью «Живых мощей» Тургенева, «Питомку» Слепцова, Анну Каренину Толстого, «Воительницу» и «Полунощников» Лескова. И когда я сам стал писать для театра, Ункрада в моей «Трагедии о Иуде» зазвучала для меня — под голос В. Ф. Коммиссаржевской.

Кроме меня, на женских ролях был мой товарищ Саша Кудрин. Ни в кому так не шло женское платье. Но при всей женственности выдавал голос: ему надо было давать как можно меньше слов; в живых картинах он был бы незаменим. Потом, когда я служил у Мейерхольда на должности «театрального настройщика» или точнее «наводчика», сколько прошло передо мной вот этого несоответствия среди актеров. Да и среди чтецов, деревянность, обыкновенно незамечаемая самими чтецами, убивает все содержание: чтение О. К. Сологуба действовало, как снотворное, лишь только он раскрывал трехзубый рот.

Исполняя женские роли в нашем театре, я имел еще одну обязанность: я всех гримировал. Средства были незамысловатые: жженая пробка, печная сажа и малярная краска. Вот уж где моя любовь к краскам показала себя во всей своей буре! А так как никакого другого «смывательного» средства, кроме воды, не было, все мы и после театра надолго сохраняли на себе свои живописные личины. И, пока сама собой не сходила едкая краска, трудно было узнать себя в зеркале.

В гриме мы отправлялись к поздней обедне в Андрониев монастырь. Я убежден, не монахи — какой же городской монах верил в бесовские козни! но богомолки - странницы, обходившие московские святыни и зашедшие в древнейший

из монастырей, памятник Андрея Рублева и место заточения протопопа Аввакума, принимали нас за «демонское мечтание».

После всенощной под летний Сергиев день, а накануне был наш театр, я помню, как одна древняя старушонка, выходившая из монастыря, приостановилась, пропуская вперед нашу ораву «муринов» и шепча на отгнание бесов, истово крестила наш воздушный темный путь. Но к явному смущению ее мы не пропадали. И тогда она закрыла глаза рукой и замерла — отойдя на шаг «василиска», перед спуском к Яузе, я обернулся: из-за белой колокольни выплывал летний теплый месяц, старушонка стояла, не шевелясь, как камушек. И вот луна ли облила меня своим волшебством или нестираемая краска — моя гримерная работа! — была так неотразима; луна ли отвела ее руку от глаз или ее вера в расточение нечистой силы, она, раскрыв глаза, — затрясла головой и, по-птичьи взмахнув руками, упала ничком на блестевший зеленый камень.

Состав зрителей нашего театра: Найденовские фабричные, пололки с Всехсвятского огорода и монахи Андрониева монастыря. Редким и самым желанным для нас зрителем был учитель чистописания Московской четвертой гимназии Александр Родионович Артемьев — «Вий», отличивший меня, однажды, из всех за мои каллиграфические завитки, и теперь выделявший меня, как актера, но о моем гриме — моей гордости! — как то заметивший: «ни на какую стать».

С давних пор А. Р. Артемьев бывал у нас в гостях и всегда летом. Как и мы, ни на какую дачу он не уезжал из Москвы. Он был единственный из прошлого моей матери. Мать когда-то участвовала в кружке: это был один из первых кружков «нигилистов» — очень похоже на описанное у Лескова в *Некуда;* как и у Лескова, был доктор, художник, потом я узнал фамилию: Бодаревский, и товарищ его — Артемьев; и деятельность их связана с подмосковным Богородским. Имя Слепцова, основателя первой «Знаменской коммуны», я слышал с детства.

И когда приходил А. Р. Артемьев, за чаем он с матерью вспоминали. Память о именах и происшествиях, канувших золотых днях молодости, оживляли его, и «вийная» угрюмость, лежавшая на нем на уроках чистописания, пропадала: это был совсем другой человек. О своей семейной жизни он никогда не рассказывал. Его сын — одноклассник с моим братом, но с нами не водился: или потому, что жили они где-то на Смоленском рынке, а от нас — и в ночь не доберешься. Засиживался Александр Родионович до глубокой ночи. На прощанье он читал стихи Некрасова и непременно: *Что так жадно глядишь на дорогу*... И потом мы шли его провожать.

В серой крылатке и широкополой шляпе он медленно подвигался, став снова угрюмым «Вием». Наш путь бульварами: с Чистых Прудов до Смоленского. Все пивные заперты. Со Сретенского свертываем на Сретенку. Шаг прибавляется. Но и тут последняя запоздавшая пивная под-носом закрылась. Ничего не остается: взблеснув очками у фонаря, как при росчерке, «Вий» намечает не очень дорогое в переулке. И мы попадаем в музыку. Тесно — разгар съезда. Он спрашивает себе бутылку пива. И не потому, что цена неподступная и каждый глоток деньги, а жажда: утолив, он медлит. На нас не обращают внимания, все заняты гостями. Но эта музыка и горячий воздух! И под музыку я вижу, как рыжие усы его шевелятся: «Что так жадно глядишь на дорогу в стороне от веселых подруг...».

Я не пропускал у Корша ни одного воскресного спектакля. Зайцем исхитрялся я проскочить контроль и хоть не к началу, а непременно попадал в театр: я пересмотрел всего Островского. В Малом театре дороже, но зайцева наука — теперь я даже не могу и вообразить себе, но тогда — и все, что давалось классического: Мольер, Шиллер, Шекспир, я все видел и не раз и в каком исполнении — Федотова, Ермолова, Ленский, Правдин, Садовские. И это укрепило во мне мое природное произношение — ясную русскую речь, перенятую от кормилицы, няньки, Найденовских фабричных, Всехсвятских огородов, Андрониева монастыря и московских

улиц. И когда уж в Петербурге я очутился в литературных кругах, меня поразила и бедность словаря и неправильность речи. И это обернулось против меня.

Как часто судят о человеке и говорят, что плох, но не потому, чтобы был он на самом деле плох, а потому что сами мы не высоких качеств; а повторяемое, как отзыв, «непонятно» — но не потому чтобы мысль, сказанная словами, выражалась неясно, а потому что круг нашего понимания ограничен и в ушах шалит; и тоже о слове: «просвещенные» среди петербургских литераторов, а за ними провинциальные «труженики пера» доказывали мне лично и обращаясь к «читателю», что я пишу не по-русски или коверкаю природную русскую речь — не верите? Но это так.

Единственный раз я выступал с настоящими актерами, и случилась эта история в пензенском Народном театре. Саратовский трагик Сергей Семеныч Расадов, он же режиссер, по своему опытному глазу определил меня на «характерные» и дал мне для начала небольшую роль «падшего», а по современному «бывшего». Модели мне не надо было разыскивать: среди моих школьных товарищей были и такие, оканчивавшие свою проклятую жизнь на Хитровке, и с которыми я сохранял связь до моего последнего московского дня, да и другие невеселые встречи, которыми наделила меня судьба с детства. На репетициях все шло гладко и в «Капернауме». прохлаждаясь пивом, Сергей Семеныч со мной разговаривал. Но когда начался спектакль и, сняв очки, я в своем гриме очутился на сцене, я всех смешал и у меня все смешалось и я перепутал все слова —остервенев, суфлер выскочил из будки, а я вместо двери полез в бутафорское зеркало и опрокинул кулису.

МУЗЫКАНТ

Родился ли я с песней — нет, это не музыкальный ящик! Иду ли по улице или сижу дома один, вдруг — как из распахнувшихся окон — слышу: поет; оно поет, как отдаленный голос: песней он выбивается из глуби и льется тонко ливом. Но кто не чувствовал в себе это песенное, скрытое, о чем никак не узнать по лицу человека? И в молчаливом мэтро, пусть через грохот, а можно было бы подслушать и арию и хор.

Но то, о чем храню память, а осталось — какие-то крохи, как отблеск, это — мое, только у меня, да наверно есть и бывало у каких-то еще «уродов»: пелось не только во мне, а и вокруг — от звезды до камня; весь мир, живой и мертвый, пронизан был звуком: там, где был свет и цвело, там звенело. Долго я не мог оценить всю бессмысленность загадки: «...зеленое и поет» — да как же иначе, раз зеленое, значит, поет и не может не петь!

Ничего так не любил я, как ветер; я заслушивался его воем — его хаотическая песня была мне, как музыка: серый — зеленая рожица — он примащивался в теплой трубе и, сидя на корточках (одна нога куриная, другая утиная), выл, ничего не видя, ничего не желая знать, выл и, перевыв, срывался и улетал на «водопой»; я слушал, боясь шевельнуться: вернется... если бы вернулся! В бурную ночь на океане, наконец-то дождавшись, я прислушиваясь и с тем же трепетом к гудущим голосам; в их музыке тоже безразличие, ничего не слыша, ничего не желая знать, гудут, но они не серые, как московский домашний ветер, цвет их — цвет ореха, их целый оркестр, и в нарастающем перебойно-извилистом чугунном взливе они окрашиваются алым — сок зе-

леных фиг. Бурная музыка не проходит бесследно: морю она принесет безмятежность, но выдержать нечеловечески-гудущие подъемы мне так же трудно, как глазам излучающееся безмятежно-лучистое море; я знаю, крот в своей норке, живя, как и я, жуткою жизнью, не спит, слушает в такие ночи, ну, а потом медвежьей своей лапкой жалуется на сердце.

С пяти лет я вступил в круг церковных служб: в субботу в шесть часов вечера ко всенощной; в шесть утра в воскресенье к ранней обедне. Я пел на клиросе. И все мои братья. И с нами псаломщик Петр Егорыч Инихов с «перерезанным горлом»: в его взбученных глазах и финиковом лице, как окаменело, отчаяние; говорили, что у него был редкий баритон, но после «случая», почему он и очутился в нашем бедном приходе, трудно было удержаться от смеха — и досада и жалко. А управлял хором дьячок Николай Петрович Невоструев: ходил он в подряснике, белая борода веером, плешь пророческая, а голос Берендея из «Снегурочки» — усердные старухи подходили к нему под благословение, как к священнику; не прерывая пения, для крепости и чистоты голоса, он изловчался внюхнуть в обе ноздри и отряхнуться — ссыпавшийся табак падал на псаломщика. А пел он по «крюкам».

За два года, не пропуская ни одной службы, я обвык петь «*обиход*» — на восемь гласов, но особенно отличался в *знаменных* «*догматиках*». В детстве я никогда не плакал, а кричал, за что и получил прозвище «орало мученик», так, должно быть, я наорал себе альт. Альтом я и пел — наука Николая Петровича Невоструева — «*В чернем мори неискусобрачныя невесты образ написася иногда: тамо Моисей разделитель воды...*» Очень я любил эти песнопения: любил и сам петь и слушать, как пели нерушимо и крепко державшие веру в «старое пение». На Великом посту с братом мы выходили на амвон: «*Да исправится молитва моя*», *а в* Страстную неделю: «*Чертог твой*». Каждое слово мне, как полная чаша, но голос никогда не изменял мне: такие быва-

ют только у мальчишек — альты: они как горные ручьи, зеркало неба, в них тихо проходят облака, а ночью сеются звезды, не дрогнув.

Но из всех песнопений по какому-то напеву, меня особенно трогало «*величание*»: в хоре я слышал свой голос — что я тогда понимал? Но я ужасно чувствовал с самой первой памяти какую-то совесть жизни, какой-то стыд за свою жизнь, за то, что одет, что вернусь из церкви домой, буду чай пить и лягу спать в тепле, — не за себя, только сердце было мое и мой голос, я пел за все человеческое горе, за брошенных, усталых и обреченных, за человеческую беду и бедствия, за это безответное за что? за что? за что? — наша жизнь проходила на фабричном дворе, рано я заметил, как тесно жили люди, рано услышал жалобу и уж много видел несправедливости, злого равнодушия и злобы; мой голос подымался из пучины — «*величаем тя...*» и в ответ я видел, как старик священник Алексей Димитриевич Можайский, кадя, вдруг останавливался, и в голубом тонком облаке ладана глаза его наливались слезами.

Как пел Самойловский маляр, с растяжкой тонко — золотой воздушный Матвей, как мне забыть! И еще два голоса легли в мою память: цыганский и ямщицкий

Двоюродный брат моей матери, Николай Николаевич Дерягин, московский нотариус, студентом, ровестник матери, участвовал с ней в Богородском кружке первых «нигилистов»; в нем было что-то и от А. Р. Артемьева-«Вия» и от Н. А. Зверева-«философа»: волосяная запутанность и настороженная мрачность; бывал он у нас очень редко и за чаем, как и «Вий, вспоминал с матерью незапамятное, для нас загадочное, из своей молодости; мне запомнились названия опер, которые они вместе слушали и имена итальянских певцов. Он женат был на цыганке Елене Корнеевне.

С жадностью я слушал, как она пела — лад ее песен, ее звучащую дикую душу и огонь ее «горикого сердыца» через много лет, когда и в моей жизни открылось незапамятное, я встретил в цыганской рапсодии Сельвинского и

вспомнил до мелочей какой-то зимний вечер, встрепенувшиеся глаза и при первом звуке как упавшие стены комнаты вдруг открывшийся простор — охваченный зноем пересохшими губами повторял я о какой-то загубленности и вековечной муу-уке: «*на западе полымя буланною падалицей полями да долами метелица прядается....*»

А еще приходил к нам в дом наш дальний родственник, студент Епишкин. Епишкины — московские ямщики, из рода в род ямщики, вот уж дед никогда, чай, не думал, что внук не с павлиньим пером, а с голубым околышем на своих - на - двоих пойдет мерять московские кривоколены. Писемский в «Взбаламученном море» вспоминает свою встречу в московском биллиарде — когда я читал: да это Коля Епишкин! — подобрав высоко грудь пел он чистым тенором: в его песнях бесконечная русская дорога, удаль и русское «*ску-шно*», использованное Толстым во «Власти тьмы».

Эти голоса, в незапамятном опевшие меня, канули, но когда я читаю вслух, вдруг я слышу и строгий *знаменный* «*догматик*», и горькое из пучины «величание», и уводящую тоску маляра, и зной цыганки, и раздолье, и омут ямщика.

Я любил петь, люблю пение, но сам я, мечтая, никогда не собирался в певцы, я знал, что мой альт не долговечен; я мечтал сделаться музыкантом.

Все у нас в доме играли на рояли: мать и мои братья. И только один я из всех — я и пробовал, но по моей близорукости, о которой не догадывался, я не разбирал нот и путал клавиши. А один из братьев, кроме рояля, учился на кларнете. Неужто вы думаете, что я был равнодушен?

В воскресенье между обеднями мы отправлялись на Трубу — по «воровскому делу»: распродав голубей — а они, приученные, непременно назад к нам возвращались! — и с деньгами и с «голубями» мы шли на Сухаревку честно смотреть книги. И однажды среди книг я увидел и глазам не поверил: никкелированный карнетапистон. «Двугривенный», сказал продавец. Но я не отзывался. «Труба, объяснил про-

давец, двугривенный с футляром». Не торгуясь, я вынул мои голубиные деньги — свою воровскую долю; уложили мы трубу в футляр: какой богатый футляр!

Пока я донес ее до дому, сколько прошло у меня мыслей: наконец-то! я сделаюсь музыкантом! что же такого, и на контрабасе играют! Я уж слышал медь — моя никкелированная под серебро труба играла.

Мой учитель — учитель музыки Александр Александрович Скворцов: брата моего учил на кларнете, меня на трубе. Он хвалил футляр, но подозрительно оглядывал трубу. Труба была как труба, но был в ней секрет: ни с того, ни с сего вылетал из нее странный звук; этот звук вроде птички — по-французски имя ее звучнее, по-русски только цвет: куропатка. И на самой вдохновенной ноте эта куропатка возьмет и выскочит. Я привык, но Александр Александрович всегда конфузился. И что-что ни делали: и продували, и развинчивали, наконец, переменили мундштук, и лежит она в футляре ничего, а возьмешь к губам, так и жди беды.

С Александром Александровичем познакомил нас его брат гимназист. Какие только значатся физические недостатки, все упало на учителя музыки и только голова и его руки — «рахманиновские» пощажены: ему способнее было ползать, чем ходить. Жил он в одном из переулков на Сретенке, днем дома и только на ночь, спустившись со своей верхотуры, пробирался он с палочкой, держась панели и как-то поддерживаясь о косяки своим горбом, — дорога в соседний переулок: там в одном из ночных заведений он играл на рояли: тапёр.

Нас учил он бесплатно. Кого мне вспомнить, кто бы так радовался, когда вечером, еще засветло, я приходил к нему с моей трубой. Редко в ком видел я столько благожелательства, и такое целомудрие и чистота! — и никакой злобы, никакой злой памяти, стопудовой обузы — цепей на человеческой душе. В тот год я «прозрел» — носил очки и читал книги. И много я с ним разговаривал — он говорил, я слушал — и вот уж ничего от Лизы Хохлаковой «Братьев

Карамазовых», вот кому, в его-то несчастье и обездоленности никогда, и невозможна хотя бы тень ее мысли: «я иногда думаю, что я сама распяла; он висит и стонет, а я сяду против него и буду ананасный компот есть»...

За лето, упражняясь на трубе, я научился «*Не шей ты мне, матушка, красный сарафан*», но «*Соловья*», — как ни бились, не могли унять птичку: встревается и вся тут. А очень мне хотелось «Соловья»: по четвергам на Тверском бульваре музыка, капельмейстер Крейнбриг в заключение на своем серебряном карнетапистоне всегда его играет.

С осени пошли уроки, не было времени ходить на Сретенку, но трубу я не оставлял: сделаться музыкантом для меня было такою же страстью, как мое рисование.

По первому снегу — снег в Москве на Михайлов день — приехал к нам в гости Н. Н. Дерягин. Из разговоров узнав, что все мы на чем-нибудь играем, пригласил нас к себе: у него собираются — музыкальные вечера — и все его дочери играют и настоящие музыканты; и Коля Епишкин — поют.

И вот в какой-то вечер, обдернув свои серые куртки, сшитые на рост и от роста отставшие, потащились мы в метель из Сыромятников в Петровские линии: брат с кларнетом, а я с футляром: труба. И должно быть, опоздали, никого не знаем, один Епишкин. Настраивали инструменты, пахло цветами.

Дирижер — А. А. Эйхенвальд, он указал мне место с карнетистом. И началась музыка. Что играли, я не знаю, я муслил себе губы. И поймав глазами палочку дирижера, дунул еще раз — и слышал соседа, как себя, и вдруг из моей трубы птичка — у Стравинского в «Священной весне» вылетает и покрепче, кряча, но в те времена, чайковские, такого «безобразия» не полагалось, дурак Епишкин не удержался и прыскнул, а за ним и другие.

Пропасть или проснуться! Но я не пропадал и сон продолжался. Эйхенвальд, прихрамывая под хохот, махал ру-

ками, и мне казалось, что он выбьет меня с моей трубой, но я ее держал крепко. Мне все хотелось объяснить, что «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан»... — студент с блестящими глазами, потом я узнал фамилию: Петр Маркович Костанов, осторожно взял из моих рук трубу и уложил ее в футляр; но это было после перерыва и уж в другой комнате, когда началась новая музыка — второе отделение, и я сидел один в дыму — очень накурили. Бас из Большого театра Трезвинский пел Руслана — звенели окна и люстры.

ПАРИКМАХЕР

Пишу, как читаю синодик: имена огорченных мною — не по умыслу и злой воле, а по моей страсти: необуянно-рвущаяся сила, но она всегда бездумна и безответственна.

Близь церкви Ильи Пророка в Введенском переулке около Прохоровых, Швецовых и Морозовых, парикмахерская. Стал ее помнить, как Ильинские крестные ходы в Ильин день, единственная на все Воронцово поле. В окнах пышные парики и граненые флаконы — духи и элексиры; к Святкам и Масленице смешные и страшные маски, и носы: носы, как колбаса, есть со щелками-глазами, а то без глаз — наставной, он и есть самый дубастый; хозяин — его все знают и в Сыромятниках и на Землянке: Павел Александрович Воробьев. Имея дело с самыми разнообразными волосами, мастеря головоломные прически, сам он не имел части: на его голову ему не пало щекочущего волосяного осколка, ни льнущего нежного пушка, ни невыпаливаемого и жаркой лучинкой гвоздяного черного птичьего пёнушка — блестящий блеском бритвенного таза точеный череп — шлем Мембрана! От пахучей ли едкой помады выпали все они до волоска, как выелось и сгладилось, или сговорившись, приманенные клейким брильянтином, ушли в бороду — Прудон! И музыкант. Разнообразнее ножничной музыки я не слыхивал: играл он ножницами и на отлете, целясь в голову, и, нацелив, в схват на голове. Стрижка долгая: с час ждали очереди, но этот час и без всяких юмористических Осколков, Будильника и Стрекозы проходил незаметно — стрекот и перелив ножниц, цыруль стали, искрящийся чёс и шелесть ко-

ротают час; минуты бежали не по-минутному, без удержа и ввзрыв.

Сколько раз я просил остричь меня «под-польку» или «ежик», а по-другому «бобрик» или, как говорилось в революцию, «под Керенского», Павел Александрович не возражал, но как на грех, на каком-то особенно певучем перебое, ножницы, перемахнув, захватывали глубже — «под гребенку». Мне было очень горько. Гладя по голой голове, я терял все слова и уж татарченком уходил из парикмахерской, не прощаясь — Павел Александрович мне вслед улыбался, как певцы и музыканты после удачно исполненной игры — «улыбаются».

Потом уж я понял, что Воробьев вовсе не «злой», вовсе не «нарочно»; и как мне было не понять: да просто он не мог оторваться от музыки, остановить ножниц, и все шло не так, как думалось, а как выходило. Следить за его рукой — в зеркало мне ничего не видно или такое видно... весь я обращался в слух: над моей головой летали сухие смычки, свистели мышами флейты, клякали, как политые до-сыта кларнеты.

Сделаться парикмахером стало моей мечтой. И она не заслоняла, не гасила мою рисовально - каллиграфическую страсть, ни мое театрально-певческое пристрастие, эта мечта музыканта, в каком виде или как, лишь бы выразить свою музыкальную душу.

На Найденовском дворе славились две цепные собаки: Трезор и Полкан — их конурка за машинным отделением фабрики, всегда ярко освещенным и сухо шумящим колесами и ремнями; псы неистовствовали ночь, гремя и лая, — и все их боялись. На Найденовском дворе бегали три беленьких собачонки, неотлучные возле белого хозяйского дома — где находилась их конурка, никто не любопытствовал; они нападали сзади и очень больно кусались, — их никто не любил. А на другом конце к Сыромятникам около фабричных спален и бывшей красильни — на «нашем» дворе ходил, как сторож, смирный Мальчик — лаял он в какие-то

положенные часы «приятным» баритоном и никого никогда не кусал; с ним в одной конурке — конурка у курятника жила Белка; Белка, положа острую мордочку на вытянутые лапы, день-деньской лежала, она и не глядела, но на посторонний шорох, схватясь, камнем с лаем бросалась под ноги. И еще была, тоже дворняжка, а звали ее Шавкой: шерсть висела на Шавке клоками, и только черные добрые глаза живо глядели из под «овчины»; на нее никто не обращал внимания и даже не знали, кто она на самом деле: в собачьих свадьбах не принимала участия и детей у нее никогда не было, да она и не лаяла.

В покинутые минуты жизни вспоминалась Шавка, я ей завидовал, ее незаметной доле, ее безропотному терпению, ее кротости, ее доброму молчаливому привету из под безобразных овчин... но это потом, а тогда — эта Шавка была первой, на ком я попробовал мое парикмахерское искусство — науку Павла Александровича Воробьева: ножничную музыку.

Я решил остричь Шавку «под пуделя». Шавка не сопротивлялась: Шавка покорно лежала под ножницами — в ее жизни никто ее не гладил, а я все-таки выстригу островок в ее запутанной волне и легонько поглажу, или моя музыка чаровала ее? «Пуделя», конечно, я не сумел сделать, но кое какое неподобие, и очень смешно — и вдруг все заметили Шавку, и много было смеху. А сама Шавка никакого неудовольствия не выказывала, попрежнему и «пуделем» ее черные добрые глаза живо глядели из под овчины; головы и шеи, как полагается пуделю, я не трогал, а также и на хвосте кисточку оставил, мухам где садиться, и мух гонять.

Теплое было время, фабричные на ночь на дворе спать устраивались, а после Ильина дня свежо становится, особенно под утро, и на дворе не больно разляжешься, земля не та, камни сырые, воздух колет. Шавка это очень почувствовала, не может «пуделем» согреться, в конурку забилась, а все ей холодно; у плотницкой свалены были свежие струж-

ки, она из конурки да в эти стружки — зарылась, но и теплые стружки не греют! — не может согреться...

Мы поднялись около двух: всю неделю с Преображенья всякую ночь мы отправляемся из Сыромятников в Кремль в ночной крестный ход. Налегке я выскочил первый и сразу почувствовал, что на воле свежо. Была чистая августовская ночь, все небо сияло — крылатые осенние звезды! И вдруг я услышал: лает — но как странно: лает, как поет. Тут вышли и мои братья, и тоже: свежо и лает. И этот голос... так не лаял ни Трезор, ни Полкан, громыхая цепями, ни те никем не любимые беленькие собачонки, ни наш Мальчик, ни Белка — да это Шавка? Лаяла Шавка. И всю дорогу до Кремля и в Кремле всю службу под «столповой» распев я думал — я понял: доверчиво глядели на меня добрые черные глаза — и этот странный голос... В Бесприданнице Островского, когда в первый раз я услышал Коммиссаржевскую, ее итальянское «Он говорил мне» — вот в этом «но не любил он», — как она пела, «но не любил он», — в этом «озябшем» сердце без надежды найти тепло, в этой горечи безответного я узнал этот голос.

Шавка — Божья тварь, и скажу: развязка — как с людьми такого не бывает. К общему нашему счастью, за все горькие ночи уже на Казанскую, Шавка такими обросла лохмами — у меня рука легкая! — ходит, как две шавки, на зиму теплая шуба! И потом мы сделались большими приятелями: она все забыла, без зова она подбегала ко мне, доверчиво глядели на меня черные добрые живые глаза... конечно, забыла, но разве я мог, разве могу я позабыть?

Послушник Андрониева монастыря Миша — Миша приехал из Ельца с мечтою о иноческой жизни. Очутившись в монастырском «вертепе», затосковал: монастырский обиход — неписанный устав сбил его с толку; разве что-нибудь подобное думал он встретить, стремясь в Москву? Иеромонах Никита, приютивший его у себя келейником, запойный, но мудрый, дал ему послушание ходить к нам: мы были, как свои, в Андрониеве монастыре, все монахи нас знали. Так

появился у нас, в нашей бывшей красильне в ее красках, музыке, театре, хоре и книгах бескнижный, но с упрямой мечтой послушник Миша.

Сначала он приходил к нам по воскресеньям после вечерни. Он нам очень понравился — это было так необыкновенно в нашем озорном круге — и за свое неподдельное смирение: ничего напускного, никакого лукавства, а что на душе, то и есть, или молчит. И ему у нас хорошо было. И стал он приходить чаще. А потом, с согласия матери, о. Никита отпустил его жить с нами.

Миша старше нас, но мы знали больше, и началось ученье. Нелегко ему давалось. Миша прилежно занимался, и все время его было занято: он ходил, не пропуская ни одной службы, в монастырь, а из монастыря к нам, как в свою келью. Живя у нас, он больше не тосковал.

Замечательны у Миши волосы: сами вьются — тонкая волна, погладить — заласкает. Летом от волос горячо и особенно ночью беспокойно: сны. Не волосы ткут эти жуткие призраки, но их тонкий горячий покров вызывает древнюю память — уводит в такие глухие дебри: сердце горит и стынет. Надо обязательно подстричься. Вот я и взялся — «сзади немножко; спереди не трону». Миша поверил. Покорно нагнул он голову, а я сзади с ножницами, — сам Павел Александрович Воробьев! И началось. Свалявшиеся шавкины лохмы ножницы кусали, а Мишину нежную тонину они резали: пряди ложились травой, и мне чудилось «полевое», цветы — моя цветная шелковая музыка шелестела. Я не замечал, как шли минуты, а прошел час; и окончив, ничего не заметил, а Мише сзади не видно. Ночь он провел спокойно — никаких искушений.

На утро за ранней обедней, нарядный, в серебряном стихаре, Миша вышел с большой свечей и стал на амвоне лицом к раскрытым царским вратам — и кто ни был в церкви, всем видно, так со смеху и покатились. «Лествица Иаковлева!», припечатал монастырский эконом Димитрий, знаток различных сортов рыбной пищи: с шеи до маковки на

голове у Миши видимо всем подымались ступени, воображением уходя в небеса. Мише показали в зеркале его затылок, но ему было не до смеху. Скрыть безобразие могла только островерхая скуфейка: на «Страшном суде» в таких колпаках среди обреченных народов рисуют печенегов.

А от этой печенежской скуфейки голова Миши горела, как до стрижки, нет, больше: бархат ли оказался теплее волос, или июль, азиатское московское время, и уж не беспокойный сон, а просто Миша лишился сна, места не находил он себе от неутолимой палы, как, должно быть, Шавка пудель осенним утренником от трясучей стужи. И я схватился: «я постараюсь сгладить, подровняю!», и Миша готов был снова сесть под мои ножницы и в то же время боялся, не вышло бы хуже. «Подрастет, выровняется!», утешал о. Никита и ссылался на иеродьякона Василия: был Василий, как баба. «А как помер, и на глазах у всех у покойника выросла борода... так, небольших размеров!», облизывая языком обожженные перцовкой губы, потягивал о. Никита свою козлову бородку небольших размеров. А, между тем, «лествица Иакова», чудесным образом вообразившаяся на голове послушника, подняла всю Рогожскую и Таганку: «чудо в Андрониеве монастыре» собирало всякую службу любопытных, приезжали и из провинции: Мишу «смотрели».

Образ «небесной лествицы» возбуждал чудесные чаяния: Мишу не только смотрели, а как смотрели! и старались дотронутся до него. Ризница Андрониева монастыря богатая, древние облачения — царский дар и шитье московских царевен: всякую службу Мишу наряжали, как в праздник; торжественно он появлялся с большою свечей на амвоне то в жемчугами унизанном алом, то в голубом, расшитом серебряными звездами, то в малиновом с накладным золотом трав, листьев и винограда; лиловая остроконечная печенежская шапка скрывала «лествицу», но оттого казалось еще таинственнее: «лествица была под спудом!». От бессонных ночей воспаленные глаза его сверкали волчьим огоньком; тяжелая парча, давя плечи, то резко красила его лицо, то,

не оставляя ни одной кровинки, густо мелила; до зелени-белый, стучал он зубами. Не было скрыти — всегда на виду, на глазах и сквозь любопытное и молитвенное разглядывание неизменно насмешки. Принять подвиг чудища, хотя бы и чудотворного, на такое не было сил, а на Никитино «подрастет и выровняется» не оказалось терпения. Как последнее средство, я предлагал настой на ореховой скорлупе: об этом верном средстве для рощения волос я слышал и запомнил, не подозревая никакого коварства. Миша на скорлупу не поддался — к своему счастью, а то быть бы ему, как Павел Александрович — голый, блестящий череп, шлем Мембрана! — а чего доброго вылезли бы и его густые брови.

Со стиснутыми зубами гладил он себя по затылку снизу вверх и сверху вниз, — ощупывал «лествицу», а в его ответах или тоже если что спросит — самые обыкновенные слова были огорчены и в горечи приметно упрек и озлобление. Шавка — Божья тварь: что она может в своем последнем отчаянии? — и вот ни разу не лаявшая, она вдруг залаяла, и этот из отчаяния вышедший лай был, как голос человека, но Миша — человек... Спасло его от отчаяния — очень просто: привычка — привыкли и к «чудотворному» Мише и понемногу перестали замечать, а потом забыли. Но разве он мог забыть? И кто эти — человек может забыть?

Сквозь движущуюся мглу — ладанный столп вижу: зеленый парчевой стихарь с белыми крестами, горящую свечу, зеленые злые глаза —— зеленые с выблескивающим волчьим огоньком и под окутывающий облак песнопений «честнейшую херувим», от которых и самое закоренелое, черствое сердце, как расколотое, льется, сияя.

НОЖНИЦЫ

«Когда ты прекратишь свои безобразия? Вспомнишь: никто тебя не будет любить, и у тебя будет много врагов!», как-то сказала мне мать. Она вообще мало обращала на нас внимания — я понимаю, ей надо было свое изжить! — но в последнее время дня не проходило, чтобы кто-нибудь на меня не пожаловался. Кроме «ножниц» — моего парикмахерского искусства, всегда оканчивавшегося скандалом, я досаждал и другими затеями, по своему нисколько не уступавшими «ножницам».

Из последних моих безобразий — и с чем я никак не мог помириться: «безобразие»! — у всех было в памяти: освобождение птиц на Благовещение. После ранней обедни я выпустил на волю птиц у нашего соседа, найденовского приказчика Ивана Степановича Башкирова: и до чего вышло все странно и для меня неожиданно — те из птиц, что вылетели в форточку, все до одной погибли — мороз! — а вернувшиеся с воли в комнату так чирикали в клетках, словно бы в рай попали, вот тебе и освобождение! Но Иван-то Степаныч огорчен был вовсе не «птичьим безобразием», а моими «ножницами».

«Не будут любить!» — и мне вспоминались те беленькие собачонки: они кусали сзади за ноги и их никто не любил; но что было общего у меня с этими нелюбимыми собачонками, разве я скрывался или что такое делал я исподтишка? выпустил на волю птиц... но мог ли я думать, что птицы погибнут или так обрадуются неволе, словно бы наша

воля для них самих и есть душная клетка; а мое парикмахерство — ножничная музыка, да ее слушать — не переслушаешь! Я еще не понимал, что любовь и только любовь побеждает всякую страсть и даже такую — «ножничную», я не думал, что с любовью связано и неразрывно «одумыванье», и что если бы я любил... А что до «врагов» — «будет много врагов», но это предостережение меня нисколько не тронуло, я и тогда знал, что только человеческая мля и духовная хиль — эти вот розовенькие, ко всему равнодушные, у этих нет и не может быть врагов.

Мои безобразия, или, как называли потерпевшие: «ножницы», и совсем незаметно для меня кончились. Все взяла книга, рано сгорбившая меня, ей я и отдал всю мою страсть. Да просто времени не хватало заниматься еще и «безобразиями». Но что я заметил: в самой природе вещей скрыто «безобразие», и это уж не «ножницы», а прямо сказать скандал.

За книгой, оставив ножницы — парикмахерством я больше не занимался — я сохранил любопытство или, что тоже, страсть к скандалам. Я как-то вдруг схватился и сказал себе, что мне всегда скучно, если все идет «порядочно»; и потом скажу: природные «безобразия», независящие от человеческой воли и никогда не намеренные, не раз выводили меня своим юмором из пропастей и отчаяния. Отсюда моя любовь к Гоголю и вообще к неожиданным происшествиям, где непременно и смех и слезы, отсюда и мое не «по себе» с людьми безулыбными, расчетливыми и вообще сурьёзными. Окружив себя книгами, я скрылся за ними, стало меня не слыхать, и жалобы на мои безобразия прекратились. И о моей ножничной парикмахерской страсти забыли. Я еще вспоминал и Шавку, в отчаянии заговорившую по-человечески, и послушника Мишу, в отчаянии готового было наложить на себя руки, и другие имена из моего синодика, имена тех поверивших мне, на ком отводил я свою музыкальную душу, но новых грехов за мной не водилось, и понемногу все сгладилось и сам я забыл о ножницах.

В Устьсысольске, куда привела меня судьба: открыла мне волшебный мир и показала мою долю, никаких парикмахерских не было, да и слова такого «парикмахер», как слова «яблоко», в обиходе не обращалось. Яблоки привозили из Вологды, а стриг городовой Максимчук. Волоса у всех были запущены — сам Печорский лес! А этот лес — ярче и цветистее мха едва ли есть еще где на земле, и глубина: под ногами ходит и затягивает, и какой надо упор, чтобы удержаться! То же моховое запустение гляделось с заросшей головы устьсысольца, ходили чучелами. Но приезжему — не всякий соглашался превращаться в зырянскую волосатую «кУтью-вОйсу». И вот тут-то меня и прорвало. И не хотел, а вынудили взяться на ножницы. Мои ножницы были и моим триумфом и позорной славой, распространившейся с первым весенним пароходом по Сысоле, Выми, Сухоне и дальше по Двине и Вологде: Яренск, Сольвычегодск, Устюг, Вологда, Архангельск; и по железной дороге из Котлоса в Вятке: «В ночь под Пасху Федор Иванович Щеколдин был обезображен на публичное посмешище». И когда спрашивали: кем и кто? — называли меня. И в письмах повторялось мое имя с неизменным «обезобразил»... но, позвольте! из ничего, из какой-то мочалки я сделал под мою ножничную музыку Мефистофеля, спросите самого Федора Ивановича! Конечно, сам-то он был далек от всякого коварного духа — но ведь тоже из«ничего»святого никак не выстрижешь, если следовать иконописному подлиннику, и что ж, по вашему, Максимчук лучше бы сделал? А Федор Иванович, если и сердился, то совсем не на Мефистофеля, в тайне ему этот образ даже нравился, вспоминаю, какими глазами посмотрел он в зеркальце, когда, простpекотав весь ножничный стрекот, я окончил мою работу, нет, ему было очень горько, что из-за медленной стрижки мы опоздали в Собор к пасхальной служ-бе. Но меня никто не слушал, так и осталось: «безобразие». Так я и переехал из Устьсысольска в Вологду.

И вот уж из Вологды, не пришло и месяца, как новая волна покатилась по тем же северным рекам и по железной

дороге, до Вятки и Архангельска: «изуродовал Димитриевского!». Уродовать? — у меня и в мыслях не было, да кроме «шику»... или просто говоря, имея гнусный матерьял, сделал я из Димитриевского подобие человека: усы стрункой и вроде плевка эспаньолка; фриксион собственного состава «пиротехнический» — крепче всякой помады. Димитриевский остался доволен, но мадам Димитриевская заподозрила: Димитриевский любил поухаживать, был грех, но я-то при чем? Она ходила жаловаться А. А. Богданову. О «операции» говорилось на собраниях. Привлечены были экспертами: П. Е. Щеголев, А. В. Луначарский и Б. В. Савинков. А пока шел суд и дело, настоящее-то «безобразие», следуя по линии природы, взяло свое, и всем стало ясно: от струнки и плевка через неделю и признака не осталось, одна плюгавая гнусь — никто не позарится! За природу же я не отвечаю.

Пиротехникой я стал заниматься, побуждаемый страстью к волшебным бенгальским огням и фейерверкам: огни надобны были для нашего театра. Одно горе: во всех руководствах площадные дозы, и приходилось все делать на глазомер, а в результате состав давал вспышку, а огня ни блёстки. Тоже и с самозажигающимися свечами: под Пасху в нашей приходской церкви мы хотели удивить: паникадила зажгутся без всякой лестницы! Накануне вся церковь опутана была нитками и в полночь, когда крестный ход вернулся в церковь, мы подожгли концы — вспышка, действительно, ударила пушкой, но хоть бы какой огонек, только чад — удушливый, прошиб и можжевелевый дух и съел ладан. Тоже и с фриксионом: либо не доложил, либо сверх пущено. Димитриевский и в бане паром отпаривался и дома селитрой мыл голову, а по запаху долго еще можно было безошибочно догадываться: если вы чувствуете кошачий с пригарью, значит, был в гостях Димитриевский.

После Вологды, живя под ограничением столиц, где

только не привелось бывать, но ни в Киеве, ни в Одессе, ни в Херсоне не было случая и некому вспомнить о моих «ножницах» и, если случалось рассказывать, принимали за очередную мою выдумку.

В Петербурге о моем парикмахерском искусстве и пиротехнике известно было лишь Щеголеву. Но Щеголев ни разу ко мне не обращался, и, надо думать, не иначе, как по своей деликатности: парикмахерское дело кропотливое, а при моей медлительности и вовсе бесконечное: стеснялся обременять. Верховский же — «Слон Слонович» — ничего этого не знал. С Щеколдиным случилось под Пасху, Слон угодил на самую Пасху. Пришел он засветло, чтобы к обеду поспеть к сестре — к Каратыгиным. Мы только что вернулись из Александро-Невской Лавры: пасхальную вечерню служил митрополит Владимир. В первый и единственный раз слышал я его единственные по выразительности пасхальные возгласы — мне напомнило нашу московскую приходскую церковь, старика священника Алексея Димитриевича Можайского, тем же распевом возглашал он «Да воскреснет Бог», и в этом распеве мне слышался лад нашей глубокой церковной старины. Об этом ладе сейчас я только и разговаривал и представлял, а Верховский уписывал и нашу особенную паску на тертом миндале — «черниговскую», и наш без всяких изюмов чистейший и легче пуха кулич — старинного «борзенского» рецепта. За яйцами, расписанными зверями, работа Кустодиева и Добужинского, кокнув яичный мамонтовый хобот, Слон вдруг схватился: не успел подстричься! Ударившись в старину, я не замечал Слона и вдруг увидел: действительно, за неделю зарос он — так пишут в бестиариях нашу пра-матерь, когда в процессе «мутации» из зверя впервые глянули человеческие глаза и, может быть, впервые запел зверь песню и совершилось назначенное, необходимое «грехопадение».

«Конечно, я с удовольствием подровняю»...

Зажгли свет. Поблескивая яичной скорлупой, пратав-

шейся в бороде, под бородой и за бородой в лохмах, сел Верховский за мой стол, предавшись стрекочущим ножницам. Наигрывая увертюру, я растерялся: не знал, как и приступить, уж очень матерьялу, а засален, как Елисеевский полупудовый окорок. И решаю: расчленю работу; справлюсь с одной стороной, примусь за другую, так будет виднее. Из всех петербургских поэтов единственный Верховский любил читать Пушкина — и хорошо читал, передавая только ритм, без всякого подчеркивания смысловых «логических» ударений, превращающих стихи в прозу. Под Пушкина ладя ножницы, снимал я Слоновые лохмы, приглаживая, как когда-то Шавку, превращавшуюся в пуделя: полголовы, шутя, отделал, за бороду взялся, и без бритвы маленькими ножничками, а чисто, как бритвой, одну щеку освободил от перьев, а остаток подровнял под Дона Педро. Верховский ученик испаниста Петрова и все испанское должно было ему итти! После Пушкина Дельвиг, Боратынский, Языков, а потом свое. А свое — без конца. И не заметили, как прошел вечер. И на своем: «*Ты сегодня совсем не красива, но особенно как-то мила*»... Слон вдруг вспомнил о Каратыгине. И поднялся. А взглянув в зеркало, верите ли, заплакал. И я, глядя на него, как в арабских сказках, готов был плакать: прекратить на половине работу! — заплачешь: одна щека, как коленка, другая Дон Педро, полголовы лесенкой, другая половина — естественная, кустом. Слон надел цилиндр и, прикрывая ладонью бороду, гоголевским Носом замахал с Таврической на Петербургскую сторону, а следом за ним хвостила слава и упрек мне: «зачем Слона обезобразил!».

Только на утро Вячеслав Гаврилыч Каратыгин поправил и окончил мою прерванную работу: Каратыгин, как известно музыкант. Но должен сказать, и меня это очень утешило, что и в не законченном виде — видел Блок и потом рассказывал — Слон Слонович был великолепен: потягивая себя за Дон-Педро, с воодушевлением читал о «Золотом цветке»: «*Тебе пою, приявшая к себе любовь мою*»... и пел Чайковского.

В войну я никого не трогал. А в революцию, когда Петербург залохматился Шавкой, никому в голову не приходило наводить красоту. И с годами стерлась последняя память, и если бы теперь кто вспомнил, что я, кроме всего, и бывший парикмахер-любитель, никто бы не поверил.

ХОЛОДНЫЙ УГОЛ

Первые сказки — от моей кормилицы, калужской сказочницы и песельницы, Евгении Борисовны Петушковой; апокриф — от московского медника, Павла Федоровича Сафронова с Новодеревенской. Сказка вошла с молоком кормилицы, с ее вечерними «потягушками» и неповторимым единственным именем, на которое я впервые откликнулся. Для апокрифа оказалась «солидная» подготовка, и не извне усвоенное, а в роду — крови.

Про отца говорили, что он «привирает»... Однажды вечером, вернувшись из магазина, сидел он один, только часы тикали, и вдруг из «холодного» угла кто-то окликнул: «Михаил Алексеевич!» — а никого. Рассказывая про этот чудесный случай, отец посмеивался в ус: усы у него крепко нафиксатуарены, и улыбка, как в глубокой оправе, нельзя не заметить. И никто не верил.

У отца два магазина: в Третьяковском проезде и в Солодовниковском пассаже. В этих его нарядных галантерейных лавках ходко шла торговля. Показать товар лицом был он большой мастер: и не надо, а купишь — «с руками навяжет». И уж, конечно, бывало: рамочка в магазине золотом горит и цена ей мелочь, как не соблазниться, а домой принес, развернул — деревяшка. Про отца говорили: «затейник». Его способность к «пюблиситэ», но никак не в переводе: «втирать очки» и «зубы заговаривать»... теперь я понимаю: он находил какие-то «вечные» определения вещам, «именовал» вещи, и оттого самый обыкновенный моток шерсти вдруг становился «бухарским», глаз не оторвешь. И еще: глаз, как разместить товар — цвета и краски, и свет...

теперь я понял, что и самые незначущие вещи становятся важными рядом — над или под другими, тоже как будто незаметными вещами; так ведь и с людьми, только порядок вещей — от моего глаза, нас же самих расставляет что-то. Распознавать вещи и распоряжаться вещами, в этом и есть «торговля», а как же иначе, чтобы и покупатель не скучал, и товар не залеживался. Быть хорошим купцом, не сквалыгой, дар, и научиться торговать мудрено. Отец еще брал уступчивостью и исконным московским обычаем: подарками — поедет на ярмарку, никого не забудет, всем привезет гостинцы.

Но тогда это меня совсем не занимало, и повторяющемуся добродушно про отца «Михаил Алексеевич» я не придавал значения, а в «холодный угол» я верил. Я воображал себе неприютные комнаты Замоскворецкого дома, где жил отец и где я родился, я прислушивался в осенний вечер: ветер в трубе и вдруг из воя: «Михаил Алексеевич!» — протяжно, а никого не было, только часы тикали.

Все дети хороши, с них мир начинается. По ним наш суд о рае. Человек и людство (лютьство), по легенде, с «грехопадения» и в «грехе» — дети, как напоминание о потерянном рае. Как же не любить детей! И вот почему с такой зоркостью вспоминаешь свое начало.

«Грех» рано вошел в мою жизнь. Стараюсь припомнить и не могу восстановить свою райскую безмятежность. Рано я стал догадываться о неладах между отцом и матерью: отец жил в Замоскворечье, мать и все мы, дети, на Земляном валу; только по праздникам отец приезжал к нам и в тот же вечер возвращался домой. Этого я понять не мог, но моя мысль — мой вопрос, остававшийся без ответа, — эта моя тревога, и в ней мой «грех», начало моей жизни в людстве, с его лютьством и мечтой о человечности. Только после смерти отца я понял, и, вспоминая, еще больше поверил в «холодный угол», а выдававшую отца улыбку из-под усов объяснил не так — сам я тогда, шестилетний, так улыбался, когда спрашивал себя отчего и почему и не находил ответа; для меня

стало ясно, что и отец не мог объяснить себе, почему все так случилось.

Вот он — сам он создал свое галантерейное дело, пройдя трудное ученье, начав «мальчиком», потом вторым приказчиком, вышел в главные, а наконец, хозяин — Михаил Алексеевич; и у Макарья на ярмарке у него две лавки и дважды он в Вену ездил по-немецки наловчился... «was kostet?» — а из «холодного» угла ему: «Михаил Алексеевич?».

И как потом расказывали в старых рядах за горячей ветчиной: отец не выдержал, но вместо того, чтобы пройти по соседству, к толмачевскому батюшке, к отцу Василию, ученнейший богослов! (Василий Петрович Нечаев, епископ можайский Виссарион, редактор «Душеполезного Чтения»), поехал на Тверскую к генерал-губернатору.

Известный московский галантерейщик, наряженный заграничным негоциантом: серые брюки, белая жилетка, светлый галстук, черная визитка и цилиндр — с таким «венским шиком», да еще и на собственных вороных, ждать не заставили.

Князь Владимир Андреевич Долгорукий — «хозяин столицы», как титуловал его Пастухов в «Московском Листке», — за преклонностью лет (и тут создавался подлинный апокриф), весь с головы до ног был искусственно составной: обветшалые, подержанные члены заменены механическими принадлежностями со всякими предохранителями и вентиляцией: каучук, пружина, ватин и китов ус, и все на самых тончайших винтиках — подгофрено, накрашено и завито.

Отец жаловался, что жена увезла детей и требует развод, но он не знает, в чем его вина, помянул и про «холодный угол»: «Михаил Алексеевич!». Выслушав отца с помощью трубки, князь не без усилия пошарил в штанах, нащупал что-то (по варианту: надавил кнопку) и вынул (или выскочило) что-то вроде... искусственный палец, и этим самым пальцем с восковым розовым ногтем, долбешкой, помотал перед носом отца. Тем разговор и кончился.

Чиновник, выпроваживая отца в приемную, растолковал ему, что символический жест князя, несопровождаемый словами, означает: за повторное обращение в двадцать четыре часа из Москвы вон. «Примите это к сведению!». И уж от себя добавил, и не без недоумения: «Ваша жена — сестра самого Найденова... чего же вы хотите?».

Найденовы имели славу «сочинителей». Отец был в тысячах — второй гильдии, Найденовы тоже не в первой (расчет!), но в миллионах и потому отцовское добродушное «привирает» заменяли осторожным «сочинением». Из всех отличался старший, не по возрасту, а старшинством по взлёту — Николай Александрович, председатель Московского биржевого комитета: так здорово живешь, среди делового или ученого разговора или появившись на вечере у родственников в самый разгар и появлением своим все погасив, муху слышно, расскажет историю — невероятное происшествие с каким-нибудь известным лицом, или про себя случай: и проверять нечего — сплошь сочинение. Тоже и за словом в карман не лазил, ну, в пустяках, забыли отчество Ивана Иваныча: «Иван» — бьются, а... «Николаич», не моргнув ответит, и непременно расскажет случай из жизни этого несуществующего Ивана Николаича. Случалось, что его собственные сочинения возвращались к нему, как доподлинно известное: «рассказывал сам...!», но сам он забывал, что это его, от него же, и с раздражением припечатывал вздором. А ведь все они, Найденовы, трезвейшие люди, реальнейшие без тени «вымысла», с вычислениями и комбинациями — Московский торговый банк на Ильинке и вся Биржа!

Как-то осенью, по дороге в Петербург, остановились в Москве, я пошел на биржу повидать старшего брата, он занимал должность секретаря биржевого комитета. Пройдя пустой зал биржевого собрания, я уж хотел подняться в канцелярию, как в дверях остановил меня старый служитель: старик узнал меня и очень обрадовался: «вылитый дядюшка в молодые годы, сказал он, и походка, и так же вот смотрите... торопливо, я, как увидел, думаю, уж не снится ли или

с ума спятил!». И, качая головой, он смотрел на меня: вспоминал? — да, вспоминал, конечно, свою молодость. А это так же неизбывно и незапамятно человеку, как его детство — рай: первый вопрос — «грехопадение» — очарование и разочарование — мятеж. «Дядюшке-то к новому году звезда: белый орел!», — и старик так произнес «орел» и так посмотрел, словно бы это на мне сверкала белая на голубом звезда. И у меня промелькнуло: «орел — сочинение?». И первое, что я спросил брата: правда ли... «Но об этом было в газетах: вся Москва знает», сказал он, и понес такое, не о звезде уж, а про орла — может, и из газет, не знаю, а скорее из головы. Еще гимназистом он, бывало, вернется из гимназии и расскажет какое-нибудь происшествие и всегда чего-нибудь подпустит на удивление, потом придет его товарищ «персианин» Минорский и о том же примется рассказывать, тут-то, сравнивая, и понимаешь, где что было, а где... про этого брата так и говорили, что «заливает». В его сочинениях не было от Хлестакова и Ноздрева, не было и от «Русских лгунов» Писемского, никакого бахвальства и никакой сноровки «переплюнуть», им ближе — можно бы назвать Ярика Пришвина в рассказе «Дорогие звери» и Пантелея чеховской «Степи» — чистый вымысел.

Моя бабушка, по матери, Татьяна Никитишна Найденова (Дерягина) умерла совсем не старой, сорока четырех лет; перед смертью было ей видение: Сергий Преподобный. В последнюю минуту она успела рассказать об этом — и никто не поверил.

В книге Н. А. Найденова, изданной на правах рукописи: «Воспоминания о виденном, слышанном и испытанном», посвященной главным образом изысканиям о крепостном роде Найденовых, с многочисленными выписками из суздальских писцовых книг, в введении рассказывается о деде, красильном мастере Егоре Ивановиче, о отце Александре Егорыче, товарище Верещагина, и есть об этой моей бабушке — «мистически настроенной», о ее предсмертном видении. Книга была роздана ближайшим родственникам. Ее почтительно

приняли, но у всех было заглазное: «и тут не удержался, сочинил!».

А я верил — как в покинутый и безответный отцовский «холодный угол», я верил, что к бабушке перед ее смертью приходил Сергий Преподобный. И что тут такого невероятного: от Москвы так близко! И когда я прикладывался к мощам — я, как к чему-то своему, знакомому, — здоровался. Только не знал я, один он приходил в белый найденовский дом или с медведем? Конечно, с медведем: от медведя такое тепло... Ясно видел я бабушкину комнату и бабушку, которую в жизни я никогда не видел — она тяжело хворала, рак в груди, доктора отказались! — и как в последнюю ее покинутую минуту идет медведь, лапой приоткрыл двер, вошел к бабушке, и старичок с ним в схиме, сгорбленный, и ей вдруг тепло стало...

И уж потом, вспоминая, я понял что-то и почему-то сказалось, не раз повторял я, никак не способный обжиться в жестоком ледяном круге людства: что надо человеку от человека? — так мало: каплю сердечности — и лед растает.

БЕЛЫЙ ОГОНЬ

«Подстриженными» глазами я смотрю на мир.

Тут мое счастье — мое богатство, и моя бедовая доля. Без труда, здорово-живешь, обладать такими диковинками, какие открыты моим глазам, зря не проходит. В «жизни» для меня, в «реальном», потеряны концы, и оттого постоянная путаница — путаница и места и времени, — и житейская несообразительность. И вот среди «нормально» зрячих в неразберихе трезвой жизни я, как *пугало*, и конечно, у меня много врагов, а матерьяльно я — нищий.

И если кое-как держусь на земле, ведь мое место — под мостом, среди бездомных бродяг, «отверженных» и «преступников», и автомобили меня щадят, а люди, скрепя сердце, терпят и окончательно не выжили и не извели, если я еще существую, то единственно, а иначе как объяснить, волею или игрой каких-то неразгаданных сил, действующих наперекор...

О них я догадываюсь; иногда они воплощаются, но больше снятся во сне; их дуновение я чувствую трепетно, как музыку. Как и почему они действуют, ограждая меня, я не знаю. Но я знаю мое черное отчаяние, когда вдруг, и всегда неожиданно, они отступают от меня, — и тогда я барахтаюсь, слепой, ничего не различая, стучу в двери — без отклика, здороваюсь — не узнают. И кругом покинутый, забившись в угол и крепко сжимая руки, совсем незаметный, как несуществующий, затаенно жду, готовый ко всему.

«Холодный угол», о котором рассказывал отец, и «голос» из этого угла — это его самооткликающееся одиночество и его безответный вопрос: почему и за что? «Явление Сергия

Преподобного с медведем» перед смертью бабушке — это пламя человеческого сердца, дыхнувшее теплотой в покинутый смертный час, когда все отступились; ярчайший образ милосердия, «человечности» среди жестокого людства... Это то самое, чему никто не поверил, — «сочинение!» — и над чем подсмеивались, я без рассуждений принял, присочинив от себя «медведя», и не мог понять, что тут смешного и над чем смеются, это — первая проба моей «веры», одна из первых диковинок, открывшихся моим «подстриженным» глазам.

Чему хотите, но «вере» не научить. Нельзя и заставить себя «верить». Как голос и слух, и «вера» передается через кровь — через то цветение крови, что различимо, как стебли и веточки звучащих и отзывающихся нервов. С «верой» родятся, как я с моими «подстриженными» глазами.

В Кремле, в Благовещенском соборе, указывая на стену, мне сказали: «вот кит, проглотивший пророка Иону». Перед китом толпилось не мало любопытных, а особенно усердные к чему-то прикладывались. Я долго всматривался: где? И вдруг увидел «своими» глазами: мне ясно представилось — «излучилась» пасть серого глазатого зверя, его задымленные внутренности — ряд сводчатых келий, и в одной, самой тесной, сдавленной и колышащейся, согнувшийся старичок над книгой: маленький свет — тоненькая свечка в руке.

Эта тоненькая свечка навсегда у меня в глазах. Ее ясный свет и теплый душистый воск — моя первая книжная память: легенда.

Я много наслушался сказок от моей кормилицы, я верил в их чудесную жизнь и волшебство превращений, но книга... В то время, как старшие мои братья часами просиживали за чтением, всегда читала и мать, одна в своей «отчаянной» спальне, я ничего не читал: какой-то непонятный мне страх чувствовал я перед раскрытой книгой, а самое чтение представлялось мне скучным занятием, неизбежным для тех, кто хотел убить время.

В доме у нас хранились старинные Макарьевские Четьи-

Минеи в корешковых переплетах с застежками; необычные, с другими не сравнимые, эти пудовые книги единственное исключение: я еще с трудом разбирал церковно-славянскую грамоту, но я очень любил красные прописные буквы; перелистывая припечатанные вощаными слезами страницы, я рассматривал фигурные концовки, вглядываясь, как в чудовищного кита, поглотившего пророка Иону. И чего только не виделось моим глазам из затейливого типографского набора? Там были черные коты и полосатые волки, руки-вилы и ноги-мачты, львы, скорпионы, змеи — чудовища сказок.

Зимний вечер, закутанный снегом, вкован морозом, медленный, — еще далеко до ночи, а уж как ночь. Старший брат вслух читает из Четеи-Миней. В детской, сжатой кроватями, со стенным холодным зеркалом и стенными часами против у посинелой изразцовой печки, не пугающими а подхватывающими, своим маятным размеренным ходом и звонким живым окликом своего боя, рост нашего доверчивого, ко всему любопытного немудренного века. В углу перед образом лампадка — наливной огонек; и тонсенькая колеблющаяся свечка над книгой.

Что сохраняю в памяти от первой книги? Или по содержанию очень все было чужое мне? Или потому что написано книжным складом, торжественно, не простою речью, меня увлекало музыкой и я ничего не понял? И только остались «муки».

И разве могу забыть я казнь белым огнем?

Я точно присутствовал и не как свидетель, а как сам мученик. Я не только все видел, я и чувствовал. С замеревшим сердцем, но готовый ко всему, я глядел в сгущающуюся черноту злой ночи — моей жестокой казни.. Я помню разъятие состава — с этого началась казнь: соструганная кожа, рассеченные мускулы, раздробленные кости, и — крест: пригвождение в длину, широту и долготу. И когда последняя капля моей крови ушла в землю, стон в ветер, помыслы в

облака, и не осталось корней жизни... и это я помню: мое восторженное чувство совершившегося чуда.

Из-за бесконечных верст пропастной дали мне доносится голос в свете тоненькой свечки.

Символы легенд для меня были живы и ярки, как для трезвого взгляда «факты». Несообразное, невероятное проникало все мои объяснения, и самое невозможное чудесно осуществлялось. Никакого «логического единства»... и этим меня будут попрекать всю жизнь; но какая тут логика для «подстриженных», не спутанных волосяным покровом глаз!

И когда я потом читал «Карамазовых», каким наивным мне показался «соблазн» в рассказе о Меркурии Смоленском: обезглавленный, он поднял с земли свою голову и «любезно ее лобызаше»... и долго шел, неся ее в руках и «любезно ее лобызаше», — повторяет Достоевский, никак не мирящийся с такой несообразностью, им самим провозглашенной однажды из своего «Подполья», как закон жизни.

В «вере», как в необозримом мире моих глаз, все несообразно и чудесно. И горько. И жутко. Жутко, как серые валяные сапоги, пустые, путешествующие по желтой полоске снежной пустыни — сон Горького, поразивший Толстого: «сапоги-то идут... совсем пустые — теп, теп — а снежок поскрипывает!».

А когда прочитав «все» книги (Русская Библия начинается Пушкиным и Гоголем, а кончается Лесковым), я соприкоснулся с нашими старшими современниками: в словесно скромном Короленке мне почуялся Аксаков, несравненный «природовед»; в горьком надтреснутом Чехове — «нигилист» и образцовый словесник Слепцов; в жутком, охваченном постоянным страхом, «который идет вместе с жизнью», Андрееве — Толстой, насупившись пишущий свою «Исповедь», а в «народном учителе Горьком, рассказавшем от всего сердца, и совсем не педагогично, о спивающемся и спившемся человеке», пародия на Достоевского.

Чехова и Андреева я читал, растравляя себя, свое чувство никогда не покидавшей меня темной догадки о моей не-

нужности и вообще бессмысленности моего и всякого «жили-были», а Горького я принял с восторгом, побеждая свое природное уродство — чрезмерно обостренный слух: у Горького было то, к чему открыты мои глаза: «легенда». В его сказке Данко разорвал руками себе грудь, вырвал сердце, высоко поднял его над головой и бросился вперед — «высоко держа горящее сердце и освещая им путь», — совсем не по Достоевскому, а, убежденно прибавляет Горький, оглядывая жизнь глазами из своего сна пустых путешествующих сапогов.

«Вера», «легенда», «сновидение» — один источник. Ученым снотолкователям, ручаюсь, сны никогда не снились. В том-то и дело, что все бестолково. Нет, на свете гораздо глупее, чем это кажется, а смешное совсем не там, где смеются. Но ничего не поделаешь, надо закрыть глаза или пропадай!

И вот что я заметил, и это всегда было, но только теперь я отчетливо понял, откуда это: люди благочестивые, обделывая свои делишки, всегда помнят, не забывают сделать что-нибудь «для души», а со мной — и в самых простых вещах и в затянутой петле я чувствую, как что-то поджуживает меня сделать что-нибудь «через», «навыворот». И когда я еще был совсем маленький, меня в колясочке возили, в Сокольниках, а был я ласковый и любил целоваться, и, однажды, поцеловав какую-то девочку — рассказывая случай, называли имя: Валя — я этой Вале откусил носик.

ПОДЖИГАТЕЛЬ

Из имен, не сказок и легенд, а ставших сказочными, два исторических русских имени вошли в мою память от моих первых лет: первопечатник Иван Федоров и первослов протопоп Аввакум. На их огненном имени проба «узлов и закрут» моей извечной памяти или того, чего не могу позабыть.

Зимним вечером, близко к ночи, пришел от Найденовых не «белый дворник» Афанасий, муж горничной Аполлинарии, как это обычно бывало, а глухонемой печник, появлявшийся у нас ряженым на Святках: мыча и «руками» он передал — «всем нам велено немедленно идти в белый Найденовский дом: у них гости».

Вечерние хождения к Найденовым были для нас как тяжелая повинность: до ужина мы толклись наверху, не показываясь в зал к гостям, или слонялись в библиотеке — все книги были под замком и ничего нельзя было трогать; а за ужином нас, детей, сажали не в столовой со всеми, а отдельно под лестницей в проходной комнате с тремя выходами: в столовую, в залу и в парадную прихожую, всю заставленную цветами; у Найденовых культ цветов, своя оранжерея. Сидеть на тычке не очень-то приятно, хотя бы и лицом к цветам.

Гости в этот памятный вечер все были необычные. Никого из родственников: ни Бахрушиных, ни Ганешиных, ни Прохоровых, ни Востряковых, ни Лукутиных, и ни одного из деловых Найденовых знакомых, как Грибовы, Корзинкины, Третьяковы, Рябушинские, Коноваловы, Ланины. Гости были все какие-то растерянные и довольно-таки ошмырганные, в глаза бросалось, и среди них я узнал профессора

Н. А. Зверева. Да это и были профессора и ученые. И всех оказалось тринадцать: тринадцатый Алексей Васильевич Летников. Вот и разгадка, почему нас без шоры вызвали: конечно, для рассеяния чортовой дюжины.

За ужином дверь в столовую поминутно отворялась и нам было слышно. Разговор шел о старинных московских церквах, всем видимых, и о таких, след которых терялся в летописях и писцовых книгах, о церквах «ушедших». Говорили в несколько голосов. Старая Москва оживала в веках. Потом выступил какой-то старик, говорил он тихо, но очень явственно: а рассказывал он о Гостунском дьяконе, первопечатнике Иване Федорове, о московских мастерах-переписчиках, и как построили в Москве первую типографию, Печатный Двор на Никольской, и как писцы, подстрекаемые духовенством, сожгли типографию.

Какое необыкновенное чувство вдруг охватило меня: следя за рассказом, я точно сам присутствовал и действовал, был мастером - писцом и поджигателем. И потом, взбудораженный, как сказкой, я вышептывал отдельные слова и имена из московского XVI века, перечислял улицы и церкви, канувшие, как Китеж, повторяя природным русским оборотом летописные чудеса «...и того ж лета по всей земле было аки дым семь дней за неделю до Петрова дни и *ходить не видели*». И мне непременно захотелось узнать, кто был тот старик - рассказчик, пробудивший мою дремавшую память, — и мать мне сказала, что это большой приятель моего дяди Н. А. Найденова, историк Иван Егорыч Забелин.

Помню, мы ходили на Никольскую в знакомую часовню к Пантелиймону и в соседний Никольский монастырь, подолгу останавливались перед Синодальной типографией, бывшим Печатным Двором. Я не мог оторваться, рассматривая «моими» глазами зеленое здание и зверей, «льва и единорога», герб типографии. Мы входили и в самую типографию и проникали туда, куда вход посторонним воспрещается. Я чувствовал себя, как дома. И потом мои рассказы... в моих каллиграфических способностях никто не сомневался, но мое

участие в поджоге приняли за такую же фантазию, как мою роль «убийцы» в первом написанном мною рассказе, но разве могу я забыть...

Но разве могу забыть я ночь на Михайлов день, торжественно крутящуюся метель, сливающуюся в вое и криками с Кремлевским набатом, когда на Никольской загорелся Печатный Двор, а для меня, когда — вся Москва горела, я сам горел. Перескочив через частокол, я стоял, гася на себе огонь, не зная, на что еще решиться, но оглушенный набатом Никольского монастыря, бросился в Ряды и Рядами выбрался на Красную площадь. И побежал, подхваченный метелью, как сама метель, напролом бежавшим доканчивать подожженную мною «штанбу». В распаленных глазах моих, сияя из зарева торжественно снующих розовых столбов и метел в куполах Василия Блаженного, мне виделся, стоял первопечатник Гостунский дьякон, я видел ясно, как из пылавшего станка он выхватил и, подняв высоко над головой, дымящиеся резные доски... он мог бы ими раскроить мне череп! — и гнев, укор и убежденность сверкнули сквозь чадный дым. А выше, в воздушной крути зияла кровавая пасть Льва, и до-синя белый рог Единорога врезался в пасть. Сквозь вой и свист и колокол до меня донеслось: «сжечь их!» — но этот голос был не грозный, а какой-то нежной болью проник в мое взрезанное сердце; это был не исступленный клич попа Козьмы, а последняя жалоба моего горького отчаяния, и плакать хотелось, — этот плач о навсегда утерянном и непоправимом! — но глаза мои, не слезы, колола резь. И не зная, куда девать мне мои руки, в кровь ободранные и обожженные, — я вдруг почувствовал нестерпимую боль и побежал к Москворецкому мосту: одна была дорога — на Москва-реку. После сырого туманного ненастья метель, крутя, ковала прозрачный лед на реке. Проломив тонкую звенящую кору льда, я опустил мои руки — последняя надежда! но хлынувшая потревоженная вода резанула меня огнем. И вздрогнув жгучею дрожью, я понял, что и сама студеная

река для меня теперь, как огонь, и от огня мне — некуда! Пламень взвивался над моей головой — и пламень вырезалась из сердца — пламя окружало меня...



А о протопопе Аввакуме стал я знать от Никифора Матвеича Щекина, всей Москве известного тараканомора. Кухарка Степанида — староверка, через нее и появился у нас, в нашей бывшей красильне, Никифор Матвеич со своей кожаной сумкой, в которой хранился яд, и тростью, на кончик которой он намазывал этот белый сладкий тараканий мор. Когда к матери приезжала цыганка Елена Корнеевна, я смотрел «моими» глазами в ее бездонно - омутное — в ее не наши глаза, там плыли знойные дикие песни; и когда она пела, все во мне тянулось — не переслушать! и было мне: то какая-то захватывающая воля, без оглядки, ее знает беспокойная «бродяга», то какой-то пропад — с головой в этот дразнящий омут. Когда приходил синий Китай со своими шуршащими шелками и лепетал с замеревшей улыбкой голубого ламы, меня охватывала тревога, как при явлении чего-то кровного, но бесследно забытого, я готов был и сам «лепетать», и только никак не мог вспомнить китайские слова. А при появлении тараканомора я сжимался — мне было не по себе и хотелось скрыться.

Тараканомор представлялся мне куда выше китайца, а был он сухопарый, но не скелет, и весь заросший, но не обезьян; от глаз к носу лицо его сияло: то ли это от смазанной коровьим маслом стрелецкой холки, низко спускающейся на лоб, то ли уж такая лоснящаяся кожа; а бывает — от напряженной изводящей мысли; и у него была такая мысль — его «вера», вся заплетенная, как буква, «*лоической*» словесностью Дионисия Ареопагита. И как шепча - вышептывая, причмокивал он губами, когда проводил тростью по стене: и там, куда ткнет, появятся белые языки и смертельные кружочки... и какая-то приторная сладость как лоснь его самого, пропитывала воздух.

Никогда я не видел его улыбки, гадливость щерила его, обнажая слоновые желтые зубы. Он говорил с нами, как с врагами своей гонимой старой русской веры. Мы были для него не дети, которым все любопытно, а еретики - «щепотники», те же тараканы. Да, на собак глядел он ласковее: несмысленное! чего с них взять? Во всех его разговорах неизменно повторялось «поганое» и «проклятое» — и все, везде, весь мир превращался в тлен и смрад, слизь и слякоть, нужник и помойку, а люди в какие-то Селиновские мешки, наполненные червями. Я не мог помириться с такой жалкой отвратительной судьбой, так освещенный мир выворачивал мне душу.

Я тогда еще не называл себе словами, я только чувствовал, что в моем, через мои «подстриженные» глаза, невероятном, несообразном мире, пронизанном не-детской горечью, всегда было и такое, дух загорался и сердце замирало от переполненности чувства: я видел самые разнообразные цвета и тонкие переливы сияний, и этот свет и эти цвета, цветя и горя, исходили от живого, одушевленного, и от бездушных вещей, а значит, было что-то располагающее и в человеке... и в мире оно есть. И это говорю я, повторяя наперекор чеканной подлости, бессовестному предательству и грубой силе, гасящей последний свет «человечности» в мире живой человеческой жизни.

Никифор Матвеич большой начетчик; память его в кругу Писания необозрима. Как-то после удачного мора, «восхищенный» — бесы не бесы, а тараканы ему «послушествовали»! — за чаем, он пил из кружки Степаниды, не поганясь нашей посудой, и рассказывал. Он рассказал «Житие протопопа Аввакума», слово в слово, буква в букву и точка в точку, как заучил однажды, не смея исправить и явную описку переписчика, — потому что за вставленной в слово или пропущенный «он» гореть человеку вечным огнем.

Вслушиваясь в житие, я почувствовал, какая это книга!

Склад ее речи был мне, как столповой распев Московского Успенского Собора, как перелеты Кремлевского крас-

ного звона. А потом уж я оценил и как меру «русского стиля» наперекор модернизированным Былинам и Билибинской «подделке», невылазно - книжному «Слову о полку Игореве», гугнящим, наряженным в лапти, «гуслярам» и тому крикливому, и не без хвастовства, «истинно - русскому», от чего мне было всегда неловко и хотелось заговорить по-немецки. Подожженный необычайным словом книги, я бредил, как сказкой: так живо и ярко все видел — и горемычное «житие» и упрямство непреклонной «веры» и венец: пылающий сруб — огненную казнь.

При первопечатнике Иване Федорове я был писцом, и под грозой печатного слова в отчаянии поджег типографию на Никольской, «Печатный Двор»; через столетие я служил наборщиком в той же самой восстановленной после пожара типографии, приверженец старой веры и старого пения. Все происходит в Москве, где каждый уголок охожен, свой, и внятно: природная русская речь, первый снег завивается по тротуарам или весенняя капель гулко стучит... И когда я рассказывал мои исторические сказки, про меня говорили, что я «фантазирую», и подтрунивали, называя «поджигателем», но разве могу я забыть...

Но разве могу забыть я... я помню Пустозерскую гремящую весну, красу - зарю во всю ночь, апрельский заморозок, летящих на север лебедей. На площади перед земляным острогом белый березовый сруб, обложенный дровами, паклей и соломой; посреди сруба четыре столба — четырех земляных узников, привязанных веревками к столбам: трое с отрезанными языками и один пощаженный — рука не поднялась! — в нем узнал я моего духовного и наставника протопопа Аввакума. Мне чутко из веков: скрипучей пилой звенит стрелецкий голос: «По указу государя, царя и великого князя всеа великие и малые и белые России самодержца—— за великие на царский дом хулы — сжечь их!». Из замеревшей тишины, блеснув, пополз огонь — «жечь их». Не сводя глаз, я следил — огонь уж шел; и шел, как хря-

пающая пасть; а дойдя до ног, разлился, поднимаясь. В глазах я видел ту же убежденность — там, на Печатном Дворе в пожар я видел ее в глазах первопечатника Ивана Федорова, оба под-рост, но не гнев и укор, в его глазах горела восторженная боль. Огонь, затопив колена, взбросился раскаленным языком и, гарью заткнув рот, лизнул глаза, и, свистом перебесясь в разрывавшейся клоками бороде, шумно взвился огненной бородой над столбом. И запылал костер. Тогда, перегорев, скручивавшая руки, веревка распалась, упали свободные черные руки и скрюченными пальцами, как львиные лапы, крепко вонзились в его пылавшую русскую землю. «Бедный горемыка, умчавшийся на огненной колеснице, горя, как свеча, ловить царский венец, — пока на земле звучит русская речь, будет ярка, как костер, память о тебе... ты, научивший меня любить свой природный русский язык, протопоп всей Русской земли Аввакум!» Тяжелым горьким дымом наполнило горло, я только слышал, как рухнули четыре столба — один за другим четыре... «сердце озябло и ноги задрожали».

ПОРЧЕНЫЙ

Встреча с человеком, одержимым страстью к чудесному, стала мне точно оклик из мира мне кровного и только временем как замурованного. Подготовка же к «фантазиям» была у меня основательная: со стороны матери «сочиняли», как деликатно выражались про моего знаменитого дядю Н. А. Найденова, совмещавшего звание биржевого диктатора, ученого археолога и, походя, выдумщика невероятных происшествий, которым, вопреки всей вздорности, не смели не верить; со стороны отца «привирали», и была у меня тетка, не менее знаменитая среди «Божьих людей», пострадавшая за веру, «узница», хлыстовская «пророчица» Татьяна Макаровна, посвященная в «три крещения» тамбовским «христом» Аввакумом Ивановичем Копыловым.

И тот же смутный непреклонный голос — оклик — направил мое внимание на «отреченную» литературу. Изучение Тихонравова, Пыпина, Веселовскаго, Порфирьева, В. П. Мочульского (отец нашего «философа» и «лоиста» Константина) вызвало на свет и оживило мою древнюю память: в моих «реконструкциях» старинных легенд и сказаний не только книжное, а и мое — из жизни — виденное, слышанное и испытанное.

И когда я сидел над старинными памятниками и, конечно, не спроста выбирал из прочитанного, а по каким-то бессознательным воспоминаниям — «узлам и закрутам» моей извечной памяти; или когда облюбованное из книг принимался сказывать по-своему, я не раз слышал слышанный однажды в мои ранние годы, пробивающийся из дальнедалёка, знакомый голос чудодейственного человека — мо-

сковского медника Павла Федорова Сафронова с Новодеревенской: его лад и его напев.

Во встрече с медником Сафроновым, который ввел меня в чудесный мир легенд, есть что-то общее с появлением у нас, в нашей бывшей красильне, художника Николаса — Николая Васильевича, а фамилию так и не дознался! — открывшего мне волшебный мир красок.

В летний благодатный день, я это так отчетливо помню, именно чувство благодати, благодатного дара, разливавшегося и проникавшего теплый воздух, блестящий, над московскими садами, входит незнакомый в черной блузе с курдючком «толстовца»; в первый раз видим! — а с какой уверенностью он переступил порог, ни она из наших собак не залаяла, и в голову не пришло спросить: откуда и кто он? А это и был таинственный художник Николас, какой-то отблеск из Гоффмановского мира, одной природы с органным мастером Лисковым. А с «таинственным» медником Сафроновым мы познакомились в «Рублевском» Андрониеве монастыре на Пасхальной неделе, когда весенняя земля, и в воздухе с курантами и колоколами, все выкликало - вызванивало весну-красну и красную Пасху.

Кончалась поздняя обедня. Мы вышли на паперть посмотреть на старинные тяжелые золотые хоругви и образа в серебряных окладах строившегося крестного хода — на Пасхальной неделе всю неделю после обедни крестный ход с артосом вокруг древней монастырской башенной ограды. Из открытого окна собора сквозь детский крик и плач вдруг разлилось на кладбище, и я, встрепенувшись, узнал голос: «*Ангел вопияше Благодатней...*» — от сердца, русский тенор, пел Троице-Сергиевской Лавры кононарх Яшка, застрявший в гостях в Андрониеве, и после вчерашнего — «разговлялись!» — с этаким фонарем под глазом, — «*Чистая Дево, радуйся!*» — пел кононарх, рассекая весенние звуки и голоса, — «*и паки реку: радуйся! Твой Сын воскресе...*» — «Воскресе! воскресе!» — встрепенулось за мной — мое сердце двукратно трепетало от этого голоса! — и от-

кликнулось с тесовых свежих крестов и со старинных замшелых плит московского века и с черных чиновных памятников и с итальянских мавзолеев с неугасимыми лампадами.

Медник стоял под деревом, опушенным чистой, как голос кононарха, весенней зеленью и нежнейшими светящимися на солнце сережками, и бережно дул себе на обожженный купоросом суковатый палец — на подбитую, поднятую им с земли крылатую козявку. Моему восторженному чувству были в те минуты — в этой моей вечности! — так близки и пасхальные запевы и странный человек под деревом, дующий на козявку. Проходя за народом, я не удержался и незнакомому сказал: «здравствуйте!» А он, выпустив со своего черного пальца ожившую, согретую его дыханием козявку, с чувством от сердца ответил, как своему: «Христос воскресе!». Я никогда не забуду этой встречи.

И в судьбе медника и художника было общее: оба вдруг исчезли — ушли без оглядки, как и не было. В один прекрасный день художник Николас забрал свои краски: «до завтра»! — но больше никогда его не видели в нашей бывшей красильне, да и нигде в Москве. Потом уж, читая Гофмановского «Кота Мурра», я что-то понял... А медник! — придет срок, скажет, прощаясь: «до скорого!» — и это его «скоро» протянется, как «навсегда»: медник, как известно, вскоре после своей неожиданной свадьбы, при загадочных обстоятельствах пропал без вести. И у меня такое чувство: исполнив что-то, оба отошли без возврата; и в их явлении для меня, по крайней мере, есть что-то роковое: пусть я не художник, но для меня мир красок... я не представляю, как возможно мне без этой цветной музыки! — а волшебный край легенды... когда я его покину и перестану «играть», это и будет значить, что наступил мой конец и сердце перестало биться.

Медник Сафронов и тараканомор Щекин — знакомство с ними одновременно. Для меня они, как гении-джинны арабских сказок, как из ранних воспоминаний синий Китай со

своими шелками и сесунчой. Но как разно светят в моих «узлах и закрутах»!

При появлении тараканомора железом оковывало кухню: цвет ржавой тяжести нависал кругом — и я сжимался. А когда входил медник, распахивались окна, гремела весна, «зеленый шум»: легко было слушать и спокойно смотреть. Тараканомор все знал, и во всех его знаниях был закон: и на букву не смей — уклониться, — пропадешь! Все было предусмотрено, положено и растолковано; в сущности не оставалось никакой тайны, и не к чему любопытствовать; железная клетка — мир. А у медника все было, как в простой жизни с тайной и загадочностью и с чувством какой-то теплой связи моей маленькой судьбы с необозримо большой судьбой всего светящегося воздушного мира. Медник ближе был к тем безымянным, к «массам», без рассуждений, но всегда одаренным песенным чутьем, и в суде его не было ничего общего с судом «среднего» человека, имеющего всегда свое мнение и всегда неопровержимое, как у начетчика-тараканомора его закон; а ведь «серединный» суд всегда или «рутина» или «модернистическая банальность», одно другого стоит.

Расказывал ли медник апокриф о Богородице — «Благовещение», «Страды», «Хождение по мукам», «Рождество», — я потом узнал, как знакомое, на картинах Брейгеля: все происходит здесь, в «человеках», окруженное русскими людьми с русской «желанностью» и нашим жестоким «лютьством». Я отводил свою несообразную «порченую» душу, слушая его рассказы «апокрифических» деяний, сливавшие небесное с землей, толковое с бредом, трезвую действительность со сказкой.

И что было странно: тараканомор, исходивший из «природной» речи своего наставника протопопа Аввакума, выражался совсем не просто, совсем не живо — в слово ученому «лоисту», а у медника все было от сердца, с некнижной, не «Кирилловой книги» речью, а складом слова живой жизни и цветно, под стать первому русскому цветослову

Бестужеву-Марлинскому. Тараканомор историю начинал с Адама, верил и в вере своей был убежден, что он, стрелецкий отпрыск, Никифор Матвеевич Щекин, со своей кожаной сумкой с белым приторным ядом на таракана, и со своей густой холкой, смазанной коровьим маслом, носит в себе образ и подобие Божье. Медник, тоже начинавший от Адама, был не менее убежден, что ни в нем, меднике с Новодеревенской, Павле Федорове Сафронове, с пальцем, обоженным купоросом, ни в тараканоморе, обсыпанном сладким белым порошком — тараканьим мором, образа и подобия Божия не ночевало, и вообще, в человеке нет ничего Божеского: было Божие — «райское», но с «грехопадением» пропало, а искони было и есть образ и подобие «человека».

«Как в каждой бабе есть женщина, так и в самом лютом людстве живет человек».

Когда тараканомор «вопрошал»: «*Чим се крести земле и Адам?*». И немедля заученно выпаливал: «*Три бо суть крещения: водою, кровию, слезное; се есть большее*». — «Большее, подхватывал медник, именно слезное, в нем-то и есть человечность». Оба, хоть и по разному, а любили пофилософствовать. И как встренутся, спору конца нет, и крик.

Тараканомор, сколько ни приставали, ни разу не повел нас на Рогожское кладбище послушать «старое пение»: одним своим духом опоганим, так что ли? Медник показал нам дорогу в Симонов монастырь.

Симонов — место встречи «порченых» и «бесноватых». Их свозили со всех концов России в Москву: среди белых попадали черные — кавказские, и раскосые — сибирские, и желтые — китайские. После обедни их «отчитывал» неустрашимый, быстрый голубоглазый иеромонах о. Исаакий: говорком, шелестя, как листьями, словами молитв, изгонял он бесов. Но не столько само изгнание — бесы что-то не очень слушались Симоновского иеромонаха! — а подготовка во время обедни — это подлинно «бесовское действо!» —

зрелище потрясающее. Куда пожар со сбором всех московских частей и оберполицеймейстером А. А. Власовским, мчавшимся, стоя на подножке — в спину обалдевающему кучеру, по стоячему способу и узнавали — отважный человек и любитель пожаров! Бесовский пожар в Симонове ни с чем не сравним, — зрелище ошеломляющее.

Еще показывали: под стену монастыря подкапывающуюся гигантских размеров каменную лягушку—демона, обращенного в камень; эта лягушка, о ней знала вся Москва, была как-раз к месту и дополняла бесовское скопище. Есть странные любители смотреть покойников, а бесовское зрелище еще заразительнее: стоит раз взглянуть, как потянет еще и еще, не пропуская. В Симоновом народу и в будний день, как на праздник; на недостаток богомольцев нельзя было жаловаться!

Медник верил в бесовскую силу — какой же апокриф без демона! Но мне памятно повторяемое им и небезразлично: «людское-де переплюнет бесовское!» Я еще не понимал силу лютости человека; я рано подметил человеческую глупость: мое озорство очень часто в том и заключалось, что, поощряя эту глупость, я доводил ее в другом до полного раскрытия дурацкой сути. Нет, я еще не знал, как может быть жесток человек и не оценивал всю жестокость своего озорства.

«Бесовское» меня привлекало чудесностью: ведь, все обычные меры были нарушены, все вверх тормашками, — бесноватый со стиснутыми зубами, плотно сжимая рот, вел диалог на разные голоса, как представляют в театре; бесноватый выкрикивал не только по-человечески, но мог и позвериному и птицей; особенно буйные и озорные выкрикивали «демонские имена», а имен насчитывалось не десятки. не сотни, а тысячи, и все они звучали по-разному: были понятные, по-нашему, но случалось и на таком языке, разве что существовавшем до вавилонского смешения. Или с какой-нибудь тщедушной — «порченой» — она тебе от щелчка

на карачки станет! — а тут не могут справиться четыре ломовика, а московские ломовики-крючники лошадей давили!

А этот ужасный свист во время «действия»... и в самую тихую погоду и под самые трепетные напевы — на океане в бурю, тоже и в нашу метель, я слышал: это был подхлестывающий свист с завоем, наполнявший церковь до куполов, и какая-то безысходная тоска— жгучая память о невозвратном и непоправимом — черная дума о том, чего никогда не было и не будет, и какие-то крысы....

ГОЛОДНАЯ ПУЧИНА

Еще осенью Павел Федоров Софронов объявил, что женится. Это было для всех неожиданно и показалось несуразным: по всеобщему убеждению, медник — «Божий человек», для которого «божеское» было лишь только «сон смешного человека» и только «человечность» правдой и мерой, никак не годился для семейной жизни — «не муж и не отец». Один тараканомор, неодобрительно отзывавшийся о «баснях и кощунах», за которые «взыщется и в сем веце и в будущем», одобрял приятеля: «женится — остепенится». И никто не подумал: не несет ли в себе этот странный человек решения каких-нибудь высших намерений, и задумано не спроста?

Венчание назначено было после Крещенья в вечерний час у Николы в Котельниках, в приходе невесты, с которой познакомился Софронов в Симоновом монастыре, куда ее водила тетка смотреть «порченых и бесноватых».

Мне — моим ненасытным измученным глазам открывшееся из «черного моря ночи» через «цауберера» — Э. Т. А. Гоффмана пламенное мерцающее зарево обреченной души Гоголя, мне — зачарованному, как однажды петербуржец Бестужев - Марлинский, волшебством чужого неба (ведь и Марлинскому, как и мне, нашему северному сердцу, под «полярной звездой», ближе и связней тихое слово бледной прозы французского лада — Пушкин и Лермонтов!) и вот принявшему с восторгом высокопарное Гоголевское слово в серебре польского пышного наряда и грозно-задумчивую украинскую песню, мне вспоминается эта старинная московская церковь, как та замшелая из «Вия» с завязнувшими в

дверях и окнах чудовищами, в которой философ Хома Брут, ошалелый, не читал уж, а выл - выкрикивал три ночи над ведьмой - панночкой, надрываясь голосом рассеять страх, а этот страх сковал его с открывшейся ему его виной, когда поглядела она закрытыми глазами и из-под ресниц ее правого глаза покатилась слеза и он ясно различил на ее щеке... но это была не слеза, а капля крови.

В тот день с утра мело, а к вечеру закуделило.

Есть три метели на русском просторе: Пушкина, Толстого и Блока. И они, голодные, по-пушкину, по-толстому и по-блоку, бушевали над Москвою. Их образ и подобие не Божие (тараканомора), не Человеческое (медника), а свое — Вийное (Гоголя). Они поднялись с семи московских холмов, подняли голос до птичьего крика и с свистом тончайших пил в головокружительном ввиве вихрились, и опадая, захлебнув полным ртом снегу, со стиснутыми зубами «бесноватых» взвихрялись. Одни — —до-синя белые, слетевшись на Таганской площади у трактира Лапашова и церкви Воскресения, неслись вдоль по Вшивой горке к Серебряниковским баням; другие — цвета легкой зелени цветочного чаю навстречу от Расторгуевых по Солянке через Яузу. Звенящими косами рассекались пропастные небеса и на крутящуюся землю дышало смертельной волей и роковой угрозой.

Сугробов намело горы, а на церковной Котельниковской лестнице при входе в храм ступени покатились горкой. Купола и окна плотно были залеплены снегом; каменные стены как проконопатило белоснежной паклей. Был сумеречный час; вечерняя мгла и эти непроницаемые ставни впустили в церковь раннюю ночь.

Тоненькие свечи перед местными образами да три неугасимые лампадки: две кровавые, а посреди синяя, колеблющаяся лунной тенью, — и кругом тот угрожающий мрак, что собрался однажды под куполом от множества свечей, зажженных философом Хомою Брутом в первую ночь Вия. Но не страшная сверкающая красота ведьмы-панночки,

Новодеревенский медник в длинном сюртуке и в белом галстуке, повязанном пышным бантом, глядел оранжерейно, мохря, во всей своей приветливой лучезарности и с непреклонностью своего тайного решения и рядом серой тенью, дымясь, таяла невеста с лицом без определенного названия и неестественно тоненькой шейкой. Без певчих. Пели одни дьячки. И их гнусавый обиход подтягивали и подхватывали вой и вый с воли, но вдруг, наперекор высоким голосам, с Мусоргским взвоем, щемя, звенело.

Провожатых счетом: в такую погоду и самым заядлым любителям скандалов заказан путь; пустая церковь. А когда после венчанья мы вышли из церкви и прямо по сугробам... мне показалась дорога мятущейся белой пустыней и ночью без рассвета. На минуту, как сковало. И на Котельниковском юру я очутился вдруг в глаза с — Пушкиным, Толстым и Блоком: какое стихийное торжество! пучинная свирь! Белый голодный огонь, крестя, душил. И невольно во мне проговорилось: «без рассвета»!

В доме было так же мрачно, как в церкви. В зале единственная стенная молния - лампа; в кухне слепая лампочка, а в приготовленной для молодых спальне — там же и склад почетных запорошенных, лужами текущих шуб — жаркая лампадка. В прихожей высвистывал черный ветер. Главный кавалер и распорядитель бала почтовый чиновник Алтухов; он единственный в форме. И мне почему-то его очень жалко. Танцы под гармонью.

Не находя себе места, я заглядывал в кухню. Суетилась у печки тетка. Из разговоров я узнал, что у молодой нет ни отца, ни матери, и не помнит! А воспитала ее эта тетка, и на лице ее явственно было написано: «ничего не жду путного», — и тревога слепила ее. Прислуживала девчонка «суслик», коротенькая, как грибок, с покорно - улыбающимся масляным ртом; и этот «Суслик» казался лампочкой, высвечивающей старухе заставленную кастрюлями плиту и заставленный тарелками стол.

Я все прислушивался, точно ждал чего — или это метель крутила во мне? И, наконец, примостился в кухне в углу на табуретке, под которой стыло какое-то сладкое блюдо из «Скверного анекдота».

Топот из залы, завывание ветра в трубе и стихи — еще не читанный Бодлэр? но уже слышанный Некрасов? — запетое Некрасова. А из стихов, из глуби воя, напряженное и упорное: «Подымите мне веки!» А из-под Вия, где уж и дна не видно, из пучины жуткий песенный чуть-звук, с чего все началось, чем все и овеется... Но в том то и дело, и эта мысль мучила меня, что «никогда ничего не кончится», — «ночь без рассвета!».

Гармонист за что-то поссорился с Алтуховым и, забрав свой веселый инструмент, выскочил на кухню, и через черный ветер прихожей, с сердцем рванув дверь, пропал. Танцы продолжались и без гармоньи. Выкрикивалась, а должно быть для лада: «Марья Петровна». Надсаживался Алтухов. Кто это Марья Петровна, я не знаю, она покрывала и вой за окном и плясовое притоптывание, каблуков.

«Уроки я не выучил и завтра рано вставать!» и об этом я думал. Но главное, не видел конца — «никогда ничего не кончится!». И под эту гнетущую бесконечную мысль не то задремал я, не то заслушался.

Девчонка теткина «суслик», улыбаясь, наклонилась надо мной и осветила меня, как кастрюльку, и мне стало очень жарко. И я начинаю различать сквозь «Марью Петровну», топот и вой «подгрудное» бесноватых Симонова монастыря. И вдруг нечеловеческий голос вырвался из этого ворчащего ада имен, слов и восклицаний и стал расти во мне, заполняя глаза и уши и сердце.

И разве могу забыть я... Я как бы сам однажды был ею, Соломонией, и вот узнал ее в ее голосе, как себя... После исповеди она легла и крепко заснула; и вдруг проснулась от боли: *он*, перевернувшись в ней, встал и, распирая ее, прогрыз насквозь левый бок: сорочка ее была в крови. Ее

заставили подняться и повели в собор. Благовестили к утрене, чуть светало. Со стиснутыми зубами шла она по улице. Запах нечистой крови и какая-то невысказанная вина, какой-то неоткрытый грех... Не подымая глаз, простояла она всю утреню, но при возгласе: «Богородицу и Матерь света песьми возвеличим!» — она почувствовала *его:* и ей дышать нечем. И не помнит, как ее вывели. А за обедней, когда перед причастием священник сказал: «говорите за мной» и начал читать молитву «Верую Господи и исповедую...» — она молчала. И когда окончив «Вечери Твоея тайные днесь», священник сказал по московскому обычаю: «в землю поклонитесь!» — она не шелохнулась. А когда подвели ее к чаше и дьякон спросил: «имя»? — она ударилась об пол и, как свинцом налита, насилу поднять могли. И снова поставили ее перед чашей, разжали рот — и проглотив причастие, она закричала: «сжег меня! сжег меня!». Этот крик стоит у меня в ушах.

И память о какой-то нестерпимой нечеловеческой боли, выкрикнутая однажды, как из ста разодранных ртов, закатилась в мою изводящую «порченую» мысль о бесконечном, что никогда ничего не кончится! И, обессиленный безвыходностью, я не то задремал, но еще глубже. Не то заслушался, но еще чутче. И в расползающееся «подгрудное» вошел другой голос, покрывая все отголоски, и я узнал его по простору и зною: пела цыганка Елена Корнеевна, и я, никому незаметный, выговаривал за ней ее дикую метелицу. Я еще не знал бездумную, слепую, беспамятную сладость жизни и только чуял в этой горячащей песне, а горечь змеиного яда я уже чувствовал... какую-то невысказанную вину и какой-то неоткрытый грех.

И мне представилось, что подымаюсь я по каменной лестнице с черного хода и на каком-то этаже очень высоко у распахнутого окна на подоконнике вижу пепельница стоит, горшочек, полный густой лунной зеленью; я остановился, гляжу на эту горечь и вижу, из ночи вровень с окном мерцает белая звезда...

Вдруг со швырочным воем распахнулась дверь. И в кухню с плясом и свистом ворвался гармонист. «Он вернулся!». Он вернулся из уважения к жениху и невесте... а тому стервецу, что его матом покрыл, он выщиплет все волосы — «у меня брат в Америке!» — хорохорился гармонист. И в раже, развернув свою гармонью, как высвистнул резко из покатившихся ладов: «Марья Петровна!».

«Победить себя и убедить ее!». Вот испытание, проба сил: жизнь или смерть. И эта единственная мысль с тайной, на случай оплошки, подмыслью «Павел, беги!» — подгоняла медника, нераздельно владея им и глуша все голоса и человеческие и нечеловеческие: Павел Федоров был, как известно, свой человек в Симоновом монастыре.

И когда гости самовышвырнувшись за дверь и расползлись с поземелицей, кто куда, или вернее, кого как, он никуда не бежал. За вечер не мало выпито да и нельзя было отказаться от настойчивых «горько», и все таки он держался, как ни в одном глазу, — на все готов. Неторопливо раздевшись в темном уголку, выступил он в свете жаркой лампадки, сияя своей непреклонностью еще жарче. И сел на кровать к молодой. А она, бережно сняв свое серое подвенечное платье, как плюхнулась, так и вмякла, слившись с периной.

Медник, не глядя, рассказывал житие Алексея. Так мог бы рассказывать только Брейгель. В его ладе было как свое и ясно — о себе: его Рим — Москва; Авентинский холм — Котельники, а Святая земля, куда в первую брачную ночь убежит Божий человек, Павел Федоров Сафронов, — Троице-Сергиевская Лавра.

Молодая не отзывалась и лишь в чувствительных местах жития пыхтела. А ему становилось жарко и еще жарче, очень, от горячих слов и от перины. И вдруг он почувствовал, что его затаенное «Павел, беги!» — прорвало все его непреклонные мысли и стерло все слова...

— Паша, сказала она робко, вытягивая по-гусиному то-

ненькую шейку, и посмотрела (белесые щелки) исподлобья, Паша, почеши мне спинку!

И уж не помня, на чем остановился, он встал. Но не «Павел, беги!» — а «Подымите мне веки!» криком окрикнуло его, подгрудный голос гудящий как будто с воли. И суковатым, сожженным купоросом, дрожащим пальцем коснувшись ее горячей веснущатой спины, он в беспамятстве зажмурился: на безличье покорного ее лица, на месте бессмысленных щелок, трехзрачковые чернее угля вспыхнули глаза и качались на тоненьком стебле.

Полохом краснозвонного колокола ударило вшиб — и закатило: семь-тысяч-семь-сот-семьдесят демонских имен от первого демона в бесконечность...

За окном вся Москва выла.

КНИГА

Я не «библиофил» — и в том смысле, как это здесь понимается, я не раз слышал среди русских, охотников до чтения: я не собираю книг, чтобы за чтение брать деньги; и в настоящем значении, по Осоргину: мне совершенно не важно, в скольких экземплярах издана книга, и чтобы непременно иметь номер первый и, если можно, а пожалуй и желательно, единственный.

Книга — чтение, люблю читать, а самые отчаянные библиофилы, как известно, только любуются и завидуют: всегда ведь найдется, имя его произносится с ненавистью, у кого экземпляр первее. Книга — святыня, исповедую «Вопрошания Кирика», нашу древнюю русскую память и завет, а подлинный библиофил готов сжечь книгу, чтобы хранить у себя «бесспорно» единственный экземпляр. Для меня книга — наука прежде всего, «источник знания»: не научит ли она меня уму-разуму? — ну, конечно, я не безразличен и к ее «явлению»: к буквам, строчкам и типографским находкам — буквенному искусству. Для меня книга — и обстановка: только среди книг я нахожу себе место, и в комнате без книг, как и посреди живой природы «под ветром», я пропадаю — трудно сосредоточиться; правда, в саду я никогда и не пытался писать, но в тюрьме — какие же там книги! или на кухне под блестящими глазами кастрюль на кухне, всякое бывало! и я прекрасно справлялся, выходило: слова шли за мыслью и мысли бежали за словами; но должен сказать: «положить душу за книгу!»... подумаю, но для библиофила — и думать нечего: без книги библиофил как не существует и ради книги библиофил готов на все.

Начал я собирать с первой прочитанной, когда, не находя места от переполнявших меня чувств — итог семилетия моей жизни, — я победил в себе какой-то непонятный страх перед печатным словом, а затем и сам написал, как пишется в книге, мой первый рассказ: «Убийца».

Первая книга, положившая основание нашему книжному собранию: «Рассказы» Андрея Печерского, первое издание, в переплете и большой сохранности; книгу купили на Сухаревке за двугривенный — цена карнет-а-пистона, погубившего своим неожиданным вылетающим неприличным звуком мою музыкальную карьеру. И это знаменательно: Андрей Печерский!

П. И. Мельников - Печерский, ученик Гоголя, не «оркестровый», как Аксаков, Достоевский, Тургенев, Писемский, Щедрин, а «копиист» а между тем, от него я веду мое литературное родословие («Посолонь»), считаю его своим учителем при всем моем несозвучии с его искусственным «русским стилем», и Андрей Белый (Б. Н. Бугаев), едва ли даже прочитавший «В лесах» и «На горах», сам блестящий «копиист» Гоголя («Серебряный голубь»), и, наконец, Горький — в своем лучшем, что не может не остаться в русском слове: «Фома Гордеев».

Второй книгой, тоже купленной на Сухаревке, оказался (ведь все «случайно»!) Горбунов — за гривенник — цена турмана, из-за которого однажды меня колотили — упустил! — смертным боем, норовя «под-душку», и навсегда вычеркнули из голубятников. И Ф. Горбунов — и это тоже знаменательно!

Сцены Горбунова — репертуар нашего театра, я знал его наизусть, но литературно он меня никак не тронул, оттолкнул: мне вообще чужда манера «рассказчика»; у Горбунова она общая с «народным», прославившим Писемского («Питерщик» и «Леший»); этот рассказчик всегда кого-то представляет и «коверкает» (имитирует) — неловко слушать. От Горбунова пошел тот легко усвояемый «русский стиль», который можно назвать «анекдотическим», любители на такое

всегда найдутся, но «Русской» литературе ни тепло, ни холодно.

Все мои братья тянулись к книге. Я не знаю, в чем было больше соревнования: в голубях, в бабках или в книгах. Как себя помню, помню книгу в нашей бывшей красильне. И скоро всем стала известна наша книжная страсть, и первый подарок на Рождество: Анненковский Пушкин в синем переплете от тетки Капустиной, и иллюстрированные «Вечера» и «Миргород» Гоголя — от Найденовых.

Роскошного семитомного Пушкина страшно было тронуть — вот откуда «библиофил!» — мы только любуясь смотрели на книги, ревниво следя, чтобы кто-нибудь из нас не замуслил пальцами. К нашему счастью, брат, который писал стихи и вел аккуратно дневник, достал «по случаю» однотомного Пушкина и уж не расставался, читая вслух, и плакал над «Капитанской дочкой». Так мы узнали Пушкина.

А Гоголь мне пришелся не по зубам: и то, что не по «русски», чего-то не привычно... тоже говорили, что очень смешно и страшно, но ничего смешного и страшного я не почувствовал, а рисунки слепые — для моих глаз ничего не вырисовывалось. Потом я понял, что Гоголя надо изучать; но как и в первое чтение, так и теперь, зная наизусть, ничего смешного не нахожу, и отзыв Пушкина о смехаче Гоголе не понимаю, а что до страха... я беру лучшее, а может быть, и единственное произведение Леонида Андреева: «Вор» и спрашиваю свое чувство: что страшнее, то ли, когда тебя ловят, преследуя по вагонам, или во сне хватающая руками ведьма-панночка в «Вии»?

Всякую новую книгу, появлявшуюся у нас — источник один: голуби на Трубе, книга на Сухаревке, а насчет денег «история умалчивает», ну, спекуляция с голубями, тоже всякие «находки»... и книгу и разрозненные журналы мы регистрировали. Составлялся каталог нашей библиотеки, чем мы очень гордились.

И когда здесь, в Париже, русская инфирмьерша Нина Александровна Попович, появившаяся у нас по беде со жгу-

чими «банками», оглядев наше берлинское и парижское книжное собрание, объявила, что она тоже собирает, и у нее уже двести книг, я ее очень хорошо понял, ее чувство гордости обладательницы таким, ни в чем несравнимым сокровищем: *книга.* И когда Шаповалов, рассыльный гастрономического магазина «Рами», тоже не сказал, а объявил, и это очень важно: интонация! — что у него пятьсот книг, не считая разрозненных журналов, я ему от всего сердца посочувствовал и пожелал собрать тысячу, а разрозненные дополнить недостающими, чтобы хранить комплекты.

И всякий раз меня радует, когда встречаю человека, который хоть как-нибудь, боком, тянется к книге. И как я могу себя чувствовать среди спортсмэнов! И мое сиротство, не покидающее меня в домах с теесефом, но без книг! Любви своей никому не навяжешь, знаю, но и свое сожаление, а часто досаду тоже не вытравишь и не скроешь.

Никогда не забыть, как после России, где остались все наши книги, мы очутились в Берлине среди голых стен, и какое это было счастье — «Мертвые души», первая купленная книга заграницей, положившая основание нашей бедной библиотеке. Но и при всех бедовых случаях нашей жизни, и бедствиях общечеловеческих, мы никогда с ней не расстаемся, храня и разрозненные, и перевозим с собой при перемене квартиры: так за эти годы пропутешествовали наши тяжелые драгоценные ящики — с авеню Мозар на бульвар Порт-Рояль, с Порт-Рояля в Булонь, и опять в Отэй на рю Буало; очень это чувствительно, но и неизбежно, как покупка лекарства.

А сколько раз слышали: «бросьте!». Это говорили те «благожелатели», которым всегда есть дело до другого, у них особенные вынюхивающие носы, и которые всегда осуждают нас и особенно интересуются, сколько у нас комнат, и они правы: книгам надо место, а стало быть поселиться в норе никак невозможно! А ведь именно «нора», по их убеждению, и есть наше место... и они правы, скажу больше, нам место — и нора черезчур!

И сколько раз я слышал и слышу: «почему вы не пишете?». И это говорили тоже благожелатели, но у которых язык не повернется сказать «бросьте ваши книги!». Обыкновенно я или отмалчивался или говорил невпопад, очень мне это надоело. Но наконец нашел формулу и уж не смущаясь и без раздражения повторяю попугаем отнюдь не попугаям: «Не я не пишу, а меня не печатают.» — «Как? почему?» — «Нет места.» И плакат, заготовленный для посетителей, чтобы на стенку повесить, украшенный моими маленькими рисунками: «Не спрашивайте: почему я не пишу?» — я бережно сложил и спрятал в архив, в отдел, называемый: «День зарубежной Русской культуры.».

С каждым годом превращаясь из «писателя» (я подразумеваю профессиональное звание человека, реализующего свое ремесло) в пишущего, но не печатающегося и не выпускающего своих книг, завитущатого «книгописца» и иллюстратора — в Париже, городе художников, «самодельно» рисую картинки с расчеркивающимися подписями в своих рукописных единственных экземплярах, — для России попадаю в — «несуществующие», а для зарубежья, в большинстве далекого от всякой литературы, — в «бывшего»... вы меня поймете — ведь мы существуем милостыней, подаянием или, говоря словами «Живых мощей»: «А добрые люди здесь есть тоже»... вы понимаете мое чувство: нет у меня никакой возможности и даже не могу мечтать (стало быть, и с мечтой, как будто независимой и наперекор прущей, можно расстаться — погасить или вырвать!), да, я давно уже не мечтаю купить книгу.

Часами готов, и под дождем, — и терпеливо выстаиваю перед витринами книжных магазинов, любуясь — и как понятно мне тогда: «библиофил» — его, чуждая мне, читателю, природа: библиофил есть только ревнивый и страстный обозреватель книги! Иногда же я решаюсь и, набравшись смелости, вхожу в магазин. Приказчики все это хорошо понимают: присмотрелись, вед такой, как я, не один перебывает

за день бесполезно — не спрашивают и отходят в сторону... потом я ухожу, кивая и глазами так — и за все благодарен! — в глаза, которые, щадя меня, не замечают.

Не однажды видел я, но раз особенно запомнилось: человек перед витриной с деликатесами — и как стоял он и высматривал, всматриваясь до осязания, я понял, что это голодный. А что если бы вдруг все это вкусное и соблазнительное нагромождение взлетело бы на воздух? — да этот голодный, пожалуй, и не заметил бы, ведь все равно не для него оно заготовлено! а если бы и спохватился, то непременно позлорадствовал бы, что так и надо, и: «что? — съели?!» Я понимаю. Но какая разница: паштет с заливным, который до засоса тянет к себе и никогда не попадет тебе в рот, или вот как я таращусь? И что если снаряд упадет не в деликатесы, а в книги? Не могу без горечи читать о пожарах библиотек и возмущаюсь, слыша о расхищении книжных сокровищ... и пусть с витрин книжного магазина ни одна книга не попадет в мои руки, — не согласен!

Только из авторских подарков пополняется наше собрание. И я могу похвалиться перед Шаповаловым, что у нас теперь куда больше тысячи и есть старинные рукописи: четыре грамоты, один «столбец», шестьдесят семь Петровских рапортов (подарок С. Л. Полякова-Литовцева); и редкая грамматика Ломоносова, по немецки. Читаю я неторопливо: только глазами, как это принято, не умею; навостря уши, я переговариваю строчки, разлагая слова. Больше всего люблю сказки, потом исследования; люблю философию и историю, не пропущу ни одного Алдановского рассказа, и конечно люблю «поэзию», но больше там, где поменьше стихов. Равнодушен к «юмористике»: просто мне ничуть не смешно; не умею читать «театра», и всегда раздражаюсь от проповедей: мне всегда казалось, что беспредметные рассуждения о добродетелях пишутся людьми, которым нечего делать или у которых на настоящее доброе дело не хватает ни воли, ни сердца, ни уменья — и вот размазывают, и как будто не возра-

зишь, а уши вянут. И редко за чтением не рисую. Вы наверно слышали, есть такой инфрит из породы маридов: семиротый, горбатый, с четырьмя прядями до самых пяток, руки-вилы, а ноги-копыта дикого осла с когтями льва; а зовут его «Кашкаш». Видел его однажды Ала-ад-дин, и мне он небезызвестен, ну как же пропустить, не нарисовать такую «симпатичную личность!»

КНИЖНИК

Из самого раннего детства сохраняю память на имена: о Погодине, Самариных, Аксаковых, Киреевских, Хомякове, Страхове, Леонтьеве, Каткове, Забелине. Возможно, что некоторых из них я видел, а запомнил лишь одного Забелина, поразившего мое воображение рассказом о московских мастерах-книгописцах и первопечатнике Иване Федорове.

Образ Ивана Егорыча Забелина ожил и как бы продолжается в костромском книжнике и ученом археологе Иване Александровиче Рязановском, встреча с которым также неизгладима, а чувство мое признательно и благодарно.

При всех своих необозримых познаниях в истории и археологии, Рязановский кроме обязательной юридической работы при окончании Ярославского Демидовского лицея, в жизнь не написал ни одной строчки — явление едва ли не наше только, русское! — но изустному слову которого обязаны в своем чисто «русском», что останется навсегда, и Чехонин и Кустодиев, а через Кустодиева Замятин, в его лучшем — «Русь»; знаю, что и М. М. Пришвин добрым словом вспоминает «костромского старца», и для Г. К. Лукомского имя «Рязановский» не безразлично.

Значение изустного слова Рязановского в возрождении «русской прозы» можно сравнить только с «наукой» самого из всех «знающего» громокипящего Вячеслава И. Иванова в возрождении «поэзии» у стихотворцев.

Я подразумеваю «русскую прозу» в ее новом, а в сущности древнем ладе: в ладе красного звона и знаменного распева, в ладе «природной речи», и в образах русской ико-

ны; лад этой прозы мало в чем совпадает с Мельниковым-Печерским, еще меньше с Горбуновым и никак с гр. А. Конст. Толстым.

Остервенелый «западник», исповедник «римского права», зачарованный музыкой природной русской речи, угличким звоном, церквами Романова-Борисоглебска, годуновскими миниатюрами, впитавший в себя самую русскую музыку, выговаривающуюся с такой ясностью у Мусоргского в рассказе о исцелении слепого у могилы Димитрия царевича, — Рязановский наперекор Брюсову с его «парижской» культурой, Кузмину с его элегантной «прекрасной ясностью» и Сологубу с его шикарным «провинциализмом», наперекор всей этой чванливой и смехотворной компании — «у нас все, как в Европе»! — годами только о русском и рассказывал (повторяю, писать он не мог), расценивая слова на слух, на глаз и носом, и восхищаясь своими русскими книгами от Киево-Печерского патерика до Новикова (ударение на «кова»).

А познакомил меня с этим необыкновенным человеком М. М. Пришвин, счастливый на встречи, как с птицей и зверем, так и с человеком. И во все наши петербургские годы: в предгрозные сумерки салонного «богоискательства» — в царство Леонида Андреева с непосильными для его таланта с-ног-сшибательными темами о «человеке»: Иуда, Лазарь, Семь повешенных! — и в распутинскую войну и в смутные обнадеживающие керенские дни революции и, особенно, в беспросветные вечера опыта механизации живой человеческой жизни, Рязановский был нашим всегда желанным и неизменным, верным гостем.

Мне посчастливилось неделю провести на его костромской родине. Она не в пример «иностранному» Петербургу, где он был совсем незаметным и в общем порядке людей нетитулованных, громко выделяла его самыми разнообразными знаками внимания... от дверей его дома на Царевской (теперь Пролетарской) время-от-времени весь тротуар устилался дорожкой, как «орлецами» перед архиереем, но какими! — и никак не минуешь, обязательно попадешь ногой. Любители

поиздеваться над непохожим, даже обреченным на молчание, и именно за свое молчаливое безучастье к их жизни, ненавистным человеком, с избытком и безнаказанно отводили упорную в своей правде и своем праве зловонную душонку.

За неделю среди книжных сокровищ я не то что выкупался, а прямо сказать выварился в книгах. В эти незабываемые дни не могло быть и речи заснуть. Сам бессонный хозяин подымал меня ни свет, ни заря, да и среди ночи, вдруг вспомнив о каком-нибудь замечательном первом издании или рукописной, мне очень полезной книге, он входил ко мне со свечей по-ночному в халате с уцепившимися и висевшими на концах пояса котятами, от которых он отбивался, но не руками, занятыми книгой и свечей, а своим костромским окликом с торжественным «о». Уткнувшись в книгу и уже забыв обо мне, он вычитывал восхищавшие его строки или, оглядывая книгу через двойные очки, принимался рассказывать историю ее, припоминая мелочи покупки и о собственнике-предшественнике и тоже книжнике. За семь дней и семь ночей я узнал о книге не как о библиотечном явлении, но о книге в ее сущности, о книге в «себе самой», и понял, что такое книжник в царстве своих книг. Ведь, не будь Александры Петровны, он и о еде не вспомнил бы, да и я просидел бы голодом. Только мне было все равно: я сам весь был в в книге.

Сохраняю мою костромскую память — «рязановскую» в моем «Стратилатове» («Неуемный бубен») и в «Пятой язве».

*

Моя мать — урожденная Найденова. Брат ее Николай Александрович Найденов известный торгово-промышленный деятель, председатель Московского Биржевого Комитета и ближайший сотрудник Забелина, и про это знают только специалисты: описание старинных московских церквей — труд циклопический — принадлежит Найденову.

Моя двоюродная сестра Елизавета Арсеньевна Ежова

трудилась над «Писцовыми книгами», делая для него выписки. На Ежову смотрели, как на чудо морское, и называли не иначе, как великомученицей. «На Писцовых книгах, говорили, не мудрено и с ума спятить и уж наверняка глаза потеряешь, а кроме того, — под постоянной грозой человеку никак не выдержать!» Н. А. Найденов не допускал и самых простых описок и никаких вольностей в переносе слов, а что-то будто бы в тексте «неразборчиво»... «я все могу разобрать!» кричал он с каким-то визгом, от которого, как утверждали попадавшие в переделку, сердце леденело..

«Что же это такое эти самые «Писцовые книги», как бы так посмотреть и потрогать?». Мысль, завладевшая мною и не отпускавшая меня. А все говорили, что это никак невозможно и опасно, и ссылались на Ежову «великомученицу», которая работала буквально под замком: Найденов никому не доверял.

В белом найденовском доме была огромная библиотека. Книги начал собирать еще мой дед Александр Егорыч. Впоследствии все эти книги поступили в фонд богатого собрания Московского Биржевого Комитета на Ильинке. А самые драгоценные хранились в кабинете у самого Найденова; там, по моим догадкам, должны были находиться и таинственные «Писцовые книги».

Как-то в обед мы возвращались с урока от Грузинского дьякона Василия Егорыча Кудрявцева: мой брат и я готовились поступить в гимназию. Н. А. Найденов, увидя нас в окно, позвал к себе в дом: а делал он это часто без надобности, «здорово живешь», но, случалось, и для «острастки». Очутившись близко у стола, заваленного рукописями, я вдруг увидел что-то похожее на наши Макарьевские Четьи Минеи...

— Покажите мне Песцовые книги! сказал я, совсем близко наклоняясь к столу, — Песцовые! повторял я, шаря глазами по столу.

— Пес-цовые?

И этот цок: — «цовые» — меня вдруг отдернул, я почувствовал, как весь оледенел; я только и мог разобрат — сквозь вызвизгивало: «песцовые» — и с каким издевательством на «е», переходящим в смягченное: «пёс», передразнивающим мою ошибку...

— Воровать яблоки... бабошники... голубятники.

«Кубарем скатились» как говорили про нас, я это выражение хорошо запомнил, когда мы добежали до нашей бывшей красильни. Я так и не понял, в чем дело, — мне было пять лет, чего и спрашивать! я только почуял какую-то свою ошибку, а лед я почувствовал, как ожог.

В тот вечер мы ходили воровать яблоки. И это было мое последнее выступление. Как всегда, все разбежались, а я, пойманный с поличным, остался под яблоней отвечать за всех. А как только и чем только меня не корили, предрекая позорную участь «вора» и судьбу «бандита», что, как известно, в жизни и оправдалось (был однажды обвинен в «плагиате», а звание «бандита» несу и по сей день!), но мне было не до «вора» и не до «бандита»: застряло и ожогом врезалось: «песцовые».

На одной из лекций Ключевского при упоминании о «Писцовых книгах» я вдруг отчетливо услышал этот визг, прорезавшийся через годы: «песцовые»! Но не бабки, не голуби, а яблоки раскатились в глазах: было это осенью и в Охотном ряду я проходил мимо лотков с яблоками — какие! самые те... золотой налив, из-за которых... Не яблоки, конечно, а «буква», я понимаю, и еще вот что: только книжник может так горячо чувствовать и так беспощадно карать за букву.

Когда у Найденовых собирались гости и случалось тринадцать, посылали за Молчановым: приказчик от Расторгуевых на Солянке, а жил по соседству у Николы в Воробине. Посылали и за нами: мы совсем под-боком. Редко не являлся Александр Максимыч и одет был всегда парадно, русая борода его блестела, рассвечаясь улыбкой: «да-с», «не могу

знать». К гостям его не пускали и за ужином он сидел с нами. Благодушие не покидало его — а ведь мы как скучали! Конечно, не угоди он в «четырнадцатые», ему никогда бы и не приснилось попасть в такой важный дом и находиться о-бок с такими высокими гостями. Но однажды я заметил: правда, на мгновенье вдруг как смело все, и куда девалась русобородая степенность, и все благообразие и улыбка, выработанные тяжелым трудом приказчика, угождающего и хозяину и покупателю, слетели без остатка, и глянуло сурью, беспокойно-сверлящий и такой усталый взгляд, — и я узнал в его лице Николая Максимыча, брата, с которым он не ладил.

Александр Максимыч широкий и мягкий, трезвый человек, семейный; сын его учился в Александровском Коммерческом училище. Николай Максимыч весь в рост, костлявый и черный, желчный, усы Горького, запойный. А жил он один у Николы на Ямах. И чего только не было в его тесной, заставленной квартире: рамки и клетки, картины, мебель, шкапы, но главное — книги: на полу, на полках, на подоконниках, на смятой неубранной постели и под кроватью, и даже на кухне с окном в палисадник: квартира не отапливалась. Это был первый книжник, которого я увидел близко, но не как Найденова, а по-человечески.

«Озлобленный» по словам матери, он всех презирал. Как мы жили! внешне мало чем отличались от фабричных детей, но и нас он встретил сурово и с брезгливостью — это была его манера и говорить и держаться, когда он подозревал «благополучие». Мы покорили его своим любопытством к книге.

От него я впервые услышал о Некрасове: это был его любимый поэт и читал он его вдохновенно, с горящими глазами, задыхаясь от кашля; он него узнал я и о другом его любимом писателе: о Марлинском, которого ценил он выше Гоголя по блеску и ливу слов.

Когда случился пожар, а произошло это ночью, а загорелось у Молчанова и как раз, когда Николай Максимыч

безумствовал» в запое и, воплощаясь в Некрасова, словом-огнем Марлинского жег всякое благополучие, где бы ни попадало оно по всей земле, и все сгорело, весь хлам и все книги, а сам он едва выскочил. Но, как потом рассказывали, успел-таки вырвать из огня и вынес какую-то свою заветную книгу и, обгорелый, не на себе тушил он, а затлевшие-ся страницы... я понимаю, это было первое издание и, может быть единственный экземпляр.

ОТШЕЛЬНИК

Мне вспоминаются приглушенные голоса, передающие известие: «убили государя». Говоря, озираются с той опаской, как под надвигающейся неминучей грозой. В доме нет комнаты — из всех углов протягивается тревога: она, как черная тяжелая полоса — рельса, упавшая мне на сердце.

Я четырехлетний, но с резкой памятью, скрашенной моей кровью, неизгладимой памятью, начавшейся с двух лет, когда, упав с комода, я разорвал себе верхнюю губу и переломил нос, я почувствовал эту тревогу, как будто сам был ответственен и мне что-то грозило.

И из всех,я это сразу заметил, особенно встревожена была мать.

Потом я узнал, что среди арестованных в Москве по делу 1-го марта были те из ее близких знакомых, с кем связана ее молодость, дорогая пора ее жизни, оборвавшаяся, как я узнал еще позже, с ее самонадеянным, непосильным как оказалось, решением наперекор себе — своим привязанностям — всему своему духу, «на-зло» (как сказать по-другому?) выйти замуж и связать свою жизнь с человеком, с которым не имела ничего общего, ну — ничего. Отец простой человек, не получивший никакого образования, выбившийся из «мальчиков» в «хозяина», всегда занятый своими торговыми делами — «большая галантерея»! и едва ли в жизнь свою прочитавший хоть какую-нибудь книгу. И вот с «адом в сердце и с адом в мыслях» прожила она с ним пять роковых лет, как в родильном приюте (это ее слова), и с четырьмя детьми, а было всего пять, погодки, я всех младше и последний, с нами, со своим наглядным «показа-

тельным» (вот полюбуйся!) «проклятием», в цепях зачем-то народившихся детей, ни в чем не обвиняя отца — да и в чем же его вина? — с той же решимостью, но уж последней и, может быть, с тайной мыслью вернуть — поправить «непоправимое», уехала к своим братьям, нисколько не одобрявшим ее решения, доживать под их суровой «расчетливой» опекой свою хряснувшую жизнь с «адом в сердце и с адом в мыслях», нет, горячей и безнадежнее — с мелькающей, дрязнящей, пронзительно - яркой точкой в беспредельной пустоте своего черного зрения. И имя «Машенька» навсегда покрылось суровым, нет, хуже, безразличным, а для самой себя неизбывным — от себя не уйти! именем Марья Александровна. Мы, дети, звали мать по-немецки: ей это было ближе, напоминало ее собственное детство — школу.

В «Ниве» я увидел картинки: «похороны государя».

Ни похоронная процессия с нарядными кавалергардами, гарцующими на конях вокруг высокой, украшенной перьями траурной колесницы, ни подушки с орденами, ни портрет государя в гробу с пустым рукавом, без руки, и рваной щекой, а «убийцы»-революционеры и среди них особенно женщина; а затем протокол суда, его вслух читала мать, и приговор: «к повешанию» — «повесят!» повторяемое, как эхо, и с той же приглушенностью, как первое известие «убили», — ущипнуло меня, заслонив «убийство».

Я по-своему все себе представил: я стоял на какой-то воображаемой улице, напоминавшей пустыри под Симоновым, на пути, по которому везли приговоренных к казни, затаенно, провожая долгими глазами «позорную колесницу» (слово, тоже запомнившееся из какого-то отчета). А было серое осеннее утро и утренник пощипывал спину и во мне вдруг зазвучало — этот мотив я долго не мог исжить. Ни «Боже, царя храни», которое я тогда впервые услышал, ни церковное пение — мои первые всенощные и обедни, не могли заглушить его: я потом узнал, и вот уж неожиданно и

без всякой связи, в запетой песне: «Тихо туманное утро столицы...»

В «Ниве», а я ее подолгу рассматривал, как буквы и концовки старинных «Четий-Миней», я увидел и запомнил другие картинки: похороны Тургенева и похороны Достоевского и портрет Писемского в черной рамке — и мать мне сказала, что это «писатели» и каждый из них написал много хороших книг. А о картинках с солдатами и пушками, взрывом и пожаром, с генералами: Скобелевым и Гуркой — что это «турецкая война», год, когда я родился, и что есть рассказ о этой войне — «Четыре дня» Гаршина.

Тургенев, Достоевский, Писемский, Гаршин — первые имена, о которых я услышал. И из всех в мою зрительную память врезался неизгладимо Достоевский, и когда я смотрел на его портрет, во мне звучало; потом я узнал этот мотив в щемящих взвизгах Мусоргскаго.

Мы росли на Найденовском фабричном дворе.

Помню все свои «безобразия» и вольные и невольные: невольные происходившие от моего без-образного склада, таким зародился, и вольные — от игры в безобразие. И больше помню себя в стороне от моих братьев и сверстников — фабричных. Я часами просиживал один за рассматриванием картинок, когда другие играли на дворе. Эта обособленность и замкнутость вышли из-за моих близоруких глаз. А далось не легко. Но это был единственный для меня выход.

Я не играл в бабки, потому что, как ни прицеливался, никак не ухитрялся попасть, а все закидывал мимо, и не раз попадал в того, кто ставил бабки, — а за это меня колотили. И в драках, по-нарошку и по-заправду, как в игре, так и в задоре, если я наскакивал, мне всегда доставалось: рассчитать удара и во-время уклониться я не мог; и уж непременно угожу в середку, а это значит, как пить дать, вздуют. И голубей я не гонял с тех пор, как упустил, за что и был жестоко избит: помню, норовили «под душку», а это уж не то, что больно, а в глазах темнеет. И за яблоками перестал

ходить: другие трясут и ничего, а я непременно попадусь — кто-нибудь да увидит, кого я с моими глазами никак не увижу. И вот получилось: на людях — с фонарем под глазом или пойманный с поличным, и уж если не с фонарем, то все равно за всех в ответе. Так в комнаты меня и загнало. И получил я прозвище: «отшельник», с прибавлением «оглашенный» — а это за те мои безобразия, всегда неожиданные и часто ставившие в дураки потерпевших, что, как известно, не забывается и особенно дураками.

На Найденовской бумаго - прядильной фабрике работали дети. И из всех фабричных подростков я водился с одним только Егоркой. Это был тоненький, с такой тоненькой шеей, что если бы она вдруг порвалась и голова его отлетела, никто бы не удивился, а дикий — никто никогда не слыхал от него слова, а если его спрашивали, он срывался и убегал, как кошка. Ни в каких играх Егорка не участвовал.

На Найденовском дворе водились куры. Плотники везли тес, курица попала под колесо и ей отрезало ногу. Егорка подвязал ей вместо ноги палочку, и она, ковыляя, пошла — и ходила по двору на своей деревянной ноге, но не с курами, а всегда одна. Очень это было чудно смотреть. Курица-деревянная нога нас и сблизила.

Обоим нам очень хотелось проверить: какие у курицы будут дети: с палочками или без палочек? По моему наущению Егорка подкладывал под нее разные яйца — сама курица с перепугу больше не неслась! И не только яйца от других кур подкладывал Егорка, а и вороньи и голубиные. И ничего не получилось: никаких палочек! Но мы не отчаивались и терпеливо ждали, подложив, как последнее (а по моему уверению, и самое верное), каменное....

Я показывал Егорке картинки из «Нивы». И не только показывал, а и напевал. Он внимательно слушал, вытянув шейку, и о убийстве государя, «убийцах» и их казни, и о писателях, оставивших много хороших книг, и продолжающих жить в этих книгах, и о войне, сравнивающей с землей

города и неприступные крепости, о войне с геройскими подвигами: один — на всех!

Егорка беззаветно мне верил, во все мои невероятные рассказы, слагавшиеся из представлявшегося мне — «моим подстриженным глазам» и из виденного во сне, что у других вызывало смех, а у старших неизменное замечание — «фантазирую», а под сердитую руку или так, выводя меня на чистую воду: «заврался!»

Вы знаете, что такое «хам»? Вы думаете, что это что-то растрепанное, наглое, какая-то «неблагодарная скотина»? — ничего подобного: «хам» — сама беспощадная справедливость, короткая правда холодных глаз. «Чего ты все врешь?» — сопровождаемое злорадным обличающим окриком, в котором всегда превосходство и презрение. Я, как вдруг разбуженный, тряс головой, и было чувство, что я раздетый, или сжимался весь в горошину и вздрагивал от охватившего вдруг холода и хотелось уйти куда-то, спрятаться, закопаться... ведь я уж догадывался, что у меня что-то не так, какой-то «порок». Но почему же тот же Егорка... и разве для него было незаметно и все так гладко это «мое?» — Егорка «покрывал», вот оно что! Как покойника покрывают добрыми словами, как покрывают «грех», — Егорка покрывал то сумасбродное мое, чему он, при всем доверии, едва ли мог поверить — а все потому, что вот он «дикий», ни с кем не друживший, со мной водился! Есть «правда» — она большая и горячая чувством, а то суровое, и по своему всегда справедливое, но однобокое, и тоже «правда», и есть «хамство». «Хамом» может быть самый порядочный и уважаемый среди людей. Я это *так* чувствую и так давно узнал, с первых моих лет.

Во время обеда, в перерыв, когда рабочие расходились по своим коморкам, а другие в общий деревянный корпус-«спальни», прибежала мать Егорки и, взвизгивая, как собака с переломанной лапой, давясь, сказала сипло: ее Егорка по-

пал в приводной ремень и маховым колесом раздавило его на смерть.

И все мы прямо из-за стола, с повязанными салфетками, побежали на фабрику. Я ждал чего-то очень страшного: оно представлялось мне по своей сражающей огромности похожее, — видел раз вечером на Яузе, — распухший синий косматый, облепленный раками, и оттого шевелящийся, как живой утопленник.

Егорку уже вынесли из машинного отделения: на щебне около чугунных дверей при входе он лежал — все, что от него осталось. А это были какие-то комочки, покрытые обрывком рогожки, и из-под рогожки — я близко наклонился — на блестящих осколках стекла синие расплющенные пальцы, как ленточки.

Обеденный час. Даже собаки отдыхали: и три белых маленьких злых, подтишковых, никем нелюбимые, и страшные цепные — Полкан и Трезор, и наши — Белка, Мальчик и Шавка. И только курица-деревянная нога ковыляла около.

Я смотрел и не мог оторваться.

И вдруг почувствовал, как будто меня ударили поддушку: в моих глазах из разорванного пространства вывалились блестящие зеленые куски... и эта живая зелень переливалась бездушными ленточками-пальцами — все, что осталось от человека. Но для меня и этого было довольно: я понесу их с собой в моей отравленной горечью, в моей «порочной» — не вашей, памяти на всю жизнь.

УБИЙЦА

10 мая, в день въезда государя (Александра III) в Москву на коронацию, умер отец. Мне не хватало месяца до шести лет, а матери в апреле исполнилось тридцать пять; и пять лет, как жила она с нами отдельно.

Накануне нас возили в Большой Толмачевский переулок прощаться.

Я не узнал отца. В редкие его приезды к нам, в Сыромятники, я его вижу с черными усами, пахнущими фиксатуаром, нарядного, как с картинки («Большая галантерея!») и драгоценный перстень на указательном пальце, вспыхивающий белой искрой, резко для моих глаз, и вдруг — в халате седая борода и никакого перстня... И всегда он шутил с нами, и меня и моего брата, который был «умнее меня на год» (его всегдашний последний довод в спорах!), называл за нашу мелкоростлость «гвардейцами», а теперь суровый и молчаливый в кресле, и рядом блестящий холодный аппарат с кислородом: и руку его поддерживали, когда он, каждого отдельно, крестил нас, и рука была опухшая и влажная.

Кроме нас, были наши сводные братья и сестры — дети от первой жены. Я увидел их впервые: все они были взрослые и непохожие, — и я не знал, как мне их называть: Миша? Володя? Женя? Надя? Маша? Отец был старше матери на двадцать лет. Старшая сестра Марья Михайловна увела меня с братом в залу.

Я посмотрел в окно: зеленый двор; огромный кучер в красной рубахе провел огромную вороную лошадь. И мне вдруг стало тревожно, точно кто-то решающий и неуловимый вошел в комнату и затаился до срока. Из комнаты, где за-

дыхался отец (он умер от осложнившегося плеврита), вышла младшая сестра Надежда: она подала мне фарфорового медвежонка и яйцо со змейкой. Игрушки развлекли меня, и я успокоился.

Эти единственные игрушки, — кроме кубиков у меня ничего не было, — единственная память о отце, я долго берег их; и завет: «медведь» и «змея»... но вещая теплота медведя, его сокровенное имя «он», как и мудрость змеи *так* не даются, — и как ни швыряла меня судьба, что-то не заметно: ни вещего в моих словах, ни мудрости в моих поступках.

Особенно мне понравился медвежонок; не расставаясь, я ехал с косолапым домой, держа его в руке. Навстречу попадались герольды, играла музыка. Забыв о медвежонке, я таращил глаза и прислушивался: мне самому хотелось быть серебряным всадником — таким вот блестящим великаном на коне! И долго потом меня не оставляла эта мечта, и когда меня спрашивали, кем я хочу быть, я неизменно отвечал: «кавалергардом». Конечно, надо мной смеялись, как смеялись над моим братом, который был «умнее меня на год»: он тоже мечтал — он хотел быть водопроводчиком: из него вышел впоследствии бухгалтер, а что сталось с моей блестящей мечтой? Вижу один непрерывный труд, годами — без отдышки, кротом рою землю, а никогда не кончу, и это — все?

Еще дважды был я в доме, в Замоскворечье, где я родился и где прошел первый год моей жизни под Кремлевский красный звон и бой часов на Спасской башне. И еще раз я видел отца, но по другому.

Его нарядили в лиловый халат, а на ноги черные, без задников туфли. И когда стали класть в гроб — я таращил глаза, как на серебряных герольдов — ему подняли руки. И эти лиловые руки под потолок, как торчащие крылья, у меня в глазах.

Что-то мешало — или гроб не по мерке? — никак не могли втиснуть и вдруг хряснуло... и гробовщики, вытираясь рукавом, отступили: все было в порядке. И этот хряст я слышу... в бурю на океане или в нашу русскую метель, когда

кричит она на-голос полным, до ушей раздираемым ртом, вдруг — — а потом завоет тянущим душу воем, я его различаю.

А когда у Николы в Толмачах, после отпевания я в очереди за братьями и сестрами, девятый и последний, поднялся к гробу «прощаться», — я узнал отца. Он был прежний. И только от бумажного «венчика» на его высоком лбу и подсиненной белой подушки, он казался необыкновенно чистым желто-темным, как воск, а из-под черных нафиксатуаренных усов, — бороду ему сбрили, — из угла рта на подбородок густая текла струйка сукровицы. Поцеловав «венчик», как мне было сказано, и такую же темно-желтую восковую руку, я не мог оторваться, следя за живой извивающейся струйкой. Змеей бежит она в моих глазах — в моей мучительно-резкой памяти, вижу ее, как те лиловые, крыльями торчащие, руки под потолок.

На Даниловское кладбище нас с братом не взяли, только старшие поехали. Я сидел один у окна в зале — кругом суетились, гремели посудой, не обращая на меня внимания. Окно выходило во двор. Яркая майская зелень приковала меня — никогда я не видал такого резкого режущего цвета, и плыли в глазах красные струйки; я жмурился, хотелось поймать, а они наплывали, не поддаваясь.

И я подумал, вспомнив такую же красную змейку, струившуюся по подбородку отца: «...и даже смерть не остановит, а это и есть «жизнь бесконечная»!».

За поминальным обедом не было пустой комнаты, весь просторный дом был уставлен столами, и даже в прихожей сидели гости, но я никого не знал, не отличая и своих сводных сестер и братьев. Мы сидели с матерью в столовой за главным столом. И с нами толмачевский священник, протоиерей Василий Петрович Нечаев, и ноздреватый дьякон (впоследствии схимник Алексий), известный, как начетчик от Священного Писания, но главное от Достоевского, и своим громоподобным чёхом, а из Найденовых старший брат ма-

тери Виктор Александрович, наш крестный отец, и это нас стесняло.

И когда поминальными блинами закончился долгий обед — по шуму и оживлению можно было судить, что напились и наелись всласть! — и дьякон проревел громоподобно «Вечную память», мать поднялась из-за стола. И к ней стали подходить. За священником подошел старший из моих сводных братьев и поцеловав ей руку, подал тот самый перстень, я его хорошо запомнил у отца. И она молча взяла его — и тут произошло... и почему-то вдруг затихло, как будто, кроме нее, никого во всем доме, и это был один сверкнувший миг: подержав в руках перстень, она швырнула его через стол — в «холодный угол».

Медленно возвращались домой на извозчике — канун коронации, улицы и переулки забиты солдатами, музыка. Я сидел у матери на коленях, и весь бесконечный путь из Толмачей в Сыромятники я чувствовал, не решаясь обернуться, как вся она вздрагивала. И единственное, что вырывалось у нее и сжимало меня, одно было захлебывающееся слово: «проклятие» — оно относилось к тому, теперь мне ясно, к тому непоправимому (теперь ей ясно!), своему, к себе, но для меня тогда — я чувствовал какую-то свою вину... в моих глазах, как те кровавые по зелени змейки, сверкая, колол отшвырнутый прочь драгоценный перстень и музыкой мучило меня.

*

С пяти лет начав грамоту у Грузинского дьякона Василия Егорыча Кудрявцева, семи лет я поступил в 4-ую гимназию. Большое для меня событие: начало моей каллиграфии и мои первые «испредметные» рисунки. А когда я овладел «завитком» — наука учителя чистописания Александра Родионовича Артемьева и готовился править руку на «параллельных» под абсолютным глазом И. А. Иванова, и уж начал остервенело дудеть, упражняясь на корнетапистоне, из ко-

торого неожиданно вылетали звуки, по определению моего учителя А. А. Скворцова, птичкой «пердри», произошли другие события, проведшие резкую грань в моей жизни и завершившие мой семилетний возраст: от моей разорванной губы и переломанного носа до первой прочитанной книги и первого написанного мною рассказа...

Пришел конец и моему любимому, моему спутнику и товарищу, в последнее лето заменившему мне несчастного, попавшего в маховое колесо Егорку: «приказал долго жить» Наумка, дымчатый кот с седыми усами, мой ровестник.

«Играя, я наверное мучил тебя, ну, что поделать, такая у детей повадка! но никто так и не заботился о тебе, ты не мог пожаловаться на заброшенность — сытно и в тепле пожил! И никто тебе так не «мурлыкал» (это так мой разговор с тобой ты переводил себе на свой язык) и скажу про себя... кто еще так внимательно меня слушал и кто так в ответ мне на мои «фантазии» потягивался и улыбался!».

Чего только я не сделал, чтобы мягко было лежать коту на земле: на Найденевском дворе у забора к Яузе я вырыл яму, всю травой устлал и одуванчики положил — эти желтые птички, любимое Наумки! в последний раз потрогал его за бархатную лапку — «простился». Я слышу, как с последней горсткой земли в зеленую, как его зеленые глаза, могилу, как ухнуло камнем в воду, и вдруг я почувствовал, что кануло что-то — семь лет нашей жизни ? — и я другой.

Наконец ушла наша первая нянька Настасья Ананьевна Шитова, суровая, с лицом без лица — лопата! Давно она предупреждала: «сладу нет!». И собирая свои вещи говорила себе по-нос: «семь лет каторжной жизни!». Я понял, что это про нас. И мне было совестно смотреть ей в глаза. И жалко, когда, прощаясь, она вдруг заплакала, и безулыбное деревянное лицо ее потеплело, и она назвала меня тем единственным непередаваемым ласкательным именем, которым называла меня только моя кормилица.

Отравился Найденовский конторщик Алексей Иваныч Башкиров, пристрастивший нас к театру, «артист» — по

прозвищу фабричных, — и за хороший голос и за беззаботность и щегольство, что бросалось в глаза. В одном белье ворча и корчась, он катался по земле и грыз землю. Летний тихий день моросил дождем и глазам моим было покойно. Изнутри затаенно глядел я... «Науму слишком пятьдесят, а ни детей, ни женки...», слышалось в его ворчанье, его любимое Некрасовское, им читанное не раз, — и мне непонятное. И оттого что это было непонятно и то, как зверски он разгрызал землю, я почувствовал, как изнутри что-то обожгло меня.

Прогнали горничную Машу. Я слышал, как сказала кухарка Степанида и концы ее черного староверческого платка зашевелились: «Догуляешься, девка, до желтого билета!». Этот таинственный «желтый билет», в котором мне почуялось что-то позорное, напомнил мне разговоры о моей первой кормилице, которую заменила калужская сказочница и песельница Евгения Борисовна Петушкова. Ту первую я не мог помнить и вдруг увидел: она представилась мне Машей, научившей меня плавать, — стоя в воде, она держала меня на руках, крепко прижимая к груди. И я почувствовал жгучую обиду, не грызть землю, моя отрава подымала меня с земли: хотелось взлететь на воздух и там кусаться.

*

Весь дом читал книги, кроме меня. Я только смотрел картинки и возился с красками. Я не мог понять, и особенно мать, которая просиживала целые дни за книгой. И вот, не находя себе покою, я взял, что под руку подвернулось. А это была не наша книга, а из библиотеки, я ее помню: в порыжелом коленкоровом переплете, с оборванным номерком, зачитанная, с замуслеванными углами и выпадающими страницами. Это был роман из деревенской жизни; о имени автора и в голову не пришло полюбопытствовать. И, когда я кончил, мне захотелось самому написать, но не как один из моих братьев, который сочинял стихи и вел дневник, закан-

чивая ежедневную запись неизменным: «День прошел и слава Богу!» — нет, написать так, как в этой книге.

В чистой тетрадке для чистописания я начал свой рассказ.

Чувства мои кипели — память моя горела: все-то припомнилось до последних дней, завершивших семь лет моей жизни. Я писал, не отрываясь, «с захлебом», — откуда-то сами приходили слова, «душа кричала!». Мы никогда не жили в деревне и только, что знаю я от кормилицы. А я писал о деревне. И у меня выходила повесть, — мой первый рассказ из деревенской жизни с невинно-осужденной Машей, пожаром и убийством: я — убийца.

КРОТ

Теперь я расскажу, как судьба играет. Наперед говорю: не принимайте к худу хотя бы и далеко не легкое, по себе знаю, ведь в том-то и «игра», что и долбанет и помилует (наградит). Моя игра кончилась тогда чердаком, и это ее рука толкнула меня на чердак — я ничего не знал, я как слепой полез... так бедные зверьки прячутся, — недаром у меня было свое звериное прозвище: «крот»!. А чердак открыл передо мной и волшебный лунный мир, и величайший человеческий гений. И первый запомнившийся сон (не решаюсь назвать «посвящение») мне приснился на чердаке, и в первый раз я прочитал «Фауста».

Она повела меня, моя «наречница», помогла подняться на стул, а со стола — руку протянула вскарабкаться на комод («Эка, угораздило»!, удивлялись потом); а, посадив на комод, с комода же и дряпнула головою об пол — лицом в железо. От моей несмышленности, конечно, такъ объяснили, но была и моя вина: непоседливость! Я не знал еще, что такое «возражать», и у меня осталось, как мое: я сам себя изуродовал — и след разорванной губы, и переломанный хрящик, нос-пуговка. Мне и в голову не приходило подумать тогда, что кому-то и для чего-то понадобилось переделать меня: родился я на один склад, а вышел в мир другим — не-я. А не будь того, что было, не так быть было бы моей жизни.

И вот опять случилось. Но тут я совсем ни при чем: когда на меня сердились, всегда вспоминали: «И нос сломал себе!». Мне переломили жизнь.

Я уж больше не гимназист и никогда не буду в подлиннике читать Софокла и филологом (моя мечта!) мне не быть

и это в то время, когда после запоя, приютившийся у нас сын няньки, половой с Зацепы, принявший имя «Прометей», ревностно учился по гречески. И герб на фуражке у меня не серебряный — *М. 4. Г.*, а золотой: *А. К. У.*, — Александровского коммерческого училища, и все другое — цвет: зеленый бархат с красным кантом, черное с золотыми пуговицами; я донашиваю свою серую гимназическую шинель.

А случилось это ко второму семилетию моей жизни и произошло из «жалости»... В один прекрасный день мне было сказано, что в гимназию мне больше не зачем ходить, я переведен в коммерческое училище, куда переводится мой брат; он был хворый и слабый и в гимназии ему было трудно, — «чтобы не оставлять его одного!». Александровское коммерческое училище основано Н. А. Найденовым, — «попечитель», и был у него помощник Трапезников, но это только для порядку, Н. А. Найденов, как на Бирже, так и в училище, все. С братом он говорил тихо — жалел его, а со мной, не глядя, и резко — то ли не мог простить мне мою ошибку· «Песцовые книги»? или это моя задорная пуговка и всматривающийся глаз раздажали его? «Так чтобы не оставлять его одного!», показал он на брата, и этим дело кончилось, и бесповоротно.

Как не понять! но помириться я не мог. Конечно, кому-то и для чего-то понадобилась эта ломка, но об этом я не думал тогда. И бунтуя, спрашивал ее — я говорил в тьму, тьме говорил, изменчивой моей «наречнице»: «Пожалели брата, а почему меня не жалко?».

И это, как себя помню, был я из всех по общему признанию «грубый» — «грубый человек» (а по мне, и это я рано почувствовал, что если «грубый», то уже и не «человек»!), а грубость моя определялась моей нечувствительностью: и ничем меня не проймешь и никогда не плачу: а ведь известно: слезы — человечность, и лишены этого дара, по Андерсену, только русалки! И то еще приписывалось моей грубости, что я никогда не винился, — я никогда ни в чем

не признавал себя виноватым, хотя бы застигнутый с поличным, как в случае с яблоками.

В раннем детстве я чуть дом не сжег — хорошо, что во-время хватились... Я не отдавал себе отчета, как в полусне, но почему огонь — я знаю. Но теперь я растерялся. И меня не узнать было. Я и прозвище получил «крот» не по глазам, о моей подземной природе никто еще не догадывался, а за то, что я все что-то делал, «рылся, как крот». А тут я и стол свой не приберу «полный беспорядок»! А был у меня слоненок, не как игрушка, а как теперь мой «фейерменхен», цверг в колпачке, всегда со мной на столе, я и слоненка забросил, валялся серый, задрав мягкий хобот. Свою должность няньки я исполнял, но все как-то так, вроде прислуги.

И в коммерческом не так уж легко оказалось, брат захворал. И всегда он очень мучился с головой и теперь, подпершись кулаком, молча сидел у стола, как в клещах, и мне его жалко стало. И я подумал: буду учиться по-английски, прочитаю в подлиннике Шекспира! А скоро и совсем я утешился; конечно, гимназию вычеркнуть никак нельзя, но надо же как-то... меня утешило «meine Muttersprache». На уроках немецкого языка читали «Германа и Доротею». Меня очень занимало. А для «безобразия» я воображал себя «аптекарем»: вы помните его классическое объяснение, чтобы никогда не торопиться и терпеливо ждать? — а стоит только представить себе, как плотники быстро сколачивают тебе гроб, и все нетерпение пройдет! И в этом весь аптекарь и другие его ответы, а такое соблазняет ляпнуть.

Учитель немецкого языка Август Львович Линде выделил меня и был особенно внимателен, прощал все мои ошибки — мои «Remisovische Fehler». Странное дело, Линде когда-то учил в гимназии Креймана; его ученики — В. Я. Брюсов и П. М. Пильский. О своем учителе Брюсов вспоминал с отвращением, между ними была взаимная ненависть. А между тем Линде любил «поэзию», знал наизусть Гете, сам писал стихи; при окончании училища я получил от него

его поэму, аккуратно изданную автором — отголосок «Германа и Доротеи».

Александровское коммерческое училище в Бабушкином переулке. Путь с Земляного вала по Садовой и от фабрики Хишина на Старую Басманную. На Басманной, держась Никиты Мученика, ходил юродивый Федя. Что-то похожее было в его лице на Достоевского, каким он запомнился мне по портрету из «Нивы», и эти острые, скулами съуженные глаза, и редкая борода, развевавшаяся, как у покойника — в мглистое осеннее утро несли раз к Николе Ковыльскому, и из досчатого желтого гроба мне бросилась в глаза такая борода, и без единой кровинки, вот уж мертвенно бледный! А был он увешен блестящими кострюльками и погромахивал, выкрикивая одно слово в такт — «Каульбарс», это как у Горького в «Артамоновых» дурачок Антон свое «Куятыр-Кайямас». А то станет и, не шелохнясь, и в мороз, стоит глазами в карниз красной колокольни — на присмиревших ворон, выглядовавших на него черными клювами из-под снегу: с ними он разговаривал. И под его глазом, случалось, с шумом осыпая его снегом, слетали к нему вороны и важные ходили вокруг под громых и грохот кастрюлей. Детей и собак он любил, это чувствовалось, и мы никогда не обходили его, всегда еще приостановишься, потрогаешь его ордена — так мы его кастрюльки называли, и он всегда так смотрит на нас — мне представлялось, что в его глазах еще есть глаза, а за ними третьи и вот ими-то оттуда он и смотрит на нас, а тут и какая-нибудь потерявшая хозяна или прогнанная со двора собака между ног у него трется. А когда мы давали ему яблоко или что было у нас из сластей — финик или винную ягоду, он никогда сразу не съест, а бережно подержит в руке, подует, приложит себе к глазам и сердцу. Откуда он появился, никто не знал, а кругом все его знали: юродивый Федя Кастрюлькин — Божий человек! На ночь он уходил за Межевой иститут, там пустыри — в разбитом, заброшенном на зиму шалаше он ютился.

Мы возвращались после уроков гурьбой. Навстречу

Федя — издалека он завидел нас и руками что-то показывал. А когда мы с ним поровнялись и я очутился лицом к лицу и полез было в карман, не найду ли «завалящего», чего дать ему, я невольно почувствовал — уже не третьи, как обычно, а десятые его глаза, из самой глуби, смотрят на меня. И вдруг, как прорезанный, вздрогнув — и все его кострюли разом грохнули, — он отшатнулся и, наклонив голову, плюнул мне в лицо — прямо в глаза. Я только заметил, что стоим мы друг против друга одни — все разбежались. С восторгом закричал он свое «Каульбарс-Кайямас!» и, круто повернувшись, пошел. А уж собрался народ, видели! и шептались. Я утерся рукавом, платка никак не смог отыскать, и тоже пошел. Медленно шел я, не по моему, лицо горит — должно быть, рукавом натер! — и режет глаза, промыть бы! И еще я чувствовал, только словами не выговаривалось — это очень трудно сказать! ведь, другой раз и кто это не знает, не то что слово, а чуть заметное, а все-таки замеченное движение, как резанет и долго потом напоминает о себе, как оклик.

Пока я дошел до дому, не только на Старой Басманной, Садовой, Землянке, а и вся Таганка, все знали и повторялось: «Федя юродивый Найденовского племянника оплевал!». А в тот вечер я услышал: «Что же вы хотите, Марья Александровна, — это говорили матери, — если уж и святой человек...». Я было поднялся, чтобы в чем-то оправдаться, и вдруг почувствовал то самое, что дорогой, невыговариваемое, и остался на месте: в чем же мне оправдываться?

На Большой Алексеевской по воскресеньям собираются у братца. Братец, как всегда, встречен был с радостью. На нем была белая вышитая косоворотка на выпуск, а вместо пояска широкая голубая лента — этот чудной наряд его напоминал блестящие кострюли Феди, только не громыхало, а тихо разливалось шелком. И весь он, вымытый, выпаренный в бане, приглаженный, лучистый, ну, подлинно, «свете тихий», и каждое слово его было как свежий ключ, — в нем я узнавал знакомый мне волшебный образ Гофманновской

сказки: ведь он тоже «неизвестный» — «братец» — — и я говорю себе: это ты, безымянная светлая Русь! и вспоминая, слышу твой голос, когда и самое грубое сердце от дыхания этого звука растворяет железные створы, и откликается! Он читал Евангелие от Иоанна, 9-ую главу, о исцелении слепорожденного, как Христос, плюнув на землю, брением помазал слепому глаза и велел промыть — и слепой, промыв глаза, прозрел.

Я чутко прислушивался к разговорам. Но как и чем это меня касалось? Разве я слепорожденный? И тогда, ведь я так и спать лег не умывшись! И где эта купель Силоам или что заменило бы купель: какое ключевое слово или какая «роковая» встреча?

А много о моем случае говорилось. И уж, кажется все переговорили, пора б перестать. И перестали б, но со мной случилась еще история и еще скандальнее — по крайней мере так было понято и особенно падкими на чужие скандалы. И тогда все снова вспомнилось и перетряхнулось...

И разве могу забыть я Пасхальную ночь; Покровскую церковь, бедный приход соседнего сахарного завода, бедноту, приютившую нас?

Я стоял с огромной свечей перед амвоном, где кончается ковер от престола, и на каменных плитах густо посыпан можжевельник. Рядом мой брат с такой же свечей. По привычке я следил за ним, опасаясь, что не осилит и уронит свечу. Никогда еще не приходилось ждать так долго первого пасхального кремлевского удара, с которым начинают службу все сорок-сороков. В прошлую Пасху у Ермолая — из всех московских церквей по быстроте первая, не дождавшись, зазвонили первыми и все часы спутали, но, как слышно, сам Федор Иванович Благов нынче следит за порядком, и от Ермолая ждать нечего, часа не приблизит.

Старик священник — за девяносто ему перевалило — а и в эту свою последнюю Пасху в золотом тяжелом облаче-

нии все такой же прямой и с амвона, в камилавке, всех выше, в его руке красный зажженный трехсвечник, крест и цветы. Дьякон, затопорщенный в стихаре на теплую рясу, тонько позвякивал дымящимся кадилом, колебля, чтобы не погасли угольки. А в ряд со священником и дьяконом, загибая клиросы, по обе стороны прихожане с крестами и иконами, и среди прихожан в ровень со священником мастер от Вогау, Копейкин. А ряды замыкают вынутые из заклепок нетерпеливо переступающие на месте хоругви. Только тоненькие свечи у местных икон и только перед чудотворным образом Грузинской лампады. Тихо льются огоньки, черня мрак купола, все стоят с зажженными свечами, ждут.

Я стоял у всех на глазах и чувствовал, как небезразлично эти глаза устремлены на меня, и из всех особенно: это мастер от Вогау Копейкин — я его встречу потом в «Преступлении и наказании» — и глядел он «угрюмо, строго и с неудовольствием», мещанин Достоевского, и в его взгляде я прочитал себе осуждение: он как бы подводил итог моей переломанной жизни — «один святой человек оплевал, а другой святой человек не благословил!». И в ответ ему оголтело поглядел я, вызывающе озираясь — «Мне на все наплевать!». Но эта страшная сила, ее Достоевский чувствовал и боялся, колесом подхватила меня и, сплющив, как несчастного Егорку, выбросила на камень. Я переступил ногами поглубже в можжевельник и чуть не выронил свечу. «Помертвелыми» глазами, присмирев, я вдруг увидел Лиску с бабушкой Андревной, они протиснулись поближе, и я заметил, что и на «порченую» девчонку смотрели, как и на меня, не безразлично, и в ее испуганных остановившихся глазах я различил ее последнее: «Бабушка я не виновата!» — а эта бабушка, к которой она обращалась, не Андревна, это была одна из тех Матерей, одно имя которых наводило страх, и в суд и в волю которой отдавала себя непохожая лунная Лиска. А еще ближе к священнику, и тоже у всех на виду, высоко запрокинув голову, неподвижно стоял самый богатый прихожанин, молодой Концов — слепой и рядом с ним,

поддерживая его, вся белоснежная, как «мертвая царевна» беспокойно стояла жена его, молодая Концова: в прошлом году они поженились и он ослеп, его лечили и отказались — «болезнь органическая, никакой надежды!». Но разве живая жизнь знает это слово: «безнадежно»? — и вот ее глаза пылали — цветы в огнях трехсвечника, это она и принесла цветы к кресту. И я не мог оторваться от этих пылающих глаз.

И когда, наконец, дождались: гулом прокатился в полночь колокол по Москве и у нас ударили, мы первыми пошли с огромными свечами, открывая путь крестному ходу, и в «Воскресение Твое, Христе Спасе» поплыл мой голос, колыхая огоньки, мне чего-то нестерпимо жалко стало, я и сам не знал, кого жалеть и о ком жалею, и когда моя свеча осветила темную паперть и увидел прижавшихся к стене дрожащих нищих, мне хотелось слиться с этой стеной... но моя свеча под встречным ветром запылала, как глаза белоснежной «мертвой царевны»», и с твердым сердцем я вышел в запруженную народом ограду и гул звуков, наполнявших Москву, чудесной единственной ночи.

И ПОЗОР

Я и тогда был открыт ко всяким бедовым случайностям и неожиданностям. И не скажу, чтобы очень принимал к сердцу, но не могу и не пожаловаться, что все случайное и неожиданное, само-собой нарушая какой-то порядок моей жизни, навязчиво преследовало меня. А и на самом деле, уж не зародился ли я таким грубым, как обо мне говорили? Только не знаю, когда началось — обнаружилась эта приписываемая мне «толстокожесть». Но уверяю вас, — раздумывая, говорю, — не надо было никаких утончающих меня «плевков», я и без того все чувствовал и небезразлично присматривался к каждой тумбе, к каждому фонарю, к каждому прохожему и различал тончайшие звуки до шопота. Или одно другому не мешает? Знаю, меня судят не по тому, как я в себе откликаюсь, а по тому, как выражается этот мой отклик — «бесчувственный». Или, — и это я себе отвечаю, — сложившееся незаметно для самого меня убеждение стало отпором на всякие случайности и неожиданности и одной прирожденной голой грубостью не объяснить мою кажущуюся нечувствительность «оголтелого» и «отпетого», названия, закрепившиеся за мной.

Всегда и от всякого я ждал себе самого лучшего, но если получу стукушку, не удивлюсь и не очень растеряюсь, как застигнутый врасплох: моя безграничная вера уживалась с очень не высокой оценкой человеческой природы, — «от человека всего можно ждать!».

А еще я заметил, что нет и никогда у меня не было требовательности к людям: с какой стати кто-то будет делать для меня или должен делать что-то исключительное? Я хо-

рошо понимал, что надо ценить другого, «придавать ему значение», чтобы для него чем-нибудь пожертвовать или хотя бы отнестись внимательно, — а что я такое представляю или что во мне такого ценного? Не мои же китайские завитки, и не «догматики», вот уже и все пропетые и всеми забытые, и уж, конечно, не мое фантастическое зрение — волшебный мир, замкнутый во мне и на яву и в снах? — так как же мне требовать и жаловаться на равнодушие!

В таком состоянии терпеливого и ко всему готового «благоразумия» я себя помню к четырнадцати годам, в перелом моей судьбы и в переход моего голоса.

Случай с юродивым Федей, получивший громкую огласку, я принял, как «ничего особенного... в конце концов». И не то, чтобы забыть, — такое разве забывается? — но если бы не напоминали, оно и не лезло бы ко мне со своим изводящим повторением, — «как это было и как могло бы не быть вовсе или быть по другому, и что я тогда сделал, и что следовало бы мне сделать?» А странно, это я тогда же хватился, что не то, что было во мне, ну хотя бы те же «завитки» «догматики» и «небылицы», а то, что било по мне, оно-то и выделяло меня — и дома, и в училище, и в церкви, и на улице. Теперь бы сказали: «скандальная реклама».

И когда в конце-то концов, с юродивым все обсудилось и, конечно, не в мою пользу (ведь и само беспричинное «здорово-живешь» только на глаз с баху и в раже, а на самом деле...) и нестираемый его «плевок» навязанным укором канул во мне, и все позабылось, произошел еще случай и снова все встряхнулось и припомнилось.

На Великом посту ожидали Иоанна Кронштадтского.

О дне его приезда в Москву нас известил сын Перловых: чайники на Мясницкой, у которых предполагался молебен с акафистом; будет служить о. Иоанн.

В первый раз все мы с матерью собрались к Перловым.

Обыкновенно только старший брат, гимназист, в тот год

кончавший гимназию, бывал у Перловых на встречах: в их доме он и познакомился с Иоанном Кронштадтским; брат переписывал его дневники и обозначал в них тексты из Священного писания, — прекрасный почерк, без всяких моих закорючек, четко, ясно, как латынь, большая начитанность, он мечтал, по примеру Владимира Соловьева, после университета поступить в Духовную Академию а по устремленности — Алеша Карамазов; о. Иоанн его очень полюбил и доверял ему, гимназисту, перед всеми. Толмачевский дьякон, впоследствии известный схимник Алексий, веруя в звезду брата, написал ему на Евангелии: «будешь во времени, меня помяни!».

В тот день, а это было вскоре после Благовещения, — первые весенние дни, когда вдруг зазвенит капель, под ногами плывет, а в воздухе глубоким чистейшим дыханием перекликаются подснежники и «в душу повеяло волей»... нас разбудили, как в воскресенье к ранней обедне, в шесть. Сказано было «заблаговременно», а то не попасть будет в дом. И я, поднявшись через силу, очень мне не хотелось вставать, как всегда думал не о том, как поедем, а какое это будет счастье, когда вернемся. Сборы наши не долгие, и мы не опоздали.

В просторном зале все было приготовлено для молебна: в углу перед иконой аналой, на столике свечи и какой-то бывший военный, похожий на жука, раздувал кадило и так старательно это делал, словно оскорлупывал яйцо вкрутую. Народу было порядочно, уж все стены залапаны и затулены, а все приходили и все, как мы, приглашенные.

Ждали, что приедет в девять, а уж было одиннадцать и было беспокойно и досадно — лица у всех явно недовольные и раздражительные. Может, и не у одного меня живот заболел, а никто не решался выйти из комнаты — назад проткнуться и не подумай.

И когда с улицы донесся гул, а это значило, что едет, — кого-то прорвало и, вскрикнув зарезанным голосом зааукал. Открыли окна и с воздухом ворвалась с улицы давка.

Я заглянул в окно, — черная толпа кишела, прудя подъезд; кто-то отбивался и кого-то рвали у кареты в клочки. А это значило, что он приехал. Я не знал еще «Полунощников» Лескова и мне все было внове.

И вот он появился. Он не вошел, а как влетел, вынесенный толпой, или точнее, подняв как пыль, толпу за собой — у них была тысяча рук и столько же здоровенных пинков; там еще у подъезда они царапались и лягались, эти неприглашенные, которых ввела в дом вера, преданность и корысть. И комната битком набилась. А этот вихрь все еще крутился. И я невольно сравнил с появлением братца на Алексеевской, когда не жуть, а мир и тишина вдруг овеет, и легко станет и вроде как весело и беззаботно.

Нет, это был совсем не простой священник, — не тот сельский батюшка, каким показался он в саду в лунную ночь Горькому, а для меня сейчас в этот солнечный весенний день это был сам Аввакум, — и как посмотрел он на нас... а мы совсем затихшие и незаметные съежились, забыв и про живот.

Я стоял близко к аналою и мне, тогда еще без очков, врезалось: моим глазам показалось и вот что я увидел: коричневого цвета лицо, изрытое потными рябинами, тяжелая муаровая ряса с большой белой звездой, красная лента на шее и, это незабвенно, синие, бездонно-синие лучащие глаза, — потом я встретил похожее у Андрея Белого. И в этом свете приковывающих глаз вихрь не улегался и все движения его, — как вскидывал голову, как крестился, как читал, — я чувствовал этот вихрь. А звезда и лента, и шикарная ряса мне показались, — я невольно сравнил эту дешевую мишуру с теми же той же природы блестящими кастрюлями юродивого и голубым широким поясом над квелыми штанами братца.

Молебен прошел быстро, как все, и начался акафист еще быстрее. «Акафист Божией Матери», — про себя скажу, мне никогда не удавалось разобрать слов похвалы и только повторяющееся отчетливо и внушительно, подхватываемое

хором, «радуйся» стояло в ушах. Я еще не читал Фауста и ничего не знаю о Матерях, но в душе глубоко чувствовал сокровенность имени «Мать» и меня охватывало какое-то особенное чувство, когда произносили его, и где-то больно становилось.

И когда он произнес: «О всепетая Мати, рождшая всех святых святейшее Слово...», — когда это же самое произносил старик священник от Грузинской, было такое чувство, что вот он всей своей долгой жизнью понявший неизбежность и неотвратимость судьбы, обращается к Матери, по легенде, к той Матери, что не согласилась принять свою высочайшую долю «честнейшей херувим и славнейшей во истину серафим», не могла успокоиться в раю и пожелала итти в ад и там мучиться с грешниками, вы слышите, какая кротость в этом принявшем много бед голосе и какая покорность, это, как наше потерянное, когда ничем нельзя помочь и все-таки: «если можно... вы понимаете!» — но у о. Иоанна, привыкшего повелевать человеческими душами, да это, действительно, был несомненный Аввакум «огненный протопоп!» — в его властном беспрекословном голосе было что-то от Ивана Карамазова: человек, обессиленный бедой, гибнет, медлить нельзя, и вот он требует «или помочь или...» — мне так и казалось, что сорвется и я услышу: «возвращаю билет!» — и бурлящая синь лилась из его глаз над адом: «от всякие избави напасти всех!». И кто-то, не выдержав, опять, как поутру, ожидая, закричал зарезанным голосом и, задохнувшись, зааукал. Но хором «радуйся», как алым воздухом, покрыло.

После акафиста снова вызвездились руки и все потонуло в россыпи визгов. Окончания свалки я не видел: нас провели в столовую.

Все было приготовлено к чаю. И чего только ни стояло на столе, — скатерть, как цветами, запорошил Филиппов и Бертельс: пирожные, торты, бисквиты и всех сортов английские печенья, — и сухие, и миндальные, и горьковатые и солененькие.

Кроме нас были только самые ближайшие. Никакой давки и все-таки толкотня. Трудно было стоять, переходили с места на место. И это понятно, вот и я подвигался, — ничего подобного я не видел, а передо мной пронеслось все поразившее меня от бесноватых до юродивого и братца, нет, тут не было мира и никакого тихого света, а сам огонь, — я чувствовал себя, как опаленный.

И когда он вошел и как раз не из той двери, откуда ждали, и еще больше все перепуталось, а хозяйка металась беспомощно, затертая в хвосте, мне показался он точно вымытый, все на нем светилось и ничего грозного, не Аввакум и не Достоевский, он как-то даже ногой сделал, как приседая. И увидев моего старшего брата, его первого благословил и поцеловал. И все чего-то вдруг обрадовались, — а свет его глаз лился еще лазурнее. От одного к другому, — и с тем же вихрем порывисто благословлял он. И я, приготовившись, со сложенными руками, ждал своей очереди.

Я видел, как он благословил мать, брата, который писал стихи, и другого, за которым я должен был следить, как нянька, провожая в училище. И уж видел совсем близко глаза, льющиеся синью, и пестрые рябины на лице, но бледнее, чем там показались на солнце, я видел пристальный бездонный взгляд и переливающуюся красную ленту, и вдруг, — и это, как порыв и взмет! — я вижу: Жук! Жук, раздувавший поутру кадило, дул на меня, как на угольки.

Что случилось? должно быть, этот самый жук, его тут не было, а я стоял последний у самой двери, жук, заглянув, вызвал его по какому-нибудь важному делу, и он вышел, не заметив меня.

Его не было в комнате, а я все стоял со сложенными руками.

— Не благословил, — сказал кто-то.

И опустив руки, я оглянулся: неужто заметили?

А чаю с Филипповым и Бертельсом нам не досталось! Когда он опять вернулся, уж весь стол обсели, всякий норовил поближе. Не до нас. А какой это чай перловский, —

какие китайские духи! У меня в горле пересохло и мне бы хоть чашку... с миндальным печеньем. Мать заторопилась домой, она была очень расстроена.

В тот вечер, разбирая на своем столике начатые рисунки, — «рожицы кривые и всяких зайцев», мне ничего не хотелось делать, я все прислушивался. Кто-то пришел к нам и внизу разговаривали.

— Марья Александровна, — это к матери, — уверяю вас, не благословил...

И вот когда с зажженной большой свечей, дожидаясь первого кремлевского пасхального колокола, я, глазея по сторонам, встретился с мастером с Сахарного завода Копейкиным, он стоял со Спасом в руках, и как он посмотрел на меня, я прочитал его суровый приговор за всех: один святой человек оплевал, — другой святой человек не благословил, стыд и позор!

А когда на третий день Пасхи в Андрониеве после поздней обедни, как всегда, но как впервые, длинными весенними лучами разлился из открытого окна в ограду: «*Ангел вопияше Благодатней...*» русский тенор, я почувствовал и у меня задрожали губы, — у меня ничего не выходит, — мой голос пропал.

КАМЕРТОН

Все у меня начинается хорошо: «жил-был» и вдруг потеря и на какой-то срок разорение, как пропал. И тут какие-то волшебные силы подымают меня и выводят на свет. Чтобы, в свою очередь, все отняв, погрузить во мрак.

Отнимается у меня дар, который освещал мою жизнь и вовсе не потому, что я нарушил зарок — «не послушался» — да и не отнимается у меня, отпущенное судьбой на мою долю, «счастье», а только переносится.

Моя левая рука, отмеченная от рождения, раздававшая «счастье», вдруг потеряла силу, но мой счастливый дар чаровать не пропал, он перешел в голос. А пропадет голос, чары перейдут в «слово» и стану читать, как петь.

Моя рука хлопаньем по чужой руке оделяла ее «счастьем», так и моим звучащим голосом то же самое «счастье» переходило к другим.

Когда все хорошо — «жил-был», не замечается, и только с потерей я как схватывался, что было что-то и вот отнято. Да не «что-то», а «счастье» — источник счастья и себе и другим. Тут никогда в-одиночку, а всегда вместе, с кем-то, с миром. Горчайшие «минуты» растягивавшиеся на дни, месяцы и годы моего недоумения: за что? Вины я никогда за собой не чувствовал.

Так случилось, когда мой редчайший «альт» вдруг погас. И от безголосого, как от «безрукого» когда-то, все от меня отвернулись.

Я заметил срок: семь лет. До семи — рука; до четырнадцати — голос.

Я видел ласковые глаза обращенные ко мне, ожидающие от меня мою руку «на счастье». А когда я пел в хоре, сколько было открытого сердца у молящихся, какими глазами — на них еще дрожат слезы — провожали меня, когда я выходил из церкви.

Все это я видел и чувствовал и сознавал свою царскую власть, так легко мне доставшуюся, потому и с такой болью я принимал утрату, когда все от меня отшатнулись или просто не замечали. Из «исключения» я попадал в «общий порядок». И я, затихший, горбясь сидел у своего стола или, прячась, прохожу по улицам, грубо брошенный в судьбу тех, которым я раздавал «счастье»: меня не узнавали и встречу, помню, безразличный взгляд. В эти «минуты», дни и эти годы как чувствовал я человеческую обездоленность, весь страждущий мир и пропадающий.

*

Два хора в Москве: Синодальный и Чудовской. Синодальный — в Успенском соборе; Чудовской — у Храма Христа Спасителя. Оба казенные — митрополичьи. Попасть в такой хор все равно как в хористы Большого Театра, голоса на-подбор. И у певчих форма: синодальные в красных кафтанах (кунтушах), чудовские — в голубых, Синодальными управлял Кастальский — имя для историка русского церковного пения что-то значит. Строгий устав, никаких новшеств; сунулся было Рахманинов, так митрополит Владимир только пальцем в воздухе почирикал: «никаких Чайковских»! Столповой знаменитый распев во все «разливное море» — XVI век Стоглава — так при царе Иване пели, так и нынче поется». В Успенский заглядывали и с Рогожского старообрядцы.

Мое счастье — то-то я наслушался на всю жизнь и храню в себе голос старой Руси, звучащую царскую грамоту за золотой орловой печатью:

«Черниговский, рязанский, ростовский, лифляндский,

обдорский, кандинский и всея северные страны повелитель и государь иверские земли грузинских царей и кабардинские земли черкаских и горских князей и иных многих государств государь и обладатель».

Редко но разрешалось приглашать эти столповые хоры на сторону. У московских сорока-сороков были свои частные хоры, не такие богатые, как митрополичьи и не то, что б в голосах выбора не было, а просто средств не было содержать хор. Москва любит церковное пение, да уж очень на копейку туга. Частные хоры сипели. И еще расстраивало и, без того осипший жидкий хор, соревнование регентов: «переманивать» певчих стало за обычай. Было б чем платить, было б дело другое, а то сманят голос, разорят хор, а и у себя не удержать. Положение певчих было самое плачевное.

На первом месте из частных хоров: хор Сахарова и хор Лебедева, Сахаров по-богаче, Лебедев по-бедней.

С регентом Василием Степановичем Лебедевым или, как его величали: Стаканыч, — я встретился, когда был в голосе; Стаканыч мне и открыл мое «счастье».

Мы бывали у Лебедева в Таганке на Воронцовской. Был он одинокий, жена померла, а детей не было. Хозяйством управляла свояченица, вдова дьяконица Марья Константиновна Суворовская, которую приютил он с двумя детьми.

Старший племянник Александр учился в семинарии, а младший Николай в Московской Четвертой гимназии, одноклассник с моим старшим братом Николаем, с ними и их товарищ В. Ф. Минорский, старше меня на пять лет.

Суворовский часто бывал у нас и мы у него. Так я и познакомился с его дядей.

Жил Василий Степаныч совсем не богато: все, что выручит, все на хор. В комнатах было тепло, и то слава Богу. Из семинаристов, к Зеленому змию вхож сызмальства, любил поставить «стаканчик», обставя, честь честью, солеными

и маринованными грибками и всякой водочной подпоркой. Пил не спеша, а с благообразием, не чавкал и не крякал, а именно «пропускал» легко и со вкусом — смотреть было приятно. Но больше всего любил он церковное пение, свой хор и умозрительные разговоры. Любимым его писателем был В. А. Слепцов, тут я впервые услышал это имя. Да кому было, как не Василию Степановичу со всей отчетливостью и толком воспроизвести Слепцовскую «Спевку», читал он ее, не перепуская букв и не путая строчек.

Голосу никакого, а был он весь «в слух».

Когда он входил в церковь ко всенощной и направляется, не спеша, к клиросу — маленький, в порыжелом несменяемом, закутанный пестрым шерстяным шарфом — с ним входила музыка. Певчие откашливались и все настраивалось: «Благослови душе моя, Господи».

Певчие регента побаивались, а любили, и потому что любили, слушались. И даже тенор Хлебодаров — пел сердцем — переманиваемый и кочевавший из хора в хор, осел на постоянное у Лебедева.

При своем необыкновенном слухе и любви к стройному полногласию, Василий Степаныч частенько ворчал — конечно, ворчал! ведь не всякий и с голосом ему под стать ушами. И когда он ворчит, губы его пожевывают — мне всегда казалось, что рот у него рыбный: судак.

Суворовский играл на рояли и боготворил Чайковского, но уломать дядю исполнить в церкви из Чайковского, «ладно», но тем и кончалось. У Лебедева была и фисгармония. И когда в первый раз под фисгармонию начал догматик, Василий Степаныч насторожился, а когда я кончил, он заплакал.

«Пряничков, Марья Константиновна, дайте пряничков!» — засуетил он: очень я растрогал его моим голосом.

И всякий раз, когда мы бывали у Суворовского, я пел под фисгармонию. И если Василий Степаныч отдыхал, он всегда подымается послушать.

*

И вот я пришел с моим несчастьем проверить: неужто нет средств восстановить мой голос?

«Тебе сколько?» — Василий Степаныч ходил на цыпочках, точно при больном.

«Четырнадцать, — сказал я и чего-то испугался, — на Ивана Купала».

Он подошел к фисгармонии, а я начал любимый его «В черном море» — но только начал и остановился: мой голос, как в граммофоне, вдруг пискнув, сорвался в урчащий бас.

«Кончено, — сказал Василий Степаныч, — не вернуть. Из дисканта бас, а из альта — загадка. Бывает, и ничего. Но, все равно, твой слух тебя не обманет! — и он вытащил из кармана свой камертон, — что бы ни случилось, бери и храни его: он будет тебе глазом за твоим ухом, с ним не пропадешь. Я передаю его тебе, потому что я тебе верю, понимаешь ты или не понимаешь?»

«Понимаю, — ответил я, — потому что вы верите в мою музыку, хотя бы и остался я безголосый».

Это был мой прощальный вечер.

Помню Михайлов день, выпал первый снег. И домой я возвращался обездоленный, а с каким-то радостным чувством по белой дороге, мне нашептывающей зимние сказки, пусть безголосый, но с камертоном — какая уверенность и какая надежда, что моя музыка меня не оставит и непременно скажется - прозвучит.

Помню, Василий Степаныч рассказывал, как этот камертон достался ему не просто, а из рук архиерейского регента Николая Иваныча Кострова из Романова-Борисоглебска, первого колокольного города на всю колокольную Россию, и регент ему сказал: «придет срок, передай тому, кому поверишь несомненно».

Василий Степаныч и до Николы не дожил, перед Пасхой похоронили, и распался Лебедевский хор. А теперь и никого не осталось, кто бы регента вспомнил.

И только его камертон.

Всю мою жизнь, во все мое полувековое кочевье я с ним не расставался. Голоса у меня не оказалось, но все во мне поет — музыка не покидает меня.

МАГНИТ

А еще не рассказал я вам о моих детских пристрастиях и как попал мне в руки этот исторический магнит. Это в первый мой гимназический год (1884-1885).

Я был самый младший не только в приготовительном классе, а и во всей Московской IV-ой гимназии. Мне было семь лет.

В ту пору в гимназии чаще всего поминалось имя «Алексей Александрович Шахматов». Год, как окончил он IV-ую гимназию и еще гимназистом-восьмиклассником прогремел на всю ученую Москву: на защите магистерской диссертации Алексея Иваныча Соболевского, «Исследование в области русской грамматики» (1882 г.) выступил оппонентом вслед за Тихонравовым, Фортунатовым и Дювернуа; возражения его были так убедительны, Ягич напечатал их в своем Архиве (Beiträge zur Russischen Grammatik. B. VII).

А я, безымянный, из всех гимназистов обращал на себя внимание и был на виду. Почему-то дался всем мой нос — «нос - чайником», как потом метко назовет Кодрянская. Меня не дразнили, и только почему-то всем хотелось непременно потрогать меня за нос.

Я не отбрыкивался: я не чувствовал грубости, со мной обращались очень ласково. Конечно, пальцы всякие, но не щипцы же, а хотя бы и щипцы: щипцами сахар берут.

Так жил я защипанный и заласканный. Если бы кто обидел меня, что и допустить трудно, вся гимназия заступилась бы, я уверен.

*

В классе я мог бы занять место на первой скамейке с

первыми учениками, прилежными и тихими. А я выбрал к стенке — последнюю скамейку, где по обычаю рассаживались второгодники и самые озорные и «отпетые», последние ученики. Среди них я сразу почувствовал, что я на своем месте, хотя сам я не задирал и не лез в драку, а советы мои с места всегда без подсказа, будто с первой скамейки сказано. А что нынче летом я написал рассказ — мой первый путанный рассказ «Убийца» — для всех было тайной.

По моему малолетству учителя меня не тормошили, спрашивали бережно, ученической лихорадки я не испытывал, да не в чем было и «ловить» меня и не на чем «сбивать» — любимая удочка учителей, все равно, не по рыбе: все мне давалось легко, и, головоломное для других, ничего мудреного.

У меня много было незанятого времени вне задач, диктанта и уроков — и с первых же гимназических дней я начинаю никому незаметную мою затаенную жизнь.

*

Я, как помню себя, вспоминаю — оно не покинуло меня и до сих пор — живое трепетное, вдруг охватывающее чувство моей «отверженности», и что я один. И в такой кручинный час я особенно вглядывался, и слушаю, проникая за доступные слуху звуки.

На уроках чистописания с первого взгляда привлекли меня столбики мела, разложенные у доски: они глядели на меня как-то странно — как на знакомого, забыл фамилию — я различал их синие жилки изнутри вверх до голубых дымящихся усиков. Сначала я только всматривался, как шевелятся-дышут, тоже что-то припоминая; потом тихонько потрогал, а потом — откусил. И мне очень понравилось. И уж никакого завтрака уминать в ранце не надо: на большой перемене будет мне не «Журавлиная» чайная колбаса с нашего гастрономического и бакалейного Камушка, а чистый природный мел.

Мел никакого запаха. А ведь даже снег, как мел, а каким от него морозом! И эта свежесть снежного дыхания особенно приятна: снег я всегда ем, собирая пальцем с низких карнизов по дороге в гимназию.

«А что если с мелом соединить запах «снимки»?»

Эта мысль пришла мне на уроке рисования когда я оттушовывал геометрическую фигуру, моего, как теперь понимаю, «четвертого измерения».

«Снимка» вбирает в рисунке с оттушевки пучковые точки. Я был убежден, что все дело в ее необыкновенном «чувствительном» запахе. Растянув, сжимаю «снимку», пока не взблеснет на ее скипидарном брюшке пузырек и с треском лопнет. А как приятно пахло: это было что-то смоляное, дышать легко.

Пальцами в «снимке» отламывал я мел. И такой хвойный мел по вкусу только и сравнить можно с любимым яблочным «воздушным пирогом» или с заплесневелым черным «солдатским» хлебом.

«Снимка» и мел не выходили у меня из рук. Но мне и еще чего-то хотелось. Как человек невольно потянется прикоснуться, желая другого, так я прислушивался. В шорохе я различал шопот, в шопотах шепотинку. Мне нужна была музыка.

В перышки я не играл: пером опрокинуть на спину другое перо — хитрость не велика. Легкое меня никогда не притягивало: что можно сразу, мне бывало скучно. Должно быть, я любил работу. Но звон перьев мне понравился. И укрепив на парте, я чуть касался пальцем острия — и перышки играли. Я мог весь час, ничего не замечая, слушать стальную музыку, этот просеребреный «голубой скорлат». А учитель с глушинкой не замечал.

Как полна была моя жизнь. Глаза, уши, нос, язык — все насыщено: бело-голубое — мел и рябиново-зеленое — «снимка» колыбалось сетью серебряных нитей — перышки.

*

На большой перемене, насытившись мелом и надышавшись «снимкой», я завел мою перегудную музыку. Но не успел я развесить уши, как сосед мой, Павлушка Воскресенский — «Пугало», не касаясь лапой, а только слегка поведя, поднял мои музыкальные перышки на воздух. Я его за руку — пальцы у меня крепкие — и вижу: в его мягких пальцах подкова, а на подкове бессильно повисли мои перышки.

Это была красная подковка, но без шипов — «не лошадиная, почему-то подумалось, а верно лошака». Но какая разница лошачьей от лошадиной я не знал, как не догадывался откуда в подкове такая притягательная сила?

Павлушка открыл мне секрет подковы. «И вовсе не лошачья, — сказал он, — а магнит».

И тут же на железках мне была показана сила и власть магнита.

«Магнит жрет железо». Вот что я узнал от Павлушки, но почему «жрет», он ничего не мог ответить, кроме безответного, а возможно и самого точного: «так». Ведь и любят не почему, а так.

На завтрак нас сгоняли в раздевальню под шинели. Перемена кончилась, возвращались в класс.

И всех занял Павлушкин магнит: смотреть, как «магнит жрет железо». Только о магните и крику.

Как мне захотелось: если б у меня был свой магнит.

«Меня «Козел» оставил на час после уроков («Козел» учитель арифметики), не уходи, — сказал Павлушка, — будет у тебя магнит».

*

В классе на стене за нашей спиной шкапчик. В этот шкапчик прятался после уроков классный журнал и чернила и все, что отбиралось от учеников постороннее — целое со-

брание игрушек за много лет. Хранился в шкапчике и магнит, отобранный десять лет тому назад у Шахматова.

Павлушка — глаза в льняной сетке, а глазастый, давно выглядел в шкапике магнит: красная подковка между желтой обезьянкой и лиловым слоном. Этот Шахматов магнит предназначался мне.

«Чудо природы» под таким названием жил в памяти Московской IV-ой гимназии Шахматов. Все мы знали от восьмого до приготовительного: золотыми буквами с черной доски в золотой, золотыми лаврами украшенной раме, смотрит на нас всякий день это имя. Но ни я, ни Павлушка, ничего не знали, почему Шахматов стал вдруг *шахматовым* — «чудо природы», не знали и самое главное, что магнит между обезьянкой и слоном — «*исторический*».

Павлушку, действительно в тот день «Козел» оставил на час после уроков — обычное для Павлушки наказание. Я спрятался под парту. А когда раздевальня обнажила свои ребра-вешалки, а классные распахнутые окна занялись проветриванием, и во всей гимназии из начальства один только дежурный надзиратель «Филин», перебирая «штрафные» бальники, скучал в учительской, я вылез из своей засады.

Павлушка, не замечая меня, о чем-то думал — точно решает «в уме» сложную задачу на цепное правило, — льняная голова его торчала соломенным пугалом. Вдруг появился Санька Кивокурцев.

Санька товарищ Павлушки, первоклассник — «живущий», его часто оставляли «без обеда». И весь обеденный час, голодный, он шлялся шакалом по классам, где отсиживались такие же, как Павлушка.

Весь на косточках, просвечивая зоркими пилками, Санька проворно высмотрел и вынюхал пустые парты и с жадным «полубатоном» подсел к Павлушке. И глотками, как птица принялся за коврижку.

От Павлушки я узнал, что Санька жрет живых лягушек. Летом они ходят за лягушками в Косино: там, где больше богомольцев, у самого святого колодца зеленые гнезда. Но что в одиночку воруют только «воришки», а у них «шайка» и я должен поступить в их «шайку».

«У тебя, я это сразу заметил, разбойничьи глаза, — сказал Павлушка, — тебя можно принять без испытания железом».

«И огнем!» — одобрил Санька.

«Шайка» состояла из Павлушки и Саньки, я был третий. Мое имя никогда не уменьшалось и в «шайке» я остался — Алексей».

Кривыми гвоздиками и «плоскозубцами» — в первый раз я услышал это название и на всю жизнь поверил — шкапчик был «очень просто» открыт, как потом «шито-крыто» закроется.

Я был меньше Павлушки и меньше костяного Саньки, достать мне до шкапчика нечего и думать, разве что на ходулях.

На закорках у Павлушки, как на ходулях, носом в шкапчик — я протянул руку. И, к моему смущению, в моих «разбойничьих» глазах лиловый слон задавил желтую обезьянку — ничего не вижу. Но тут мои глазастые пальцы, юля, притянули к себе магнит и красная подковка в моих руках. Ее я сейчас же сунул к себе в карман, чтобы потом заняться дома на свободе.

И как-ни-в-чем-не бывало, я сел на свое место ждать дежурного надзирателя: «Филин» отпустил домой наказанного Павлушку и меня за одно.

Коротая наказательный час, Павлушка и Санька посвятили меня в тайну нашей «шайки», где все должно делаться «за одно», без всякого принуждения и попреков — ни в чем друг друга не укорять и не дразнить.

Павлушка Воскресенский, сын запойного дьякона от

Ильи Пророка, обещался под клятвой «провалиться мне на месяце», что выплюнет причастие и зашьет себе в рукав.

Санька Кивокурцев, сын известного на Ворюнцовом поле доктора по детским болезням, обещался «провалиться мне на месяце!» — достать у отца яды, не спутает: «яды узнаются на язык: сладкий, а щиплет».

Моя очередь: за клятвой «провалиться мне на месяце» моим обещанием будет то самое исшедшее из горечи, что заполняло мою душу, и моя вера в непобедимое могущество магнита.

Летом погиб Егорка, фабричный мальчик, единственный мой товарищ, кому открыто было тайное зрение моих, пускай «разбойничьих», не по-человечески смотревших «подстриженных» глаз, единственный, кто верил всем сказкам — моему непохожему миру моей сказочной были. Гордого презрительного «не понимаю» и на самые запутанные неправдошные мои рассказы я от него никогда не слышал. На моих глазах Егорка попал в маховое колесо и подхваченный под потолок, был сплющен и задохся.

«Этим магнитом, — сказал я и потрогал не вынимая из кармана, — я доберусь, я притяну к себе маховое колесо и пущу в работу все, какие есть, станки, как я хочу и задумаю. Этим магнитом... я буду сам как маховое колесо, вся Москва застучит и — стоп!»

«Филин» во время остановил маховой пыл. Час наказания прошел: «ступайте по домам», и кончился его скучающий час.

«Филин» торопился, ему было не до меня и он не спросил: как это я, безнаказный, а попал среди наказанных.

*

С первого урока стоял крик.

Раззадоренные Павлушкиным магнитом, все чувствовали себя притянутыми этим магнитом и беспомощно болтались на нем, как мои перышки. Уроков никто не приготовил и ранцы не выпотрошены.

Говорилось самое несообразное, все было в моем духе: магнит, нажравшись железа, превратился в волшебный алатырь-камень и засверкала сказочная магнитная гора: сучи рукава, полезай на небо — все можно!

Учитель Иван Иваныч Виноградов, он же и классный наставник, затеял вместо урока разъяснить естественные свойства магнита и таким образом рассеять басни, забившие «пустую голову», как он выражался, приготовишек.

Иван Иваныч не мог бы припомнить, когда и у кого он отобрал слона и обезьянку, но он твердо знает, что магнит Шахматова — «чуда природы» - реликвия!

Еще вчера, после уроков пряча в шкапчик классный журнал и чернила, он видел магнит «собственными глазами» между обезьянкой и слоном «исторический» магнит, и почтительно уму улыбнулся и мысленно пожурил детские проказы великого человека, не оставшиеся безнаказно, как и следовало с педагогической точки зрения. Он перерыл весь шкапчик, — да, там была настоящая игрушечная лавка, все, что хотите, все, о чем мечтает, еще не забитая уроками «пустая», а значит «свежая» голова живого человека. Но только никакого магнита среди игрушек не попадалось.

Искомый магнит лежал у меня в кармане.

В горячах подозрение пало на весь класс, не исключая первых учеников и самых прилежных и тихих-забитых: «магнит исчез!»

После уроков весь класс был задержан. Допрашивал инспектор, пугая директором — директор Московской IV-ой гимназии Новоселов, на которого даже смотреть не смели. Потом всех обыскали.

Магнит не нашли.

А у Кутузова — первый ученик — отобрали:

«Заряженный отравленными пулями, настоящий семиствольный револьвер и подержанную сумку с бездымными патронами».

Все это я узнал потом уж от Павлушки: ведь меня не только не обыскивали и не допрашивали, меня даже не за-

держали после уроков. И я унес с собой магнит, как свое и всегда мое.

И, помню, меня нисколько не удивило, что только одного меня так легко отпустили. Да и иначе и не могло быть: всем существом, от корней моего сердца, я чувствовал мое право на этот магнит, и сила этого моего неписанного исподнего права, нарушающего самый дух и смысл видимого всем «законного» права, моя неколебимая убежденность и отвела от меня подозрение.

* * *

Механика давно отошла от меня. Живет лишь в памяти и не гаснет в глазах блестящей машиной, и пахнет маслом. Магнит отшвырнул бы меня, так все существо мое перевернулось. О маховом колесе я не мечтаю.

«Но душа человека?»

«Душа человека потемки. И где и как найти в ней железо, чтоб коснувшись, притянуть к себе нераздельно!»

И я задумался.

Ну, буду говорить проще, без залетов — не мне притягивать к себе человеческие души.

Спрашиваю себя: что это? магнит, отобранный однажды у Шахматова, переходит ко мне через «безнаказанное преступление», скажут судьи.

Вы правы, но я не чувствую себя преступником, да ведь меня ни в чем и не обвиняли, и потому так прямо спрашиваю: что означает этот «законно» перешедший мне от Шахматова: магнит?

Шахматов всю свою жизнь притягивал слова и, размещая рядами, искал закон сочетания речевых звуков. Я всю мою жизнь притягиваю слова, чтобы на свой лад строить звучащие, воздушные, с бьющимся живым сердцем, мои словесные уклады.

Сила Грамматика и сила Музыканта таятся в этой красной подкове, неподъемной ни лошади, ни лошаку.

А душа человека? До конца? И разве я могу похвалиться, что в моей жизни я притянул к себе человеческую душу и выразил во всех ее звучащих переменах?

Разделение между людьми, человека от человека, непобедимо и никаким магнитом не возьмешь — и моя мечта забава.

Но моя живущая покорность!

И пусть судьба отнимет мое сердце и ум, пусть что ни делает со мной, а я ей в том не молчу.

И вот это — черным заволакивающее мне душу, оно всегда со мной.

СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ

Скажите, «счастье» — что же это значит? И что такое: «счастлив»?

Удача на сегодня, не больше... (Само-собой, исполнение желания). Или когда, что «во-время» случается, «как-раз» приходит, «кстати» поспело. И уж, конечно, чтобы «беззаботно». Забота! Она и к Фаусту явилась (эта пострашнее и самого уедливого липня и самих зубоглазых Форкиад!), она пришла последней, чтобы доконать, и вот отравлено все его могущество и власть: с заботой какое счастье!

Но где же отыскать беззаботного человека, или какую такую счастливую чушку — вы ее видели? Видели. Ладно. Нет, оскаленными фальшивыми зубами никого не проведешь — сквозь и самую разухабистую идиотскую улыбку весельчака просвечивает черное пламя и белые тени.

И правильнее было бы начать рассказ не о «счастливом», а о «*потерянном* дне» — когда, вдруг схватившись, ищут его, заглядывая по всем углам, глазами, носом, ухом, готовые поднять пол, разворотить мостовую, и этими дрожащими польцами все кротиные кочки, а нет нигде, неоткуда и ничего не «поправить», — и такой день есть у всякого, и не один. Что же, рассказывать? Или еще вернее о «*последнем* дне»... Ведь это мое единственное утешение в нашей каторжной бродячей доле, когда я говорю себе: «все равно, как-нибудь, скоро конец!», и, чувствуя этот мой спасительный роковой срок (ни смирения, ни благодушия у меня нет), я из последних, как кляча с иссеченными глазами (вы помните этот сон Достоевского?), я под навязчивый мотив из Му-

соргского зубами набрасываюсь на каждый миг моего ускользающего последнего дня.

«Последний» день, как и «потерянный» (непоправимый), по жгучести одного жара. А это должно быть многим понятно, даже если кто так отчетливо и не думал, как я сейчас, когда перед моими глазами обнажилась жизнь и уж никакими сказками — пусть Новалиса и Тика! — себя не обманешь. И все-таки, нет человека, я в этом уверен, в памяти у кого бы не застрял хоть один единственный беззаботный день. И в моих «узлах и закрутах» сквозь горький цвет и позорные кресты (моя путеводная звезда!), мне светится такой «счастливый день».

Умер англичанин Колли.

В первый раз я услышал это имя. Нам было велено отправляться завтра на похороны в англиканскую церковь. Должно быть, Колли имел ближайшее отношение к Биржевому комитету, а через биржу и к Александровскому коммерческому училищу, куда перевели из гимназии моего брата, и меня «заодно». Летнее время — все в разъезде, а мы всегда тут, вот нас и отряжали представлять «учащуюся молодежь», как отметили потом в отчете о похоронах и «Московские Ведомости», и «Московский Листок», да и «Новости Сезона» — покойник, верно, связан был и с театром. Кроме нас, во всей Москве отыскался наш же одноклассник Пойманов; дурак, притворился больным — «крапивная лихорадка»! И улизнул на кирпичный завод к Помялову, и выходило, что мне и брату за всех отдуваться... а, может, это не так уж плохо? А главное, любопытно: англиканская церковь! А из училища для надзора за нами вызван был старший швейцар, фельдфебель Захар, или из почтения Захарий Григориевич, а в моем воображении сам Аристарх Фалелеич Мурлыкин. («Фаллический начальник» по толкованию полового с Зацепы, нянькина сына, Прометея, изучавшего язык Софокла, да так, должно быть, и Пушкин смеялся!). Я тогда впервые напал на «Лафертовскую маковницу» Погорельского и должен сказать сходство Мурлыкина с нашим училищ-

ным швейцаром было разительное, а уж какой рассказчик — под стать только А. Ф. Вельтману. А ведь такая встреча тоже что-то обещала, и я пожалел Пойманова, что, сидя под кирпичами, не слыхать ему будет ни о каком приключении, почерпнутом из моря житейского, а заводская собака наверняка ногу над ним подымет. Распоряжения исходили от самого Найденова, и уж по одному этому можно было заключить, что Колли занимал при жизни не какое-нибудь, а высокое место и в коммерческом и в биржевом мире. И отправься он на тот свет не в глухое время, такие похороны справили бы не хуже Прохоровской свадьбы, только держись.

Англиканская церковь в Чернышевском переулке на Тверской, с Земляного вала, это не Андроньев, надо было встать спозаранку. Но меня никто не будил, я сам проснулся, а должно быть, проснулся потому, что почувствовал, хоть и ничего еще не было, чему бы радоваться, какую-то необыкновенную радость на сердце.

Утро было прекрасное. Я заглянул в окно: дым из кирпичных красных труб сахарного завода подымался столбом — верное предвестие не менее прекрасного дня. А далекий перезвон к водосвятию у очередного праздника сорока сороков безалаберной беззаботностью рассеивал московские деловые будни.

Вся Москва играла теплым золотом. Нарядные сады, цветы в палисадниках — Найденовский, Лупичевых, Хлудовых. Мы поднимались по Земляному валу к Старой Басманной — обычная дорога. Но никогда она не казалась мне такой легкой, воздух таким чистым, а цветы такими цветными и душистыми. Или это, правда, что душа человеческая цветет и дышит и, когда она цветет и дышит, все вокруг радуется? А цвет радости у всякого свой.

Из Хлудовских ворот вышел Малютинский приказчик Иван Алексеич Полетаев и показывая рукой куда-то к трубам Вогау, услужливо сказал:

— Вон блестит главка Симеона Столпника, а вон Нико-

лы Воробина! — и, сняв шляпу, перекрестился: — благодать Божья!

И я почувствовал, что мое утреннее, пробудившее меня, и есть эта самая «благодать Божия».

За Хлудовыми Орешниковы, за Орешниковыми Медведевы: на воротах врезан медный «окладень» — восьмиконечный крест, такой позеленелый и у Хлудовых: старообрядцы. И вдруг, мне захотелось как-то выразить мое переливающееся благодатное чувство и я подумал: «захватить бы с собой Мишку для безобразия!». Я позвонил к Медведевым. Но никто не отзывался. И, наконец, из калитки выглянул с лейкой Егор: «В Подольск уехали, сказал он, все до чиста!» и широко улыбнулся. И в этой улыбке засияла для меня благодать Божья, но какая-то горечь вцепилась в меня: «Не одному же разыгрывать безобразие?», или потому, что «все до чиста уехали?» и «почему мы никуда?». Горечь выговаривала: «потому»... но «что» — попрежнему сияло благодатью.

Этой благодатью светилась и церковь. Голые, не наши, стены, но какой чудесный свет сквозь разноцветные, высокие стекла под голубиным стрельчатым куполом — этот свет, заблеснутый небесной тишиною, путеводил органу и торжественным псалмам на волю вслед уносящейся душе.

Мы стояли впереди всех и с нами, в своем зеленом мундире с фельдфебельскими нашивками Захар — Аристарх Фалелеич Мурлыкин. Так нас предупредительно поставили. А перед глазами был не тот обыкновенный открытый гроб, глазетовый или просто досчатый, выкрашенный желтым, который после прощанья покроют крышкой и заколотят гвоздями (крышку внесут в церковь с паперти над головами ражие гробовщики, перепоясанные длинными полотенцами). Мне казалось, что это рояль, покрытый цветами — белые венки длинной белой пеленой спускавшиеся до полу и живая дорожка к моим ногам.

И мне представилось, что под этими белыми венками неизвестный с лицом луны, катящейся по волнам облаков,

такой же нарядный, как и все вокруг; и если бы не закрытые окостенелые веки, его глаза посмотрели бы на нас с тем же вниманием — я никогда еще не встречал такого внимания, как в это мое воистину благодатное утро и что особенно и неожиданно, ведь от людей посторонних, мало что говоривших по русски, а того меньше понимавших нашу трудную природную речь.

Никогда не видев и ничего не зная, я почувствовал в этом мне незнакомом с холодным выцвелым лицом, покрытым белыми цветами, *человека*. И с него, имя которого впервые услышал, с англичанина Колли, начинаю мою оценку человеческого чувства человека.

И под бедой, на моем страдном пути, я научился различать и тень человеческого чувства; а сейчас, когда передо мной жизнь обнажена и прет и лезет в глаза одна скотья порода, я повторяю, никого не проклиная и ничего не требуя: «*Блажен скот, иже человеки милует!*».

Мы тряслись с Мурлыкиным на линейке и было очень весело.

Я совсем забыл, что мы едем за колесницей, бесшумно и непреклонно выступавшей по гремячим московским улицам, и что вороные лошади и белые венки трауром прорезывают, смущая красный день. Прохожие приостанавливались провожая; и, конечно, крестились, но этого я не видел.

Наш веселый путь — Покровкой, Старая Басманная, Бабушкин переулок, Александровское коммерческое училище; но как ни высовывались и ни кивали, навстречу нам блиставшие окна пустых классов мимо смотрели, не удивляясь ни нашему оживлению, ни нашей парадной, обтой черным сукном, линейке. Досадно!

У Никиты мученика, сверкая начищенными кастрюлями, стоял юродивый Федя: приложив зонтиком руку к глазам, другую поднял — и наставил кукиш. Чудно! Мы были последние за каретами и «своими лошадьми» в торжественной процессии на Веденские горы.

Лефортовская часть — Проломная застава — Веден-

ские горы! С какой жадностью я смотрел, вглядываясь в «полночный путь» Маши. С каждым шагом оживала во мне «страшная» повесть Погорельского, совсем не страшная (сравни с Гоголем), но так искусно выписанная без единого пустого слова, и потому магически «черной курицей» заполнившая меня, как не только воображаемое, а «действительно случившееся» событие, и свидетель события — герой — терся об-бок зеленым рукавом и встряхивался — Аристарх Фалелеич Мурлыкин. (Я окончательно убедился, что Захар и есть Мурлыкин). От дома «Лафертовской маковницы» и следа не осталось, да ведь и то сказать, что в повести дом провалился в день свадьбы Маши. Но кто же это у покосившейся «лафертовской» калитки в красном платье с повязанным на шее платочком провожал нас притихшими долгими глазами (Аристарх сладко курлыкал), нет, я не ошибся, это была Маша, «прекрасная, как майский день».

В первый раз я попал на «немецкое» кладбище — а это действительно, как Божий рай: по чистоте, цветам и порядку не сравнить ни с Андрониевым, ни с Покровским, ни с Новоспасским — старинными «историческими» кладбищами, где я знал каждый памятник, каждый омшелый бугорок, засор и без концов путаницу.

И как в церкви, мы стояли у склепа в первом ряду. И тут я увидел, что это был не рояль, а гроб. И когда опустили гроб, под английские слова священника, в которых повторялось имя «Колли», поднялись из цветов какие-то птички и стали перелетать над цветочными памятниками, и мне показалось, а я следил за ними, не стрижиная печаль в их перепорхе и перелете, а от удовольствия кружились они — так тих был и покоен летний день и прекрасны цветы и нарядны провожатые.

Нарядный старый англичанин с той же внимательностью, как и в церкви, повел нас с Мурлыкиным. И все пошли.

Одноэтажный деревянный с террасами, как где-нибудь в Кускове садовый ресторан, кладбищенский трактир, а там

все было готово и блестело скатертью, тарелками, рюмками, стаканами, осененное белыми букетами. За день проголодались, не шлось по-английски, но нас никто не одергивал.

ТРАВКА-ФУФЫРКА

В кладбищенском трактире мы сидим за отдельным столом с Мурлыкиным и нас пичкают. В общую залу, где поминают нарядные провожатые, раскрыты двери — все блестит и сверкает. Да и у нас тронуть страшно: или сомнешь или замуслишь. Нам прислуживают не только лакеи — «солитеры» под стать гостям! — а и старичок англичанин мистер Фокс: это он и в церкви встретил нас, это он и распорядился поставить нас первыми за венками и потом усадил на линейку, — покидая общий поминальный стол, он наведывается к нам, справляясь, не надо ли чего детям, и сыты ли мы?

И я заметил, что с каждым его приходом, все труднее ему выражаться по-русски. Но нам никакого спиртного не полагается, да и кому бы пришло в голову угощать детей вином? И я понял, что мы оттого и отдельно за особым столом — прием педагогический. В зале становилось как-то мрачно-шумливо и беспорядочней: уж звенело, падало и шаркало. И только лакеи бритыми, бесстрастными лицами поддерживали высокий тон почетного собрания.

Мурлыкин, несмотря на обилие и замысловатость поминальных блюд, по мере возраставшего оживления по соседству, супился и ершился, ну вылитый бабушкин кот. Мистер Фокс, с такой заботливостью осведомлявшийся о нас, не обращал никакого внимания на нашего спутника и не подумал — «что он тоже живой человек, а не только наблюдающий глаз!», или, продолжая Мурлыкина: «надлежащим образом его не испродовольствовал». Но он, Мурлыкин, английским

законам подчиняться не желает. И подмигнув лихими усами старшему обер-лакею, у которого на бритом обнаружилась не менее выразительная мимика, Мурлыкин шмыгнул стремительно в дверь, откуда бесшумно появлялось «продовольствие». А вернулся — и ласковый и масляный, за плечами крылья, а над верхней губой, под носом, причмокнув «отдушинку», дрожащий кусочек чего-то — закуска.

А когда мистер Фокс появился с бутылкой лимонада — «а, может, дети, хотять еще каких-нибудь прохладительных напитков?» (Квасу бы куда лучше! — но про квас сказать не решились) — и, поставив на стол бутылку, нерешительно удалился, можно было подумать, что кто-то нарочно под его ногами разворачивает паркет. Мурлыкин, не отворачивая полы своего зеленого с нашивками мундира, обнажил белоголовку, ловко хлопнул в донышко, и пробка вылетела полоумно — и вместо английского лимонаду деловито разлил по стаканам: себе, как следует, а нам — вот столечко!

— Обязательно надо помянуть покойника! — сказал он наставительно, обращаясь к нам, а нагубный его кусочек, селедка, затрепыхтала укоризненно в ту комнату.

*

На похоронах отца под тот же самый припев: «обязательно помянуть папашу» — брата напоили; он был всегда тихий и робкий и безответственный — конечно, постарался не один этот поминальный русский обычай, а главнее любопытство, что произойдет, когда доверчиво пьющий напьется; то же проделывают для смеха и над бедными зверями. Я же получил водочное крещение в Андрониеве монастыре, в келье иеродьякона Михея — «Богоподобного». Но меня никто не напаивал, а сам я по своим первородным преступным наклонностям потянулся к такому настою, что и слона валит, а человека превращает во что хотите: эта такая монастырская перцовка, но не на перце, а на травке *фуфырке*.

Едва ли кто и из самых искусных наших огородников слышал про чудодейственную травку, а она есть эта «травка фуфырка». Я пытался дознаться у профессоров, учителей моих — Горожанкина и Тимирязева, а до них еще у В. В. Сапожникова, моего первого учителя ботаники, к какому семейству принадлежит эта травка и в какой культуре произябает, но как я ни рисовал, как ни описывал — она мохнатая, вроде кукушкина льна, зеленая, как водоросли, а дух — лесная земляника! — ученые ничего не могли сказать, и только Василий Васильевич Сапожников сделал догадку о Тибете. То же говорил и Александр Александрович Вознесенский, опытный казанский травовед. А я в свое время, при встрече с голубыми и желтыми ламами, не спохватился помянуть о ней: им-то наверно известна эта обороть-трава. А между тем травка фуфырка водится и под Киевом и под Москвой.

От киевской фуфырки потерпел небезызвестый Илья Ларин, отставной унтер цейгвахтер, кишиневский знакомец Пушкина, прообраз Гоголевского капитана Копейкина и Горьковских беспутных мастеровых-балагуров. Случай описан у Вельтмана в его «Приключениях, почерпнутых из моря житейского».

Где-то под Киевом Ларин дернул стаканчик особого приготовления настойки с этой «фуфыркой», возбуждающей до «высшей степени бодрствующего сомнамбулизма и ясновидения мытарствующих по земле духов», или, попросту говоря, до чортиков.

Шинкарь, заметив чудодейственный бурав и сверло Фуфырки, предложил закусить: «бубличек». — «Да какой же это бублик, это *петля на шею!*», пролепетал очумелый, замотав головою. «Ну-ну! Михайло Иваныч!» послышалось ему, будто кто-то прогнусавил над ухом. Ларин обернулся. «Да какой же я Михаил Иваныч!» крикнул он, вытулив глаза. И вдруг голову его потянуло в сторону и он замотал головой: цепь поводыря тянулась до самой шеи, он осязательно чувствовал, что ремен намордника сдавил ему переносицу и челюсти. Несмотря на барахтанье, поводырь, потянув за

цепь, повлек его за собой, зыча на бубне. Морду Ларина сжало в клещи. «Эй, караул, караул!» взревел он, хватаясь за цепь, и, переваливаясь с ноги на ногу, следовал за поводырем, смотря вокруг. А вокруг чорт знает что! На том же самом месте, где улица, стоит себе и лес, и тут же идет торная дорога по крышам; крайнюю корчму проросли насквозь три сосны в несколько обхватов, а над корнями высится двор с теремом, с садом, обнесенным высоким тыном, а тын прорезывает соседнюю корчму, торчит из стола и из печки, нисколько не мешая стряпать.. На площади, застроенной домами и поросшей лесом, толкучий рынок, народу тьма тьмущая: ходят себе друг сквозь друга, сквозь стены и сквозь деревья; у выезда гарцуют по торговкам всадники в шишаках и латах, рубят вдоль и поперек, а им и горя мало, сидят себе над горячими угольями — угли в горшках под подолом — и что-то бормочут. «Не тяни, передавлю ребятишек!» ревел он медведем. А нечего делать, идет, давит, думает, раздавил насмерть, а ребятишки со всех сторон: «хи-хэ, усюсю!». Вот вышел он в поле, а среди поля трущоба, и топь и трясина, а стадо пасется промеж баб — бабы бурьян жнут — и ходит по ним, как по кочкам. Шли, шли, утомился, уж переваливается на четвереньках, и завел его медведчик в какой-то город: над развалившейся избой стоит господский дом, на крыльцо залез колодец, в ворота забрался забор, на горне кузницы сидит пригорюнясь Маша, а кузнец раздует мехом жар, сунет в него шкворень, раскалит, да на голове ее, как на наковальне, и кует, припеваючи. Поводырь дернул по ногам дубиной и измученный медведь повалился на траву...

А секрет Андрониевской фуфырки известен был одному только иеродиакону Михею и о случаях превращения рассказывали, как в Таганке, так и в Рогожской, и дальше — до Сокольников. Настойка заготовлялась в Великий пост, а подносили по преимуществу на Святой, но не всякому, а «низким душам для воздвижения». У всех на глазах иеро-

дьякон Евпор, рядовой монах и без всякого голосу, достаточно рюмки фуфырки, как превращался в архидиакона Евпора или по собственному величанию, лесковскому, в архиобер-иеродиакона, и так ревел трубой, ничего не оставалось, как выдворить в темный подвал «под-спуд», где однажды сидел на цепи протопоп Аввакум со сверчками, мышами, тараканами и блохами, иначе не только вылетят стекла, а подлинно сокрушатся и древние стены, несокрушимые и татарскими стрелами; у трезвейшего, расчетливейшего «лампадника» иеромонаха о. Иосифа и с меньшей пропорции вдруг как бы раскрывались глаза и он собственными глазами видел, как зарезанный Жилин вылезал из своего богатого склепа и бегал с ножом среди крестов и памятников, и красные лампады у крестов горели синим огнем.

Однажды после обедни мы зашли к о. Михею, и у него случился желанный гость, Лаврский кононарх Яшка; для «препровождения» времени Яшка дернул целый стакан фуфырки — и меня потянуло попробовать. Я на кононарха смотрел как и без фуфырки превращавшегося во время пения во что-то нечеловеческое, может быть, в межзвездного демона или в какого-нибудь из очень высоких ангелов. О. Михей и другие монахи уговаривали меня «не дерзать» и взамен предлагали кагору, но я, поощряемый кононархом, хлопнул на лоб зеленую жгучую рюмку. Больше я ничего не помню.

И только помню, как, держась за руки с братом (не с тем, которого напоили на похоронах отца, а с другим, которого только-что угощали кагором), мы очутились за воротами монастыря. Был уж вечер. Земли под ногами я не чувствовал, я плыл и плыл под бесконечные куранты, но у крутого откоса, как спускаться с Андрониевской горки к Яузе, часы остановились, и я стал на четвереньки. И вот, как в ночь перед Рождеством волостной писарь, выходя на четвереньках из шинка, видел, как месяц ни с того, ни с сего танцовал на небе, так я увидел на небе зеленые движущиеся лесенкой облака и я пошел по воздушным ступеням, бескры-

лый, забираясь все выше под звезды на светящийся лунный фонарь. А очнулся я под откосом на берегу Яузы, когда Андрониевские куранты пели звонкую полночь, и луна, русалочье солнце, светила со дна Яузы.

Но с той поры — обращаться в «медведя» или в «летучего голландца» (так меня прозвали) отвадило, и не только фуфырка, а и «детский» кагор не прельщал.

*

А до чего и без фуфырки в чистом виде меняет человека — не узнать было Мурлыкина, забыл он свою роль наблюдающего, растегнул зеленый с нашивками мундир и тыча пальцами в деликатные воздушные блюда, сыпал похабные солдатские присказки. И у меня, после «лимонаду», как развязались руки — и уж без всякого стеснения мы закончили бесконечный поминальный обед мороженым и сухарным квасом.

Дымя сигарой, «предстал» из всеобщей белиберды мистер Фокс попрощаться. Но Яков Яковлевич говорил уж не на языке Шекспира, а *по-калмыцки* — так, по догадке Пушкина, говорили наши бедные звери, когда они еще говорили в свое земное новоселье: тур, архар, тарапан, бирюк. А я отвечал по-английски.

Был тихий темный вечер. Из самой глуби сердца, как голос Лаврского кононарха, подымались органы — густые уводящие звуки. Какие-то воспоминания о канувшем безвозвратно живо проносились чувством, но словами не выговаривались.

У Проломной заставы, направляясь к пивной, мы приостановились у бабушкина дома.

Калитка была заперта, а за щелястым забором ходила собака. И мне показалось: прижавшись лицом к щели, стоит Маша. Я заглянул в щелку, и встретил глаза — эти глаза я никогда не забуду! Испуг? Нет, это был не испуг, хоть ба-

бушкин кот, наш Мурлыкин, тут же о забор терся! Никого и ничего не замечая, она ждала своего Ульяна. И ее пылающие щеки обожгли меня.

И как по утру в этот мой «счастливый день» безотчетная радость обняла мою душу, так теперь необъяснимая надежда заливала мне сердце. Но чего я ждал? и чего я жду?

АНГЛИЧАНИН

— мое первое напечатанное —

1 8 9 0

Гете я нашел у нас на чердаке, как находят золотые зарочные клады. Имя Э. Т. А. Гоффманн я услышал от матери. Шекспир и Свифт я получил от дяди. Это не тот известный на Москве «самодур», мой двойник, открывший мне с «Писцовыми книгами» Шевырева, Погодина, Хомякова, Аксаковых, Киреевских, Забелина, Строева, это другой — «англичанин».

Первое, что я увидел в Малом Театре, это «Макбет» с Федотовой и Ермоловой и «Гамлет» с Южиным. А «Гулливер» с картинками — подарок на Рождество с Анненковским Пушкиным — первый камень нашей детской библиотеки.

А когда меня заодно с моим братом перевели из IV-ой гимназии в Александровское Коммерческое училище и начались мои английские уроки у знаменитого московского англичанина Маклелянда (застрелен провалившимся на экзамене), я нашел себе такого покровителя, о чем и мечтать не мог: это был старший брат матери и мой крестный — Виктор Александрович Найденов, «англичанин».

* * *

Странное явление в русской жизни, и что-то не слышно, чтобы такое бывало у других народов: русский человек превращается и без всяких колдовских чар в любого не-русского.

У Тургенева Иван Петрович Лаврецкий, чего руше, а играет в англичанина. В XVIII и в начале XIX игра во француза поветрие, образец у Фонвизина «Недоросль». «Русский молодой человек, возвращаясь из Парижа, привозил с собой наружность парикмахера, несколько ярких жилетов, несколько пошлых острот, разные несносные ужимки и нестерпимо решительное хвастовство». Это я выписываю из «Тарантаса» гр. В. А. Сологуба.

В наше время — до Революции — русские путешественники вывозили из Парижа повадки интернациональных кафе с Сен-Мишеля, отпечатывающие на русских природных рылах неизгладимую печать распущенного ухарства. Стоит вспомнить вечера у Ф. К. Сологуба (Тетерникова) или, — совсем как в Париже — «Бродячую собаку».

Какой Бульвар — Сен-Мишель или Монпарнасс переняли наши «английские» писатели: Чуковский (Корнейчук), обольстивший такого искушенного в языках, как Брюсов, и Замятин, обескураживший своей Англией доверчивого, преклонявшегося перед заграничной культурой, Горького, не могу сказать, сам я в Англии не жил.

Но мне всегда при этих «английских» встречах вспоминалось что-то виденное на театре, какой-то, с куплетным выстрелом водевиль, где наши одесситы, как Чуковский, или воронежские, как Замятин, доморощенные «любители» ломали английскую комедь.

*

Виктор Александрович Найденов, как все его братья и сестры, окончив Петерпаульшуле, уехал в Англию и после пятилетней науки вернулся в Москву на Земляной вал «англичанином».

Фабричные рабочие Найденовской шерстепрядильной сразу наклеили ярлык «англичанин» в отличие от других хозяев — братьев Найденовых.

«Англичанина» никто не любил. Голоса он не подымет,

но никогда и не услышишь от него человеческого слова. К «англичанину» не замедля прибавилось: «скусный» (скушный) и «змея».

Всю жизнь прожил он одиноко на Земляном валу в белом Найденовском доме в семье своего знаменитого брата «Самодура», гремевшего на всю биржевую Москву. Ни малейшего сходства с Найденовыми, сам-по-себе, подлинно «англичанин». В его лице ничего, что так ярко и резко во мне — из рода суздальского красильного мастера из села Батыева, ни китайских чувствительных бровей, ни тибетских скул. Европеец — Берн Джонс, тонкий профиль и тень печали без всякого намека на Азию.

Ближайший круг его брата «Самодура» — «славянофилы», а ему подавай московских англичан: его знакомые — обрусевшие или приезжие англичане директора московских фабрик и инженеры.

И дома, в обиходе не Филипповские и Чуаевские пирожные изобретения и не от француза Трамблэ, а сухое английское от Бертельса. А в его библиотеке не русские, а английских и немецких имен стена.

Директор Найденовского банка на Ильинке — почетное место, а настоящее его дело — он выписывал английские журналы и «беспредметно» следил за литературой, для него единственной с единственным языком английским. А. кроме английских книг, оранжерея.

Круглый год парадные комнаты белого Найденовского дома ярко цвели и благоухали. Помню, когда я с воли входил в зал, у меня разбегались глаза и кружилась голова, особенно в дни сверкавшие морозом.

Садовник Егор, побывавший с таганским садоводом Дюковым у первых садоводов в Париже, занимал одно из первых мест в найденовской дворне. Егор ходил по двору, не шарахаясь и, кажется, единственный на человека похож: ни всеобщего испуга, ни обязательной оглядки — сам требуя к себе внимания и никого не замечая.

Как набожный англичанин, Виктор Александрович во-

скресенье начинал с церкви и после обедни каждый нищий получит от него пятачок. Нищие его не любили: этот пятачок, не обычная копейка, но с какой гадливостью и из какой дали протянутый; обжигающую холодом перчатку и отмороженная рука почувствует.

Я не думаю, чтобы он кого нибудь любил, но и у него была привязанность, кроме английских книг и цветов, это его Молли. Но живой я эту Молли не видел, я застал ее уже в мраморе — какое нежное песье творенье. И за эту любимую Молли он имел преимущество перед всеми в собачьем царстве: подтишковые собачонки — напасть бесконечного найденовского двора — за ноги его не кусали, злые, радовались на его ласку. А ведь не было человека, да сколько раз и я терпел от их острого зуба, не уследишь, тяпнут молчком или снежным комом ударятся под ноги, только и знай, что вытаскивайся, как из липкой кусающейся грязи.

* * *

При первых моих английских уроках я обратился к Виктору Александровичу за разъяснением о произношении — мне долго не давалось «th» и «r». С этого все и пошло. И я убедился, что Виктор Александрович Найденов, трудно поверить, подлинно англичанин, не отличишь от Маклелянда.

Большую часть лета он проводил в Москве. Случалось, в воскресенье он затевал, по английскому обычаю, воскресную прогулку. Меня и моего брата, для которого, «чтобы ему не скучно было», меня перевели из гимназии в коммерческое, вызывали нас обоих к Найденовым отбывать повинность. Он брал нас с собой в Петровское-Разумовское: до вокзала на конке, потом поездом. И «на лоне природы» в молчанку мы пили чай с лимоном. Два часа такой прогулки тянулись для нас без срока, большего наказания не придумать.

Но когда он заговорил со мной по-английски, его не узнать был. Не улыбнется, а тут улыбался — магия безулыбных английских слов, — улыбался он по-русски. Некурящий, казалось, вот-вот закурит и добродушно пустит дым

сквозь ноздри после вкусной затяжки; непьющий, вот хлопнет рюмку и скажет: «за ваше здоровье». Тут я узнал и историю его любимой Молли: вывез он ее из Англии и как он без нее тоскует, и всегда ему памятна — мраморная, а как живая. И о цветах, сам повел меня в оранжерею, а ведь в другое время, раньше-то и глядеть не разрешалось, а не то что войти и потрогать.

Помню, я как Диккенса начитался, и в первый раз, прощаясь, я назвал его «дядя».

***

По английски я был первый в классе. Мои английские изложения, заданные на дом, исправлял Виктор Александрович Найденов. У Маклелянда первыми учениками считались только те, кто брал у него домашние уроки — цена очень высокая: 5 рублей за час. Я был исключением.

Однажды английский дядя для испытания моих успехов, дал мне перевести из «Times» статью. Но это был не рассказ, а, со всякими цифрами, исследование о «атмосферических осадках». Очень скучно, но я исполнил, одолел. И, неожиданно для себя, в «Московских Ведомостях» я увидел свой перевод: «Атмосферические осадки»; статья была проредактирована, сокращена и, конечно, без моей подписи.

Так безымянным «англичанином» я в первый раз попал в русскую литературу. Не помню №-а «Московских Ведомостей», а год 1890. Мне было 13-ь лет.

В то лето я собирал бабочек. Но, кроме бабочек и гербария, географические карты: все цветное меня привлекало. Я все думал, если бы мне достать такой атлас, чтобы с горами, реками и лесом — елочками — мое «зографское» ремезовское пристрастие, (Семен Ульяныч Ремезов первый русский географ).

Английский дядя мне обещал за перевод гонорар. И на Рождество я получил от него подарок: немецкий атлас бабочек — не цветные, черные иллюстрации: все бабочки на одно лицо.

КОКОСЫ

Случай с «фуфыркой» — мой «голландский» полет на луну, сбросивший меня с Андроньевской горки на берег Яузы, отвадил меня бесповоротно от всего, где чувствовался, хотя бы только намек на спиртное, вроде «пьяных вишен» и ромовой «бабы», но любопытство к превращениям раздул в страсть.

Источник у меня единственный: книга. По счастью они сами шли ко мне в руки. Я так и смотрю на книгу, как на живую встречу. Потом уж я стал присматриваться и приглядываться к живым людям и строить всякие догадки, что есть настоящее в человеке и в чем он только «прикидывается» или, что то же, во что превращается. А, наконец, и заглянул в себя и не без удивления открыл и в самом себе целый ряд превращений.

Одно скажу, что без долбушек или, когда прямо по голове щелкают, без этих «*ко-ко*-сов», дело не обходится. А еще я заметил, что существеннейший признак состояния превращенности — полнейшая искренность, и тот актер, который будет играть Иудушку Головлева, ханжа и лукавя, никогда не даст живой образ этого образцового превращения, более сложного по разнообразию и глубине и самого Тартюфа и более яркого, врезающегося в память, чем Петр Степанович Пустолобов, гоголевский «оборотень» Квитки-Основьяненки.»

И разве уж так необходима травка фуфырка, чтобы обернуться или обернуть?

Да, Гоголю без фуфырки не обойтись, но ему известно

и еще одно средство и не менее действительное: «страх». И если фуфырка «воздвигает», у страха глаза велики, то же на то же. Для Достоевского обязательно «горячка», вообще высокая температура. Но как же быть со мной, с моими лягушиными градусами, зябнущему, когда говорится, что на воле жарко, с моим пристрастием к дождю, к ненастной погоде и болоту, а между тем не могу пожаловаться, — это видно кокосы долбят мне в голову, и недаром намедни в голове у меня разбили чернильницу и черным залило мне мозг.

В «Тысяча и одной ночи» я нашел много случаев превращения и рисовал, не знаю, куда с моими собственными превращениями задевались рисунки! В этих сказках мало указаний на способ, чем вызвана чудесная перемена, а кроме того дело идет о джиннах-маридах и по-преимуществу о злых маридах — ифритах, а для меня любопытнее было узнать, как и чем человек превращается в мышь, кота, собаку, осла, буйвола...

О превращении в медведя я узнал от Вельтмана, а про волков открыл мне Орест Сомов.

«Лучи месяца упадали на самый сруб осинового пня, и Артему казалось, что сруб этот белелся и светился, как серебряный. Старик Ермолай трижды обошел тихо вокруг пня, бормоча: «На море-океане, на острове-буяне, на полой-поляне, светит месяц на осинов пень: около того пня ходит волк-мохнатый, на зубах у него весь скот-рогатый. Месяц, месяц, золотые рожки! Расплавь пули, притупи ножи, измочаль дубины, напусти страх на зверя и на человека, чтобы серого-волка не брали и теплой бы с него шкуры не драли!». Ночь была так тиха, что Артем ясно слышал каждое слово. Еремей стал лицом к месяцу и, воткнув в самую сердцевину пня ножик с медным черенком, перекинулся через него трижды, — чтобы в третий раз упасть головою в ту сторону, откуда светил месяц. Едва кувырнулся он в третий раз, вдруг видит Артем: старика не стало, а на место него очутился страшный серый волчище. Зверь поднял голову вверх, поглядел на месяц кровавыми глазами, обнюхал воздух на все

четыре стороны, завыл и, воя, пустился бежать вон из лесу. Артемий дрожал от страха. Зубы его так часто и так крепко стучали, что на них можно было истолочь четверик гречи, а губы его сжались и посинели. Он подошел к пню, призадумался и давай обходить около пня, твердя заклинания. И став лицом к месяцу, трижды кувырнулся через ножик с медным черенком. И за третьим разом, глядь — вот он стоит на четвереньках, рыло у него вытянулось вперед, балахон сделался длинною пушистою шерстью, а задние полы выросли в мохнатый хвост, который тащился, как метла. Он попробовал молвить слово, но вместо человеческого голоса, завыл волком».

И тут никакая фуфырка, тут месяц, медь, слово... И что удивительно, есть оказывается средство обращать не только Ермила или Артема, это все живые люди, а и мертвого в живое. Об этом я узнал от того же Сомова (Байский) — его рассказ известный и Пушкину, и Бестужеву (Марлинскому) и Гоголю и Погорельскому и Одоевскому. Но тут не месяц, а яркий полдень и черная свеча, — синий огонь («черная», — по Новалису из тарантулова сала, а «тарантул» в горячечном видении Ипполита у Достоевского — мать жизни и смерти).

«В последний день Зеленой недели, когда солнце шло на полдень, она пошла в чащу леса, отыскала поляну — на поляне нет ни былинки, а вокруг разрослись большие кусты папоротника, — она очертила около себя круг белым клыком черного вепря, воткнула посередине в землю черную свечу, — и свеча *сама собой* загорелась синим огнем. Вдруг раздался шум: с гиканьем и аукая вихрем помчалась через поляну вереница, — на одних венки были из осоки (утопленицы), у других из ветвей (удавленицы), так что казалось, будто у них зеленые волосы. Вот бежит и ее Горпинка. Фенна едва успела ее схватить за левую руку и втащить в круг. Она поспешно выхватила из земли пылавшую черную свечу, подняла ее над головой дочери, — и мигом зеленый венок из осоки затрещал, загорелся и рассыпался пеплом с головы

Горпинки. В кругу Горпинка стояла, как оцепенелая, но едва мать вывела ее из круга, начала она у нее проситься тихим ласкающим голосом отпустить: «Мать, отпусти меня; мне тяжко, мне душно будет с живыми!». Фенна не слушалась и все вела ее к своей хате. Вот пришли; старуха ввела Горпинку в хату; Горпинка села против печки, облокотясь обеими руками себе на колена и уставя глаза в устье печки. В эту минуту черная свеча догорела, и Горпинка вдруг изменилась: лицо ее посинело, все члены ее окостенели и стали холоднее льда, а волосы были мокры, как будто только что она вышла из воды. Страшно было глядеть на ее лицо, на ее глаза открытые, тусклые и не видя смотрящие. Проходит день, настает ночь, — проходит и ночь, проходят дни, недели, месяцы, — все так же неподвижно сидит она опершись головою на руки, все так же открыты и пусты глаза ее, бессменно глядящие в печь, все так же мокры волосы».

И не только мертвого можно оборотить в живого, хотя бы на краткую меру свечи, самовозжигающейся при прикосновении с землею, но есть средство создать двойник человека. А средство это вот какое: надо крепко наступив на тень человека, сдернуть ее к себе и пустить на волю, — и уж не различишь, кто из двух будет настоящий. (Сложнее потом разделаться: надо исхитриться поймать за хвост и стащить чужую шкуру, тогда только сгинет).

Но сама сила человеческого пожелания разве плоше «фуфырки» или слабее месячного блеска и медного черенка или ее синий огонь тише тарантуловой черной свечи? И зачем мне с моей кипящй волей механические приемы, чтобы стать и тем и нетем, обернуться или обернуть?

Насытив свое любопытство на всевозможных превращениях, добравшись, наконец, до русалок и хвоста двойника, я задумался.

В «Игроке» у Достоевского есть намек на загадочное явление: «*безобразие*». «Я не умею себе дать отчет, что со мной сделалось, в исступленном ли я состоянии нахожусь, в

самом деле, или просто с дороги соскочил и *безобразничаю*, пока не свяжут». А у Казака Луганского (В. И. Даля) я нашел живой образ *безобразника:* помещик Иван Яковлевич Шалоумов.

«Он по дням, по часам, по неделям, принимал на себя временно и поочередно всевозможные нравы, и был сегодня не тот человек, что вчера, иногда вовсе не тот, что час тому назад: утром скуп до невозможности, к обеду благоразумный хозяин, к вечеру мот: в понедельник сердит и брюзглив, во вторник насмешлив, в среду отчаянно весел, в четверг учен, глубокомыслен, в пятницу богомолен, в субботу страстный игрок, в воскресенье затеям нет конца и весь дом вывернет вверх дном». И внешне он переиначивается: «когда он являлся в халате, это означало, что он намерен быть хозяином, домоседом, отцом семейства; если выходил по утру прямо в сюртуке, то это значило, что он будет человек крайне деловой; если же в коротенькой курточке, то это была одна из самых дурных примет, и очень походила на расправу со всей дворней; вовсе же без верхнего платья, в одной только растегнутой настеж жилетке или в щегольском убранстве показывали, что барин будет отчаянным весельчаком». Но он не только обращался в самых разнообразных людей, действуя по душевному убеждению, — «и все это он желал, может быть, сделать, все это являлось у него уже в готовом, действительно исполненном и сделанном»; он обращался также и в зверей и птиц: кричал петухом, собакой, конем, теленком, выл волком; но также и в инструменты. Но, превратившись в контрабас, сорвался.

«Иван Яковлевич схватив меня с необыкновенным жаром, вытащил на середину комнаты, поставил перед собой и перебирая пальцами левой руки мне по лицу, пилил меня правой рукой поперек живота, подражая голосом контрабасу. И вдруг закашлявшись, и как будто вздумав что-то новое, опрометью побежал из зала в свой кабинет. Все затихло

в ожидании. А в кабинете раздается какой-то глухой и дикий голос».

«Желание», — это магия для всяких превращений и без всякого посредства и вне условий: я захотел и тотчас сделался из «самого себя», ведь и месяц и заклинания и тарантулова свеча без желания, — никакого действия. А бывает и нехотя, а превращения налицо. Или действуют тут подлинно магические, а без всякой магии, эти самые «кокосы», — какое же волшебство в долбушках? И разве я когда-нибудь наступал, желая, на чью-нибудь тень?

«Убийца», — «поджигатель», — «беснующийся миряк в кругу бесноватых кликуш», — все это громко и цветисто на моей выцветшей, как вызвезденное небо, бездонной памяти, но в моих глазах и чувствах лишь выцвевшее прошлое. А любопытно «теперь», — мое настоящее! А я вам скажу, кто я.

Я — нянька Анисья (Анисья Алексеевна) и я — горничная Аннушка (Анна Борисовна) и я же, — повар Дементий (Дементий Петрович). Загляните на кухню, правда час неподходящий, и не надо, — после суетного дня ожиданий (во всех приемных обязательно надо ждать), пустого, но обнадеживающего обещания, грубых окликов, нечаянных толчков и когда вместо плевка приходится смолчать, после всех «кокосов» дня, ведь это единственные часы, когда я за своей работой и без всякого тормошения и никто меня не дергает и в тишине: с двенадцати ночи и до трех или немного позже.

Отрываясь от беспокойных сливающихся строчек, в раздумье, я вдруг замечаю (я как очнулся во сне, продолжая сновидение), что я не один: под кастрюлями горничная Аннушка с поджатыми губами, — я не решаюсь спросить, что ее сегодня так расстроило, какая забота? Знаю, все у нас в доме на ниточке держится, — а вот и нянька Анисья, знаю, как ей трудно, а поднялась к плите, спасибо, это она осторожно ставит на стол к рукописи мой волшебный «фильтр», — кофе, и отошла в угол, где висят щетки, и где примостился спиной к ордюру, вижу, «философ» повар Дементий; набивает из окурочного табаку вытянутые, советским способом,

использованные гильзы, спасибо, — я закуриваю его папиросу, все-таки вроде настоящей, только надо очень много... А иногда и без всякого вдруг, подпершись кулаками, мы совещаемся, как исхитриться, как будем жить завтрашний день: от монпасье у меня коробка и в ней весь мой золотой запас, — розовая обожженная спичка, должно быть, как вытряхивал, из кармана попала. Есть у Э. Т. А. Гоффманна рассказ о обращенной в скрипку, о певице, которой отец запретил петь, я очень понимаю ее чувства, но мне никто не запрещает писать, а у меня часто нет возможности присесть к столу и как-раз, когда «кипит». И кажется, все бы шваркнул, — но куда нам итти? И вот среди глубокого молчания, в тишине ночи, — весь Париж опустел и затаился, какой покинутый для бездомного час! — нянька Анисья начинает свою сказку о «землянке», — о такой землянке, в которую есть вход, но выхода нет, и как в этой землянке спокойно лежать и ничего не надо, — и я представляю себе зеленое, мох, сыровато (и как далек я от «черной дыры», куда суждено и неизбежно «провалиться») и какой мир ложится на душу и ничего не страшно и сам наш неизбежный пропад. Землянка! Но ведь это, я говорю, — это мое, мои слова, мой голос, мой взгляд, моя сказка.

ГОЛУБОЙ ЦВЕТОК

Вот уже с конца мая, как распустили на летние каникулы, и вся Москва переселилась на дачи, кто в Сокольники, кто в Кунцево, кто в Останкино, а с Таганки в Кусково и Царицыно — места, освященные русской литературой: Тургеневым, Писемским, Лесковым, я нашел себе в доме такое местечко, получше всякой прославленной дачи, — это наш чердак.

Я никому не защу и никто мне не мешает. Целый день я провожу за книгой, захватываю сумерки — порчу глаза над моими мелкими рисунками и встречаю луну, ее бередящее мерцание через единственное слуховое окно. Днем немного тепловато, — но я всегда мерз, и не жалуюсь; раскаленная июльская крыша, стучащая и раскатывающаяся китайскими барабанами в проливной дождь — мне ничего, я всегда любил непогоду, она мне ближе погожих дней.

Дверь на чердак из детской. Скрытая обоями, она годами не замечалась. Но однажды на моих глазах пошли на чердак. Туда складывалось все, что почему-либо не выбрасывалось или дожидалось очереди перейти под расшитую шелками пеструю тюбетейку, кочующих по московским улицам и переулкам бритых казанских князей, пахнущих остро своей памятной кумысовой ордой, скороговорных и неуступчивых с их окличным «шурум-бурум» и заключительным непререкаемым «иок»; а также береглось на чердаке теплое зимнее в табачных листах летние месяцы. И когда я заглянул в приоткрытую дверь, какой-то особенный свет показался мне — как раз по моим глазам; и воздух парной — не оранжерея, но вроде, только

не комнатный — и это тоже по мне; и еще что-то, что я почувствовал, как свое, и меня потянуло.

Но почему-то ходить на чердак нам запрещалось.

И я заметил, что и большие — так звали мы старших — никогда в одиночку на чердак не заглядывали, да и то лишь днем, и сгорбившаяся, притаившаяся дверь, которую на ночь, как спать ложиться, нянька крестила, оставалась запертой на висячий блестящий замок. А скоро я дознался, что за этой дверью есть еще дверь — тесовая, не выкрашенная и неоклеенная, и висит черный замок. А между дверями — чуланчик: полки — и на полках варенье; высокие вишневые банки — клубника-виктория (не в честь ли английской королевы Виктории?), любимый барбарис (его разросшиеся кусты в самом опасном углу Найденовского сада, где громыхают цепями Трезор и Полкан), малина, сливы, черная смородина, крыжовник, китайские яблочки, рябина; а в углу кадушка с мочеными яблоками. Из подслушанных разговоров мне стало ясно, что ходить на чердак боялись. Но что там скрывалось такого страшного, чего все боялись, я и спрашивал, а никто мне ничего не ответил. И я понял, что знают, а не хотят сказать: страшно.

Зимой на чердаке выл ветер. Душу охватывало черной песней. И если бы не садило так от двери, я бы не отошел, выстаивал бы часы, впитывая черноту заманивающей звучащей пучины: в ней слышалась и какая-то безграничная власть и пропад, все разрешающее и никогда не разрешимое. Голосом беззвучным я повторял песню и выговаривал слова без значения, но глубокого сердца, как тайный оклик, и я чувствовал тянущиеся ко мне руки и за ними легкие дышащие крылья. В большие морозы за дверью трещало: это ходил Мороз-Снегович с зеленой лунной бородой и серебряной гривой, торчами из ушей.

Но кто, не Мороз же, кто пугал на чердаке и о ком боялись сказать?

«Рожа черная, рыло широкое, глаза на выкате, брови облезлые, борода щетинистая, уши лопастью, лоб поперек

раздвоился, а из под шапки комли рогов выглядывают, и лапы перепончатые, словно лягушачьи, да с когтями...» Сказкой заключил я свои догадки о страшном, и не догадался — дело было вовсе не в чорте.

Тяжелых «устюжских» сундуков я не трогал. А надобно было бы кое-что передвинуть, — не хотелось переть против рожна: «привыкли»! Но свалку я разобрал и распределил, «классифицируя», как бабочек и гербарий.

В хламе под разбитой детской колясочкой — в ней возила меня кормилица в мое первое лето в Сокольниках, памятных мне по рассказам о моем первом озорном приключении с «откушенным носом»; под жестяной печкой, изуродовавшей меня, должно быть, так же играя, как я с какой-то понравившейся мне Валей; под обгорелыми кубиками — тоже памятными мне: моя ожесточенная затея сделать в доме пожар: под деревянным облезлым конем — «лошадкой», игрушкой моего брата, соединившейся с памятью о его кормилице, длинной и ноющей Катерине с прозвищем «околелая лошадка»; под деревянным ружьем с застрявшей в жестяном дуле почернелой горошиной — мне показалась прямо на земле, с землей, книга, я ее поднял на свет — а это был Гете, Вертер.

И я почувствовал, что в этой книге и есть разгадка всяких страхов — почему перед чердаком был такой трепет и боялись заглядывать в одиночку, а вечерами никогда. И эта догадка оказалась верной, а чорт совсем не при чем: на чердаке — давно это было — повесился Найденовский учитель, он жил до нас в нашей бывшей красильне, учил мою мать, ее сестер и братьев русскому: «несчастная любовь».

А под «Вертером» таился целый клад.

Есть жук, летает ночью в канун Ивана Купалы, и сам норовит налететь на человека: коли рот раскрыть и подставить, и жук влетит и с перепугу угадится мелкими дробниками, то выплюнуть на руку, и у тебя богатый клад: сыпь скорей с руки в мешок, либо в шапку, да во все карманы — посыплется чистое золото.

И без жука, отряхивая землю, я складывал книгу за кни-

гой: и первое — «Голубой цветок» Новалиса, его «Офтердинген», а за Новалисом Тик, «Генофева» и «Лунатик»; «Аврора» Якова Беме, Марлинский, Погорельский, «Пестрые сказки» Одоевского, сказки казака Луганского, «Бурсак» Нарежного, «3448 год. Рукопись Мартына Задека» и «Лунатик» Вельтмана; «Подснежник», «Невский альманах», «Полярная звезда», «Северная муза», «Северные цветы», «Новогодник», «Комета Белы»...

Много я возился с уборкой застращенного чердака и так, наконец, обставился и расположился, как в жилой комнате, нет, еще свободнее: я был совсем один. И только паук у слухового окна — и когда тонкий луч проходил ко мне и падал на мой стол, прозрачная паутина переливалась чистейшим светом.

И я получил новое прозвище: меня уж стали звать не просто «отшельник» и не «отшельник» с прибавлением «оглашенный», а «немец».

Если бы читали Потебню, его исследование малороссийских колядок, сразу бы и головы не ломая догадались, откуда у меня «конструктивные» способности и призвание к уборке. (Впоследствии в одном из своих «кокосовых» превращений я — «белая горничная Аннушка» буду особенно гордиться уменьем, не марая рук, завертывать «ордюр», как пакет с пирожным). Если бы знали Потебню, то безошибочно определили бы источник моей «хозяйственности» или говоря песенно: уменью «гнездо вить», а не приписали бы влиянию моих соседей и приятелей — часовщику Дроссельмейеру и органисту Абрагаму Лискову, хотя должен сказать, и «Щелкунчик» и «Кот Мур», впервые тогда прочитанные, вызвали во мне живые, горячие воспоминания, и я не мог быть безразличен к их «немецкой» повадке.

У Потебни приводятся древние «колядки» и все с неизменным с половецких степей навеянным ковылевым тайным «Святый вечор!» — величание одаряющей счастьем чудесной птички и ее мастерству вить гнездо по особенному, а имя этой птички «*ремез*», — вот от

нее-то я и веду свою фамилию. А ведь известно, прозвища даются не зря, и этим все объясняется: и московский чердак и мой парижский «ордюр» - бонбоньерка, и сибирская карта зографа Семена Ульяновича Ремезова.

И как Семен Ульяныч зограф, Тобольский сын боярский, потрудившийся над сводом Сибирской летописи, почему и зовется она Летописью Ремезовской, так и отец его Ульян Моисеич и дед Моисей, все писали Ремезов, нося имя «первой у Бога птицы» и оправдывая дар ее — чего стоит одна Сибирская карта Семена Ульяныча, помещенная в его Хореографской Чертежной книге (1701 г.), с кедрами и елочками сибирских лесов, с церковками, означающими русские города, и юртами кочевников, а какие надписи — какое витье и завитушки, и не даром получил он царскую награду; пять рублей денег и выход. (По толкованию Л. С. Багрова — аудиенцию с царем).

Знал-ли Моисей Ремезов (современник Якова Беме, Паскаля и Аввакума), что означает его знатное царское и волшебное прозвище и передал ли песню-колядку о чудесной птице сыну Ульяну, а Ульян Семену, не могу сказать, а моему отцу значение фамилии не было известно. А подписывался он по старине — «Ремезов», как писал отец его — мой дед, московский разносчик Алексей Михайлович, песнослов, «своеобышный человек», крепкой породы, под стать разносчику «Горькой судьбины» Ананию Яковлеву, как писала и его тетка, и пророчица «Божьих людей», Татьяна Макаровна Ремезова. И вот однажды на Макарьевской ярмарке, а случилось в трактире в прощальный ярмарочный вечер при всем честном народе, какой-то дошлый, Бог его знает, как затесавшийся в компанию, разговорившись с отцом, открыл ему, откуда все мы происходим.

Отец задумался: и как это возможно, он, московский второй гильдии купец, известнейший галантерейщик — и при чем тут «птичья причинность?» Да, в его лавках очень все хитро и вещи лезут сами покупателю в глаза и в руки — искусство и распорядок: «ремезово гнездо»! но он хотел бы происхо-

дит не от птицы, а от ткацкого станка «ремиза», он даже согласен на карточный «ремиз»... Известно, купцы, не дай Бог, попал на язык и давай — и надо и не надо: «птица» — срам! Отец взял да и поправил себе «е» на «и» — и вышло «Ремизов», — какая же это птица, и как будто не придирешься. А если бы знал он, что по французски наша птица пишется не с «е», а с «и» — *le remiz* — и, стало быть, зря вся его «фамильная» работа... но по-французски, к его счастью, среди московского купечества не слышно, по-немецки и по-английски другое дело.

А произносилась фамилия и с поправкой, а по прежнему, как звучала она у Моисея, как величали зографа Семена Ульяновича и откликался московский разносчик Алексей. И когда соседка Новоселова назвала отца, подчеркнув его самодельное «и», отец обиделся: «Катерина Васильевна, не коверкайте моей фамилии, уши вянут, никакой я не РемИзов, а всегда был и останусь РЕмизов». А сосед Ланин («Ланинская шипучка) тут же проговорился, что, мол, «и» или «е» — дело не меняет, и все едино, — «птица», как ни пиши.

Не «птица», а «немец» — долго я под таким прозвищем ходил; иногда «немца» заменяли «кротом», а про «отшельника» забылось, как забылся и «летучий голландец» — мой единственный головокружительный полет на луну на погубившей меня «фуфырке».

А между тем, жизнь моя была подлинно «отшельника» и никогда еще луна, «родина всей тоски и всех желаний», не подымала меня так близко к себе, как тут, на чердаке, и первый памятный мне лунный сон — о папоротнике, выросшем из моей головы, я записал под слуховым окном.

Встреча с «Вертером» — Гете останется для меня первым среди первых; Тик, Новалис, Гоффманн, эти первые мои не-русские книги, кого я слушал и с кем разговаривал. На всю жизнь они станут мне самыми близкими и понятными.

Я был полон тех же чувств; моим глазам открылось то же небо и та же земля, — то ли существо мое одной с ними сущности, и вот душа моя распускалась «голубым цветком».

И я не жалел, что судьба загнала меня «под небеса», и меня забыли — я ничего не забыл оттуда и мне хотелось понять, что же такое было во мне и есть, отделявшее меня от других, то — именно то, на что у других под сердитую руку вырывалось и обжигало меня: «грубый человек».

Редко кто заглядывал ко мне на чердак, и фабричная жизнь, раздраженные крики и глухая жалоба не проникали ко мне, и только вечером подымалась музыка: играл на кларнете тот мой брат, который писал стихи, или тот, который всегда плакал, играл на рояли, — лунатики.

Мне никто не мешал уходить с этой музыкой в мои далекие странствования, далеко от дома, фабричного двора, шумящей фабрики. И мне понятно становилось, почему, как во сне, вдруг распахивались все двери и открывалась дорога — музыкой: музыка! — это «последнее поддонное дыхание души, тоньше слова и нежнее мысли». И с Новалисом мне смутно вспоминались забытые иструменты, своим звоном вызывавшие тайную жизнь лесов: духов, скрытых в деревьях; а в пустынях, пробуждавших омертвелые семена.

И потом, как это часто со мной бывало и бывает, воспоминания, но с какою горечью, без слов, они проносились перед закрытыми глазами, и я чувствовал себя каким-то навязавшимся в эту жизнь, которому нет места.

Андроньевский колокол пробуждал меня. Глубокий голубой из всколыхнувшегося сторожевого сердца, катился он над Москвой, собирал сумерки в ночь, окликая живых и мертвых, проживших назначенный срок на земле.

КАРЛИК МОНАШЕК

В лунные сумерки, чаще после всенощной, в серебряном свете появлялся на чердаке карлик. Он входил ко мне так незаметно, ступая неслышно по сгибающимся доскам к моему столу и усаживался против меня, ногами не касаясь земли, как дети, монашек Андрониева монастыря, отец Паисий.

Я привык к монашку, и случалось, оторвавшись от книги, вдруг его вижу, не заметив, как вошел он, но меня нисколько не пугало, напротив: если его долго не было, я скучал.

Он никакой «отец» — ни иеродьякон, ни иеромонах, он только посвященный манотейный монах, носит мантию и чернокрылый клобук, а чаще островерхую скуфейку, а на руке намотаны змейкой деревянные четки, и имя его не Кирик, а перемененное при пострижении: Паисий — только и всего, но в монастыре все зовут его «отец» Паисий.

Мне только что исполнилось четырнадцать, а ему — все сорок, а может и больше, но моему чувству и для моего глаза он, во всяком случае, гораздо младше меня. Помогая снять скуфейку, я касался его будто случайно, и тихонечко гладил его по голове или дотрагивался до его крохотной ручки и осторожно проводил рукой по спине, чувствуя под жесткой рясой живые «косточки».

Он не тот, как рисуются на картинках, — «гном», не то, что увидел Гоффманн в своей сказке «Королевская невеста», морковка, и не спутник мой, любимец всех детей, мой «фейерменхен», нос колбаской, но существо его общее с ними, — порода Миме Нибелунгов и карлика Андвари Эдды — «цверг».

Сморщенный, как печеное яблоко, желтый и плоский, — «китайский», но когда я вглядываюсь в него, а он отвечает мне тихим затаенным взглядом или когда положив мордочку себе на скрещенные руки, исподлобья, не отрываясь, следит за мной, проникая мне в самую душу — напомнить ли хочет о чем то?... мне кажется, вот на заморщинившемся его лице лопнет кожа, спадет змеиная шкура и вдруг обнаружится: не жесткое, а чистое, сияющее нежным светом, лицо, как у детей — ведь он был, как дитя!

У него не было чудодейного кольца Андвари, но он носил на шее старинный медный образок и никогда не расставался: на медной доске нарезан человечек — ему стать, Кирик, а рядом с большим лицом и одним, как рог, глазом, его мать Улита, вроде улитки: и этот человечек и улитка имели власть и броню волшебного кольца.

Редко он говорил. Его голос по нем, не поражал, но никакой пищик, как представляют «цвергов», подражая мыши. А я отвечал тихонько, не как с другими: мое обычное — боюсь, ему было бы больно. Он приходил «отдохнуть». А как он вздыхает, и не просто, а с подвздохом — а такое, я знаю, только от неимоверной усталости и у затравленных, и значит, что человек надорвался или вернее, живому существу (какой же он человек!) подошло до краев.

Тот год — моя самая жаркая пора — мне открывшийся на чердаке клад: Гете, Новались, Тик и Гоффманн; Гоффманн, пламенем которого раздуло огонь моих «купальских» глаз; Гете, который останется для меня единственный; Новалис и Тик, мои названные братья, слова которых я повторял, как из далеких воспоминаний наших встреч.

Я рассказываю, что вычитал из книг, — мои встречи с мыслями и образами, а образы и символы для меня больше, чем знаки, а подлинно живые существа; и еще прозвучавшие слова, перевернутые представления, неожиданно отдаленные метафоры, соединяющие несоединимое, а в действительности где-то связанное, отчего перед глазами вдруг весь мир освещался и глядел, как впервые, или про какое-нибудь смешное

по своей неожиданности сочетание вроде комедии Полевого: «Федосья Сидоровна и китайцы». И всегда я рассказываю сказки.

В сказках меня привлекает колдовство, оборотени и превращения, — эти таинственные кувшины со звездами и лунным молоком, живая, мертвая и змеиная вода...

Мне еще не совсем понятны полеты на «думе» человека, когда колдун, задумав на кого-нибудь, принимает его образ; мне еще не все понять, что такое у Новалиса «душевное прикосновение», которое подобно прикосновению волшебного жезла, и что только впоследствии скажется и у меня по-своему, похожим словом: «пожелание», магическая сила которого, как оказывается, превосходит всякие механические посредства. Я еще смутно догадываюсь о волшебстве «первого прикосновения», «первого слова» и «первого взгляда», где волшебным жезлом будет отраженный луч света.

Мне тогда было понятнее колдовское пойло и наговорный черный порошок, превращающий в зверей и птиц — аист и сова Гауфа,— и возвращающее оборотеня к его прежней жизни заклинательное «мутабор», туфли-скороходы и трость, открывающая золото и серебро, карлик Мук, ослиные фиги, ягоды, освобождающие от фиговых ушей и носа; мне было доступнее колдовство с травой «тирлич», его настоем ведьмы натирают у себя подмышками, — «ведьма киевская и ее сестра муромская»; для моих глаз было нагляднее Гоффманнское превращение цветов в блестящих насекомых, а пестрых птиц в цветы.

Меня особенно поразило заключение одной сказки Луганского (Даля), такое неправдашное и потому такое правдивое: не прямое, а обратное превращение, где человеческий образ был только видимостью и недоразумением.

«И когда отъезжая, король оглянулся, он увидел, что из дома бобыля Строя вышли: но это был уж не старик Строй, а смиренный вол с ярмом на шее, он пыхтел и жевал жвачку, а Строиха Горбылева, тая, как туманы, вдруг прыснула серой кошкой по кровлям и заборам, и не три ее дочери: одно-

глазка Шалава, двуглазка Гулява и трехглазка Потачка, а три индейки в воротах, глазея вслед за колесницей — за королем и их сводной, изводимой ими, сестрой Палашей, и протянув шеи, кричали без толку во все индюшечье горло».

В этой сказке есть еще много чего любопытного и чудесного, — и как из зарытых в землю костей убитой коровы подымается вдруг серебряная яблонька с золотыми яблоками, как эта самая яблонька, кивая серебряными ветвями, неслышно, как на крыльях, идет перед королем и королевой, когда, выйдя из церкви после венца, направились они ко дворцу.

Монашек, как всегда, чутко прислушивался к моему голосу, точно глотая звуки моих слов, и не сводя с меня глаз. И в осенних глазах мне показалось — какое это усилие напрягало их, о чем-то напомнить мне, и какая печаль, что смотрю и не вижу, не узнаю его.

Эти осенние глаза — а они самые печальные! — это серое зеркальное поле — я встречал их в упор, и мне было также печально. Мне вспоминалась печальная осенняя дорога — сырая от дождей, непросыхающая под кротким паутинным солнцем, шарахающихся с земли бестолковых галок, крот вылез из своей хитрой подземной чернушки — стихи «Поздняя осень», музыка Чайковского, «Скучная картина», зазывающий вой ветра... но где, когда и что произошло с монашком, почему он такой; кто-то, обращенный в «цверга», или цверг, обратившийся в монашка, и только «случайно», по каким-то своим тайным делам забредший по подземным дорогам на Андрониевскую горку в древний исторический московский монастырь, расписанный Рублевым.

Я ничего не скажу, но эти печальные осенние глаза и мои «подстриженные» одного веяния или дуновения, подземного или небесного, не знаю, и в чем-то я винюсь перед ним.

Иногда весь лунный час проходил в молчании. Я рисую. На сердце играет сказка. Я давно заметил, что сказка и есть самая большая радость, оттого так и хорошо слушать сказки, — и не переслушать!

Я рисовал чудовищ из моей «чудовищной» памяти, ког-

да весь мир был для меня непохожим на мой теперешний — через очки; и еще рисовал я зверей и сны: есть в снах такое, чего, сказывая, никак не ухватить, и только в рисунке выступает отчетливо. (Так Ин. Ф. Анненский, разглядывая загадки Гоголя, прибегал к «графическим схемам», а это и есть то самое).

И как удержаться — я не могу нарисовать чудеснейшие превращения из «Тысяча и одной ночи»: марид и волшебница, для которых «под землей, в воде и в воздухе открыты врата огненных колодцев». На моем рисунке круги, в кругах звери, а от зверей сети.

«В сгустившемся мраке вдруг показался перед ней инфрит: ноги его колыхались, как мачты, огненные искры летели из глаз, а длинные его руки — как вилы. И не с криком ужаса, а с побелевшим словом гнева: «Нет тебе ни приюта, ни уюта тебе!», — она выдернула у себя из головы волос, и волос заблестел в ее руках мечом. А уж перед ней не человек и не человеческое существо, перед ней стоял лев — она подняла меч и отсекла ему голову. Но тотчас из головы льва вырос скорпион и полз к ней с открытой львиной пастью — и тогда, вся уйдя в меч, она поднялась змеей. И они закружились. И в вихре, отравленные ядом, вспорхнули: орел и ястреб. Ястреб бросился на орла. Истерзанные, кровавя друг друга, показались; он черным котом, она полосатым волком. И мучили друг друга. И из кота из-под хвоста вышел красный гранат, красной огненной точкой закружился в глазах у волка — и упал в водоем. Но волк выпил всю воду...»

— Серый волк не пьет, поправил монашек, ему довольно встряхнуться.

Да так и было у меня на рисунке: у волка — напырщенная шерсть.

«Волк встряхнулся — и со дна пустого водоема поднялся гранат и рассыпался мелкими зернышками по мраморным плитам. И не волк, бросился на зерна — и все подобрал, одного не нашел: а это и была душа джинна. С криком кружился петух по плитам, клевал камень и вдруг видит, что-то

блеснуло — тогда огромной рыбой щукой, водой заполняя водоем, поплыл за серебряной рыбкой. И они плавали, щука и пискарь. Но пискарь не поддавался, выскользнул из-под раздувающихся ноздрей щуки. И вдруг не пискарь, чудовище поднялось перед щукой, не искры, пламенные языки лились из его глаз, а под ними кипел огонь и удушливый дым валил изо рта. Но щука огромным раскаленным углем задымилась навстречу. И огонь сомкнулся над ними. Сожженный марид рассыпался пеплом, а она, обессилев, тенью склонилась над ним, сама холодея, как пепел».

В лунный час я читаю стихи: из Пушкина «Цыганы» и «Сказку о рыбаке и рыбке»; из Лермонтова: «Выхожу один я на дорогу». Я читаю вслух.

Еще тогда по своим ошибкам я стал догадываться, что стихи следует читать про себя: если человек одарен внутренним слухом, перед ним раскроется вся «магия слова», ну, а если вместо слуха пробка, то ничего уж, и «живая мука» Лермонтова не взволнует. А, чтобы исполнить стихи, требуется много: надо не только уменье точно передать ритм, но еще и голос, да и не всякий голос годен.

Я читаю и прозу, в прозе свой ритм и, как в стихах, каждая вещь ладится по-своему. Я читаю вслух сказки Тика. Людвиг Тик родоначальник Гоголя. Что может быть ближе и нам с монашком, как не эти магические сказки! Сказки надо читать «раздумчиво», по верному слову Гете. Я читаю сказку о покинутой девочке, заблудившейся в лесу, и как попала она в избушку на курьих ножках к лесной колдунье.

«Ночью я часто просыпалась и слышала, как кашляла старуха и разговаривала с собакой; и задремавшая птица повторяла сквозь сон отдельные слова своей песни. За окном шумели березы и где-то далеко заливался соловей. Все казалось таким удивительным, что я не чувствовала, как проснулась, а думала, что перешла во сне в другой, еще более странный сон».

И меня вдруг осенило: монашек знает и эту лесную избушку и эту покинутую, тайнами овеянную ночь и пробуж-

дение в другом еще более странном сне. Его осенние глаза, не отрываясь смотрят на меня — лунный луч серебрит их зеркальное серое поле — задрожавшие слезы.

* * *

Он был самый бедный в монастыре, беднее Игоши...

На паперти в зимнем соборе теплое местечко Игоши никак не минуешь, когда, поднявшись над трапезной, вступишь по скользким каменным плитам в Рублевскую сокровищницу кротко сияющих ангелов. Без рук и без ног, рожа красная, масляным блином вымазанная, по черной плисовой жилетке, от кармашка к кармашку серебряная цепочка, никаких часов, да и несподручно, цапкий на зуб и язык, попробуй не подать, он тебя так отшваркнет, жестче и больнее и самого волшебного «игоши», выкидыша-домового из «Пестрой» Одоевской сказки, пугающего детей и зло-потешающегося над взрослыми. Но чего это я про Игошу? или — да и в самом деле, какая еще есть беднющая бедность: без рук, без ног! но ведь андроньевский-то Игоша был самый богатый среди нищих, а может, и побогаче любого послушника-певчего.

Бедность монашка — карлика отца Паисия — сравнима только с моей бедовой мечтой: с самых ранних лет меня преследовал образ «немой и гордый», но это был не Лермонтовский демон, это была бедность, без крова и приюта, с сердцем, переполненным горечью — образ, «сияющий такой волшебно - сладкой красотой...» я хотел быть «последним» человеком. Потом это прошло, отравили первые укусы жизни, — нет, это совсем не сладко! но всякий раз, когда я узнавал знакомый образ, во мне закипала горечь и в чем-то я винил себя — «и душа тоской сжималась».

О. Паисий самый бедный, никакой должности, и на его долю не перепадало и тех крох, какие доставались послушнику из «халтуры» и «кружки». Держали монашка для виду и на волю Божью: много ль такому надо, как-нибудь перебьется! А очень чудно было смотреть: одна его острая ску-

фейка-колпачок — живая сказка, а клобук и мантия — умора.

Когда копали могилу, он суетился со своей игрушечной лопаткой, а если работали в склепе — с молоточком, только какой прок, одна забава. И жалко было смотреть, как кулачками вытирал он пот со своего сморщенного «китайского» печеного яблока и дул на мозоли; саднящие на его нежных, как перепонка, ладошках.

И кельи у него не было, ни своей койки, ни своего стола, ни сундучка, а ютился он где попало по коридорам, а чаще в подвале — в «землянке», где в век Якова Беме и Паскаля, в блистающий век русской природной речи держали «заключевников», особенно провинившихся, «государственных» до пытки и после пытки огнем, и где сидел на цепи сам протопоп Аввакум.

Над монашком все потешались. И своя братия и богомольцы. А и действительно, чудно! Где-нибудь у скосившихся крестов кладбища и дальней башенной ограды, куда сваливали в дощатых некрашенных гробах лежать до «радостного утра» бедняков и горемык, можно было заметить развешенные на веревке детские штанишки и сорочку, с развевающимся шнурком. И это особенно трогало чувствительные души — жен запойных и безместных, матерей блудных и потерянных — у той помер единственный, у этой «сбился с правильной пути». Говорили, будто от монашка и чудеса бывали. Но горемычный ли это слух или монастырский, пущенный «стяжания ради», не знаю.

Трогать монашка зря не трогали, а случалось, поколачивали — просто потому, что ни на кого не похож, а ведь непохожее всегда любопытно, но и не любят. Путается какой-то, ни человек, ни козявка... а ведь терпимо только то, что незаметно, не мозолит глаз. И разве прощается, когда в веселой компании, а эта чучела, скажите пожалуйста, не поддается ни на какую и на самую соблазнительную «фуфырку»: карлик не пил. Бывало и тихомолком, походя который-нибудь скажет: «карла!» но бывало и громко. И из всех лютовал над

монашком о. Михаил: на сердце иеромонаха была какая-то лютая горечь, «своя ошибка» и со скрежетом: «не могу видеть этих глаз, проклятая карла!» — тяжелая, покрытая конским волосом длань сорвавшего голос на Богородичных паремиях бывшего иеродьякона опускалась на присмиревшего, сжавшегося в робкого мышонка бедного монашка.

Больше для потехи, а потом уж привычка, монашку принято было говорить «в спину», — очень это мучительно и никогда не привыкнешь к прерывающим начатую мысль неясным, неразборчивым окликам: монашек, вздрагивая останавливался в замешательстве, ничего не соображая — вид достаточно-таки дурацкий, над чем можно всегда посмеяться.

И тоже повелось: когда что роняли, поднять должен был монашек: «ты карла, говорили, тебе ничего не стоит!» Монашек покорно нагибался: ему, действительно, ничего не стоило, но все-таки, нырять день-деньской. И если что пропадало — особенно отличался о. Никодим, ну прямо из под рук исчезали вещи до пустяков... клобук, просфора, четки или засунет в надежное местечко и забудет, а о. Афанасий терял очешник, и всякий раз кличут монашка искать. Монашек все пересмотрит и перетряхивал, его не стеснялись, монашек взгромаздывался к киоту, залезал под койку, пока не находилась пропажа, монашек и из-под земли найдет! Но случалось, что и искать нечего было — подшутили! а значит, всякие лазанья и залезанье, вынюхивание и выглядывания, все зря, — монашек чихал, как кошка, весь вымазанный, выпыленный, смехота!

И еще повелось: что бы ни начал монашек, его обязательно прервут; лучинку ли щиплет или примется штопать свою изношенную единственную ряску, карлика зовут. Его тормошили без милосердия и непременно оговаривали: все, что бы он ни делал, все не так! — а ведь часто просто не успевал он, да и запутаться не мудрено было. И всегда под грозой: как дети коверкают игрушку, чтобы во внутрь заглянуть, так было и с монашком. Догадки и всякие предположения оканчивались спором, а спорили на чайную Беловскую

колбасу. И к великой досаде ни разу не удавалось: у спящего карлика добирались до его нательного образка — на меди нацарапанных Кирика и Улиты, этого волшебного, оберегавшего, кольца карлика Андвари, монашек вдруг пробуждался и, фурча, ежиком убегал в потайной заугол своей землянки, выманить его не было никакой возможности — на ласку и на угрозу равно не отзывался.

И что я заметил, на Пасху в самую трепетную минуту, когда на стихирах начинали «Воскресения день» и весь хор подтягивался, а у запойного о. Никиты по впалым щекам катились робкие слезы... «и друг друга обымем» — монашек каменел в своем «китайском» бесстрастии, желтый, непохожий под сенью кротко сияющих Рублевских бесплотных сил.

И что еще я заметил, никто никогда с ним не христосовался: «карлик еще укусит!» И его обходили; и свои и богомольцы. И когда — а это случилось как раз в мою жарчайшую минуту моей бедовой мечты перед лицом горчайшего образа последней бедности последнего человека — я подошел к монашку и, погладив его, как детей трогают, перед блистающим Рублевым и темным, тут засветившимся от пасхального напева, всем Андрониевым, поцеловал его моими горящими губами, его змеиную жесткую солоноватую кожу, и в ответ мне, вдруг вздрогнув до блесток, протянул он свои ручки и как-то нечеловечески, торкнул, как голубь, и я почувствовал — так однажды в русской лавке у Суханова я тянулся в толкотне, ожидая очереди за «ежиной» колбасой, и с чьего-то плеча меня поцеловала собака — язык шелковый, и тепло — как однажды, встретив на улице мальчика, так уморительно посматривал он, только что схватив листок рекламы, я не удержался и легонько смазал рукой его рожицу и он под моими щекотными пальцами тепло поцеловал мою ладошку.

И с тех пор монашек приходил ко мне в вечерний час по серебряному лунному лучу на чердак.

К карлику я привязался, скучал, когда долго не было, и радовался, когда его черный колпачок серебрился у моего сто-

ла. Товарищей у меня не было — единственный фабричный Егорка, которого сплющило маховое колесо, и вот монашек, он тоже верил всем моим сказкам. И он, этот цверг чувствовал себя со мной, как у себя в кругу своих — лесавок и мавок, травяниц, древяниц, моховых и дупляных. Он приходил ко мне отдохнуть. И я понял, почему он так глубоко и с таким подвздохом отдышивается, не спуская с меня своих осенних глаз.

Эти одинокие и непохожие — осенние! Эти кинутые судьбой на землю или вышедшие из-под земли и заблудившиеся среди людей! или, как я, а я так себя всегда чувствовал, однажды колдовскою ночью втеревшиеся в человеческую жизнь без зова, нежеланно, безуказно — какое-то проклятие тяготеет над всеми нами и только последняя минута жизни помирит с судьбою, и как горькая тень ложится по нашему следу!

«Когда-нибудь не будет больше природы, будет мир духов, — читаю из «Голубого цветка» в сегодняшний лунный час, — тогда опять звезды станут посещать землю, с которой рассорились в дни потускнения: тогда солнце сложит свой скипетр и будет звездой среди звезд, и все поколения земли снова сойдутся после долгой разлуки. Тогда встретятся древние осиротевшие роды, и каждый день увидит новые приветствия, новые объятия; тогда вернутся на землю ее прежние обитатели; на каждом холме зашевелится снова вспыхнувшая зола, везде загорятся огни жизни...».

Монашек прощался и я провожал его, следя. Его острый колпачок в лунном луче, черный, вздрагивал, искрясь серебром. С протянутыми руками, как плывя, неслышно пробирался он к двери и вдруг исчезал.

Да так в один прекрасный день и исчез.

В последний раз монашек разговорился. Я любил его слушать. Он говорил одними губами, строя катушку, как дети, неправильно и наивно вроде «собака водил» и что-то китайское было в его оборотах русской речи, очень чудно.

Он рассказал мне на прощанье о «будунтае» — такой

есть переметчик будунтай, тоже цверг: и как вылезет из норки черным барсуком и перекидывается во что ни задумает, а больше всего любит камушек, упадет на дороге, ляжет камнем, греется на солнце и все ему видно: всякую пору знает и причину и оборот во всяком деле. А чтобы обладать им, надо проколоть его тень и он тебе будет служить: хочешь, обернет тебя в коня, хочешь — рябой сорокой, чем пожелаешь.

«*Талы* у него совьи — сквозь ночь все видят, говорил монашек, руки — *бяблы*, лягушачья перепонка, и в речке плывет, как гоголь!».

И почему-то в этот последний раз — или чуял? монашек решился показать мне свой заветный образок, носил его на груди, как крест. И когда он расстергнул себе ворот и полез под сорочку, я заметил, что кожа на теле совсем не змеиная, а розовая, как у детей, только очень он был худой: костки и ребрушки наружу! На образке в нацарапанном на меди человечке я сейчас же узнал монашка, Кирик, а в одноглазой Улите речную улитку, его мать. Я так и сказал, но он ничего не ответил. Но, пряча образок, он трижды повторил — и это было цвержье заклинательное слово:

«Гу-га!»

Что произошло с монашком, я не знаю, только монашек пропал.

А когда я пришел в келью к о. эконому справиться, куда девался о. Паисий, мне почудилось колбасой пахнет... или монашек потерял свой медный образок, свою волшебную защиту, и без нее ему, как без рук и без ног, или и не терял, а у спящего, озорства ради, сняли, пускай поищет!

— Это такая порода, сказал о эконом, на одном месте долго не высидеть, глаза, как у волка, в лес. И притом же досконально известно, хвост! — и скосясь, показал на свой закорузлый мизинец, и что-то еще хотел добавить, да из за ширмы, где «сервировалась» трапеза, раздался голос о. Никиты:

— Эконом, прекрати!

Мартовские сумерки — вестницы белых ночей, вербные. Наша квартира в первом этаже на 5-ой Рождественской, окна над тротуаром, никакого неба, соседние дома в упор и через ворота вторые дворы, темно. Я огня не зажег, сумерничал. И должно быть, далеко забрел: как забылся. И вдруг увидел, и мне ровно с самого дна всколыхнулось: у моего стола беленький монашек пристально следит за мной. И я: как пробудясь — знакомые осенние глаза! А он все смотрел на меня, точно проверяя. Лицо его было не морщинистое «печеное яблоко», весь он светился чуть с синью из сумерок, а в руке держал он ветку — зеленые крохотные листочки, беленький монашек.

«Монашек! обрадовался я. Я тебя знаю».

Он горько улыбнулся и с каким-то восторгом: как задохнувшись — подал мне дрожащую зеленую ветку. Не зная, что бы такое сделать монашку... я крепко держал мою ветку, и чего-то боюсь: вот вырвут у меня зеленые листочки и тогда все исчезнет.

И все исчезло. Но мое чувство, — в тот вечер, как поднятый с земли, я летел над землей, и кто бы ни пришел к нам, всем я рассказывал о монашке. Никто не поверил, я это видел, но глаза у всех порошила моя зеленая ветка, и улыбкой светились и самые черствые безулыбные губы. А ночью я начал мою идиллию «Посолонь», которая и начинается с «Монашка».

И что удивительно — через много лет, когда так многое смело — костяная метла! — и опустела земля, одни сиротеют кресты, не позабыл я монашка, но и не вспоминал. Как-то перед Рождеством уж тут в Париже кто-то принес и оставил для меня «с Литвы на елку». Развернул я сверток и глазам не поверил: образок — на меди нацарапан человечек, а рядом одноглазая знакомая мне улитка, Кирик и Улита! Монашек обо мне вспомнил.

ЛУНАТИКИ

«Видит он море света — течет, наполняет собою весь мир; видит потоп наук и искусств; гибнет математика; ломаются линии, расседают плоскости, тонут тела... Волны света вырывают из вычислений целые формулы с корнями, размыли громадные строения уравнений всех степеней, отторгают синусы и косинусы, тангенсы и котангенсы, от кругов, элипсисов, парабол и гипербол; сбивают с пути параллели, дробят хорды, диаметры и радиусы... рассыпались цифры, распалась таблица умножения и логарифмы: разбилась алгебраическая азбука; сложение, вычитание, умножение и деление слились вместе: плюсы и минусы отделились от букв, погибла величина, все обращалось в ноль целых, ноль десятых, ноль сотых, ноль тысячных...»

А. Ф. Вельтман, «Лунатик» (1834).

Если вы будете уверять лунатика в его ночных акробатических проделках, он никогда вам не поверит:

«Все это вздор, с больной головы на здоровую!»

Так мне говорили мои братья, когда я пробовал рассказывать им о их полнолунных ночах.

Мне хотелось дознаться, что чувствуют и как себя представляют водимые луной, эта порода человеческая, о которой глухо вспоминают лишь сказки: я им показывал их покарнизную дорогу и как с простертыми плывущими руками держались они там на таких последних кончиках в высоте, дух захватывало подумать; всегда не просто, а с широко-раскрытыми бледными, пустыми глазами, или с опущенными, из под

которых струились лунные лучи; и почему каждый раз проделывают они одно и то же неизменно?

И потому, как они меня слушали, — раздражаясь, если уж очень донимал, но чаще подымая на смех меня, «завирашку», я понял, что лунатики ничего не помнят и ничего про себя рассказать не могут и никакими намеками не восстановить им их загадочные, не наши, деяния.

Так и воскрешенная дочь Иаира и «четверодневный» Лазарь на все расспросы ничего не могли вспомнить о своих загробных, и конечно, наполненных событиями не нашими, не наших днях и ночах.

«Бесноватые и порченые» на исповеди да и так на сердечное внимание открывали свою мятежную душу о терзающем их виденном и слышанном, обходя молчанием свои беспамятные испытания — свои подгрудные (чревовещательные) кличи и разговоры в себе (чревные) на разные голоса: человечьи, звериные и птичьи.

А у лунатиков полное беспамятство.

Их беспамятство — равное великому самосохраняющему «забвению» человеческого рода, для которого прославленные «детские слезинки» Достоевского, этот последний довод «совестливости» и «непримиримости», на поверку, не более, как трогательный литературный образ — без последствий.

И беспамятство, и безмолвие: бормоча, лунатик далеко не уходил, а топтался на месте; собственный голос, хоть и бредовой, беспамятный, создавал преграду лунному зрению и путал дорогу. Но всякие посторонние звуки не были помехой: скрыпнувшая кровать, случайно опрокинутый стул не преграждали пути. Только живой окрик мог вернуть к обычной жизни. И меня предупредили, чтобы этого я никогда не делал: его действие, как испуг из-за угла — внезапно пробужденный кричал до дрожи, до корчи, до пены, захлебываясь в слезах; а если окрикнуть в окошко, когда уж началось, человеку не сдобровать — разобьется на смерть.

Таясь, я наблюдал происходящее ночами в детской, воз-

никавшее при полной луне, которую не могли затенить и наши занавешенные окна.

Тот мой брат, который считал себя «умнее» меня на год, всякий раз на тайный лунный зов вылезал из окна и по карнизу проходил на другую сторону дома; там, спустившись по желобу во двор, шел к курятнику и в курятнике тщательно подбирал перышки, и, собрав их кучку, той же дорогой возвращался и опять через окно в комнату на свою постель, тихо засыпая, как ни в чем не бывало.

А тот, что писал стихи, спускался из окна — со второго этажа — на эту сторону, к улице, перелезал через утыканный гвоздями забор и шел к соседней щелястой загородке, к тому загону, около которого прохожие обычно «останавливались», — и стоял... и, постояв, весь облитый луной, опять — через забор, и шел по двору мимо курятника к дровам: там раскладывал дрова, ставя полено на полено, на тонкое толстое и еще толще, как мэнгиры в Карнаке на океане (Москва тоже — на дне океана!), и, состроив неподобный ряд, возвращался по карнизу через окно и тихо продолжал свой лунный, но уж безмятежный сон.

Их движения были как свет, как ручей, — они ловко обходили препятствия. А если, случалось, в своих путях они встречались, прикосновения их друг к другу не были чувствительны, даже если бы стукнулись лбами: общий им лунный покров предохранял их.

И что удивительно: это беспамятство, это безмолвие и, на наш глаз, бесцельность; и в этой бесцельности неизменно: всегда одно и то же — у одного курятник, у другого — «загон» и дрова, без всяких отклонений, механически.

Еще на нашем дворе «ходила» слесаря Назарова Лиска: лунною ночью она вылезала на крышу и шла к дымовой трубе и там залезала в трубу — что она в трубе делала, никто не мог сказать — и потом выходила, как вылетала, и шла по карнизу, плыла, простирая черные руки, чертенком, и вся-то острая лисья мордочка ее была в саже запачкана, только рубашка, без пятнышка, сине-белела при месяце, да четыре

тонких луча, по два на глаз, серебряным плавом зловеще лились из-под плотно замкнутых век, и черные косы еще чернее, блестя, змеились по костистым плечам на белом.

Андревна, бабушка Назарова, задумала отучить девчонку от этих вещей: срам! Она сама в ее годы, девчонкой же, чудила, — так рассказывали, но в рассказах ни о каком безобразии не было и помину, напротив, всем было на потеху. В полнолуние она подымалась и, как не живая, с плывущими руками шла прямо к ларю, она знала, где хранились яйца, и там заберет из лукошки десяток в решето, и держа решето, станет лицом в самую луну — и начинает потряхивать; яйца от толчков мордочками выпрыгивали, как из воды серебряные рыбки, — и чудное дело, кокаются друг-о-дружке, а не бьются. То-то потеха! Да какой-то задумал подшутить, набрал себе полон рот воды, да как брызнет — метил-то в яйца, а угодил на руки, — яйца, стукнувшись, вдруг кракнули, и желтым золотом залилась скорлупа, размазанное липкое решето выскользнуло из рук на пол и, точно огнем ее хляснуло, она всплеснула пустыми руками и с криком проснулась. И с тех пор отвадило. Но одно дело яйца, а другое — в трубу лазить. И вот, чтобы отвадить девчонку, поставила Андревна у ее кровати таз с водой, и та, поднявшись в свое время, попала теплыми ногами в воду — и проснулась.

От трубы Андревна отучила, больше ни ногой на крышу, но с Лиской вскоре приключился «родимчик»: вдруг ни с того, ни с сего стала кричать — «без причины». И уж никакая вода не помогает. И пусть девчонка, надрываясь, клялась месяцем: «Бабушка, я не виновата!» — потащили ее в Симонов монастырь «отчитывать». Да так и пропала в кругу бесноватых.

Нянька Прасковья Семеновна Мирская (ее сын, половой с Зацепы, прибавлял к Мирскому «Святополка» и «наказного атамана»,— «за неграмотностью» для особо разгонистого росчерка подписывая: «трактирный служитель перворазрядного трактирного заведения Ивана Александровича Прокунина и для извозчиков Димитрий Леонтьевич Святополк Мирский...)

нянька кроткая, терпеливая и покорная, «закопыченная в крепостях», веруя в Андревну, доказавшую на примере с Лиской, да и по собственному опыту, что вода, как «сродственница естеству лунному», верное средство огородить от лунного беспокойства, поставила в лунную ночь таз с водой и улеглась в своем уголку в детской.

Ночью поднялась она по нужде («за малой нуждой, девушка!») да прямо ногами в таз и угодила. И вопреки всякому убеждению о воде, как отрезвляющем средстве, — или тут луна волхвовала? — вообразила старуха со сна, что попала она на речку, белье полощет; хватилась, а белья-то и нет, всего-на-всего одна простыня! — ни полотенец, ни платков и хоть бы какие завалящие подштанники — не то ветер унес, не то недобрый человек стянул? И пошла, простирая руки, шарить по комнате, да со-слепу и сковырнула графин с водой: ей и полилось на рубашку. «Девушка, — крикнула, — тону!» И потонула.

С тех пор няньку прозвали «утопленником», а все безобразие с тазом приписали мне. Правда, таз я переставил — под няньку, но в остальном, ей Богу, не виноват!

Не вода, для прекращения ночных опасных прогулок в окна детской вставлены были деревянные решетки и уж вылезти из окна никак невозможно стало. Но я заметил, что, в нарушение всякой самоочевидности («часть всегда меньше целого»?), и самая узкая и тесная клетка не могла стать преградой: свободно просовывалась лунная рука, куда не проткнуться и обыкновенному пальцу. А стало быть, лишь бы только щелка — выход для лунного тела есть. И только неизбежное усилие как-либо извиться и опровергнуть Эвклида отводило.

И тогда начиналось мучительное блуждение по комнате: в ночных сорочках с голыми ногами, ловя лунный манящий луч широко-раскрытыми бледными пустыми глазами, они ходили, с отчаянием простирая плывущие руки.

Я все видел, но меня никто не видел: я был в этом мире.

И мне казалось, что и друг друга они не замечают в своем лунном мире. Но сам я, наблюдавший из другого мира...?

Я заметил, что в сумерки, проходя через комнаты, я невольно протягиваю руки — было похоже. А ночью меня тянет к окну: я вглядывался в ночь и мне представлялись в ее снующей кипящей черной жизни какие-то крылатые звериные существа, драконы, птицы, змеи. В светлые ночи я смотрел на луну в ее уводящий без конца путь и, весь охваченный лунной грезой, я усиливался проникнуть в глубь тающего света, дойти до какого-то распада («когда все обращалось в ноль целых, ноль десятых, ноль сотых, ноль тысячных...») и заглянуть в ее бездонную сердцевину, и мне казалось, что вот-вот я услышу... — и это было очень похоже.

От лунатиков скрывают; никто никогда не назовет: «ты — лунатик». Только одна Андревна, стыдя, выводила на чистую воду свою Лиску: с кем и чем девчонка по ночам в трубе занимается, и как эта рубашка ее не пачкается?

Лунатиков не расспрашивают, чтобы не напугать, и говорят про них тихонько. Но мне при моем слухе... (я прислушивался ко всем разговорам), и всегда называли лунатиками моих двух братьев и только о них шептались: «ходят».

Брат с «курятником» часто плакал и прозвище ему — «плакса», и все он жаловался: показывал себе на левый висок, где больно, и был всегда печальный; хороший математик, впоследствии бухгалтер. Брат с «дровами» ни на что не жаловался и из всех отличался необыкновенной чувствительностью: при чтении на трогательных местах не мог сдержать слез и сам писал нежные стихи, всегда в кого-нибудь влюблен и часами просиживает у окна, мечтая; хороший голос — окончив гимназию, поступил на медицинский, но скоро перешел в филармонию; впоследствии неудачливый биржевой маклер.

Со мной не то. Я и лицом ни на кого из них. Я никогда не плакал. Раз только, но это было так давно, кроме меня никто не вспоминал: а заплакал я со сна, испуганный пожаром, мне показали в окно — напротив горел сахарный завод; си-

няя, пронизываемая молниями, воздушная шипящая громада, разваливающаяся кусками, как живая, — сам камень растает! Я никогда не плакал и ничего не боялся и про меня говорили, будто мне все ни по чем и меня ничем не проймешь — «отпетый». А на самом деле, при всей моей «толстокожести», я все-то чувствовал, но только был я как в броне, а это и приписывалось моей «грубости». И не по этой ли «грубости», проницаемой и для самых тончайших волнений, а вместе с тем, все, как заключающей собой и безвыходно, я, открытый луне, не был лунатик, как мои беззащитные братья?

Лунатики — эти «активные сновидцы», они снов не «видели» или и снилось им, но не было памяти. Мне, не лунатику, открылся памятный мне волшебный мир. А это ведь та же луна — чары луны — это луна, плывущая в пространствах «над миром снов».

Упоенный какой-то горечью, я смотрел на нее: ее зеленые глаза волной бежали... сея серебряным туманом, неслась она от звезд к звездам, сама «как греза звезд»; не было конца ее полету и моему желанию достичь ее нет преграды! — все выше, тая, она улетала, безнадежно. Весь в зеленой пороше, я не мог оторваться. Я руки простирал к ней — и так смотрел в цепях ее власти. Ее горькая зелень проникала мне в сердце. Тогда, ослепленный, я подымался и шел, безудержно, следя за серебряным лучом — ее рукой...

И разве могу забыть я нашу первую встречу!

Я и Гоффманна принял, как свое, потому что наши глаза одного света, а свет этот резкого трепета, режущего огня и лунного блеска. И это мне моя мать назвала впервые имя: Эрнест-Теодор-Амедей Гоффманн. А цыганка Елена Корнеевна, державшая библиотеку на Моросейке на углу, как поворачивать к Чистым прудам, выдала мне 12-ти томного Гоффманна: «Щелкунчик» и «Неизвестное дитя», эти первые сказки ввели меня в круг Серапионовых братьев. Ближе Гоффманна, я не знаю, кого назвать мне из писателей.

И еще я помню: синими кусками она затопила комнату,

мою простыню, и подушка посинела, и на моих руках пальцы заклещены в синие кольца... синими глазами, неотрываясь, она глядит, бездонными, но я чувствую, они устремлены мне в самое сердце, и, не я, она рвется ко мне: от звезды к звезде бесшумно она проходит, пороша синим серебром, и стоит в окне, чаруя. И я не могу оторваться и все во мне поет. И с песней, звенящей серебряными колокольчиками, я подымаюсь к окну, я руки простираю к ней — и она медленно отходит, синим серебряным певучим лучом-поясом своим влача меня за собой...

И разве могу забыть я мой первый сон!

Это Гоголь. Гоголь, открывшийся мне через украинскую песню, пропетую в Москве Заньковецкой. И когда я услышал, Гоголь, чужого неба — ведь у нас и звезды-то с булавочную головку и никакой сорочинской сини! — и чужого лада (у нас и цветы тихие, колокольчики, кашка, и никакой мальвы, никаких маков, так и в слове, все очень просто!), вдруг зазвучал мне моим и своей «Майской ночью» и своим «Вием» и своей лунной Катериной. И я не знаю, кто еще из писателей так нерушимо зачаровал меня словом.

И еще один образ ее я не забуду. И такой она во сне мне снится — «все тот же сон»; пробуждаясь, я с болью встречаю рассвет, не глядел бы!

Из-за белой колокольни Андрониева монастыря она выплывает. Я ее слышу. Подхожу к окну. Она остановилась. Ее бледное лицо окаймлено розовым и около глаз и рта и над бровями искривленным крестом по зелени розы. И она меня видит. Мы смотрим друг на друга. Только! — нельзя — больше! И я различаю ее шопот... полуслова, и эта тень слова захватывает клещами сердце. И у меня опускаются руки.

Что я тогда знал или что я такое сделал? И вот я понял, что нет ни вчера, ни завтра, они в одном — в сейчас, и я должен ответить — я отвечаю и за то, что

было и о чем позабыл я, и за то, что будет и чего я и не подозреваю. И это, как во сне, вдруг все, вся судьба.

Укор или совесть? — искривленные розы и зелень и дорези упорно немигающие глаза: «убивец»! Тарантуловым черным огнем она каплет мне в душу. Я цепенел с закрытыми глазами. И чувствую, она не ушла, она в другом окне. И не уйдет, она следит за мной.

«Непоправимое» Бодлэра? — Достоевский? И эта боль, этот укор и самое слово «убивец» из «Преступления и наказания»... Но кто же из писателей так глубоко ранил меня, вызвав к свету мою бедовую мысль? Бодлэр и Достоевский.

*

Не понимаю — или и тут луна волхвовала? — как я прошел бесконечный двор, минуя курятник, где брат считал лунные перья, мимо фабричных спален, где забившаяся в трубу, чертенком вылетала при месяце Лиска, и дровяного склада, где другой брат громоздил свою лунную стройку, мимо фабричного корпуса, где у чугунной двери, в глазах невытравляемой моей памяти, на блестящих осколках лежал Егорка и курица-деревянная нога караулила его истерзанное колесом, сплющенное ремнями синее тельце под рогожкой, мимо плотницкой, мимо конюшни, мимо парадной дубовой двери белого дома, я вдруг попал в палисадник.

Дом в котловине старинного вала (Садовая — Земляной вал) и вверх по насыпи до улицы перед домом цветник.

Но никогда еще не видел я таких цветов — только что политые, они жадно раскрыли синие и до-синя белые чашечки и дышали, запорошенные воздушной серебряной пылью. Кружась, я шел по дорожке, но не хрустящей, посыпанной красным песком, она под ногами, волнуясь, мягко чернела. Я направлялся к окну подвала: там, за железной решеткой проводила свои столетние годы наша дальняя родственница (Ладыгина), за доброту и приветливость все ее звали «бабинька» — единственное существо, которое не встречало нас в этом белом доме злым лаем.

И я, как всегда, заглянул за железную решетку в подвал поздороваться. Но это была не старая «бабинька», там сидела у окна и сматывала огромный клубок чья-то мать. И я видел в ее синих глазах, с какой радостью они встретились с моими неожиданными глазами. И она поднялась и, все глядя на меня, подала мне из-за решетки яблоко. Я взял яблоко в руку. И пошел. «Золотой налив!»

Но не по чернеющей дорожке шел я, а прямо по цветам, крепко держа в руке яблоко. И не вверх шел я к улице — в вихре серебряной пороши с дыханием цветов я плыл куда-то в пропасть, и за мной глаза, я чувствовал, они звенящими синими колокольчиками плыли, провожая.

И вдруг с повевом душистого ветра почувствовал я, что голова моя прорастает. И увидел себя: на моей голове, из меня подымаясь, качались ветки. Я схватил одну торчащую над правым глазом и выдернул с корнем: зеленая — папоротник!

БЕДНЫЙ ИОРИК

«Бедный Иорик, я знал его, Горацио, человек с бесконечным юмором, с дивною фантазией...».

Отслужив Шекспиру, Иорик предпринимает с Лоренсом Стерном свое «сентиментальное путешествие в Париж чудить. А из Парижа дорога ему в Россию. Радищев первый обратил внимание на «Иориково путешествие». И начинается его русская слава.

Через Карамзина, Пушкина, Гоголя, Марлинского, Лермонтова, Погорельского, Одоевского, Греча, Полевого, Вельтмана, Дружинина, Булгарина, Сенковского, Белинского и Аполлона Григорьева — на Москве и в Петербурге все с Иориком коротко знакомы. В России Иорик свой. Но ни у Толского, ни у Достоевского, тоже и у Лескова, имени его что-то не слышно. И только при Чехове снова заговорили о Иорике в Москве.

Иорик не театральный и не из книг, а живой, каким дал его нам Шекспир, ходил по московским улицам и заставам и тешил у задних фабричных и заводских ворот фокусами, музыкой и прибаутками. При его появлении все оживали и даже заспанные после ночных работ глядели прямо, а загулявшие отрезвлялись, и имя его звучало по-русски в лад с безобидной щерястой присмешкой: Ерник.

Иорик берет в свои живые тонкие пальцы два длинных блестящих гвоздя. — Мы потеснее придвинулись и насторожились: начинается представление! — Поводя у себя перед носом, как бы вдыхая металлический вкус гвоздей, а затем разведя в обе стороны «воздушным» поцелуем — «Сработа-

ем!» бесстрастно говорит он, и, вызывающе-упорно глядя в восторженно-разинутые рты крепко сомкнувшегося кольца зрителей, ловко и легко, как перышко, всовывает гвозди до самых шляпок себе в ноздрю: в ту и в другую.

Затаив дыхание, мы ждем развязки.

У Иорика больше не блестело из носа — шляпки втянулись в ноздри, а лицо его без кровинки еще зеленее и только глаза, как два уголька, да над ними беспокойные бархатные черные змейки. И вдруг — подставя ко рту ладонь, он выплевывает себе на ладонь гвозди.

Гвозди у всех на виду — те самые, без подмены, блестящие, длинные — гвозди дымились. И непритворное удовольствие разрисовывало рожи на наших, на дотошных недоумевающих лицах.

Из штанов Иорик вынимал яйцо: яйцо вкрутую, тяжелое... желающие могут проверить, бери, не бойся, в обе лапы! И чья-то робко тянется потрогать — «да тяжельше камня!» И как с гвоздями, повертев яйцом у себя перед носом, а вместо расходящегося «воздушного» поцелуя, подняв яйцо высоко над головой — «Сработаем!» безразлично говорит он, и, широко раскрыв рот, проглатывал яйцо без облиза.

И снова, протомив зрителей, вынимал он из бездонного кармана красный, цвета гоголевской адской красной свитки, хрустящий платок — и выглотнутое без всякой натуги яйцо с красным волшебным платком опускалось в плисовые штаны к горячим гвоздям.

Яйцо ли, платок или гвозди или все вместе — Иорик вдруг, как платок, пламенел весь. — Я заметил: спички! — Тыча заженными спичками себе в уши, в ноздри и в рот — и одни, погасая, из него вылетали, но тотчас же вспыхивали новые и уже горящие лезли обратно в уши, и ноздри и в рот. Он высоко подымал голову — и они горящею ржавью подымались над его головой, и голова его костром горит и искры — круть.

С ужасом шарахались зрители, давя друг друга — и под визг рассеивался дым.

Иорик стоит весь белый — зеленые волосы. И из белого горячее два раскаленные угля таились, а над глазами шипели две черные змейки. — Браво!!!

За представлением музыка.

Музыка Иорика самодельная: это была та самая «трынка-волынка-гудок» — тоненькие пилы для выпиливания рамок, укрепленные на колках, пузырь с пистоном и рожок.

А какие звуки! Из каких они шли пропастей или безвозвратных омутов? Какая, значит, тоскучая тоска в сердце самой «природы», в подглуби живого существа! В испанских кастаньетах и у цыган я узнавал этот поддонный оклик и зов на — без возврата. О этих звучащих омутах нигде не говорится и как их выговорить? — но они есть и были, они веяли до жизни, до первого тяжкого человеческого слова, вырвавшегося со вздохом из нестерпимой муки или, все то же, от переполненной души. И я скажу, что самое трепетное в поэзии и самое чудесное в сказках — это их веяние и отголосок, и без них только бумага, печатные знаки и только не живые звуки, а вата — серая скука.

Музыка, подымая, погружала нас в глубокую задумчивость, я заметил, редко не обходилось без слез. Ясным голосом рожок возвращал нас на просторы нашей тесной и бедной жизни.

Иорика награждали копейками — больше кто из нас может! Деньги собирала кроткая ушастая собака — спутница Иорика — шестипалый Ярун. Кладя свою дань в такой же ушастый картуз, каждый почитал своим долгом, всякий раз пересчитать пальцы у Яруна и подивиться «чуду природы». Собачка не обращала никакого внимания. А про нее говорилось, что она чутьем распознает ведьм и колдунов. Должно быть, между нами таких не находилось. Да и откуда?

Опуская прибыль в свои магические штаны, Иорик сыпал прибатуки, припечатывая метко и скупых и щедрых, и тех, кого прошибало, и тех, кто зевал, — всем доставалось на орехи.

Но бывали случаи, увлеченный своей музыкой, Иорик только кивал головой, показывая, что ему не надо никакой награды: отстаньте! И снова принимался за музыку.

Иорик прирожденный музыкант, родной брат учителя музыки, о котором учителе рассказывает Луганский-Даль:

«Всюду он слышал и видел музыку: зазвенит ли стакан, брякнет ли серебряная ложка, он откликается из третьей комнаты октавой; он знает точно звук всей домашней посуды своей по камертону, и мне жаловался однажды, что у него одна кастрюля фальшивит, если не долить ее водой до мерки, которую он нарочно в ней сделал. Коли вечером девки издали поют — а жуки пролетом гудят, он, сидя на крылечке, подбирает к голосам девок басы жуков; коли на заре плотники рубят избу и звонкий стальной топор звенит, он откликается на скрипке квинтой и квартой».

Музыка Иорика была самым глубоким и затаенным его природы. Он сам был музыкальным инструментом: через его тонкие чувствительные пальцы говорило заволоченное и зарытое — душа еще несотворенного, текущего слепой лавой.

*

Было это в ту пору моей юности, в тот стремительный книжный круговорот, когда в мой мир Гете, Гоффманна, Новалиса Тика, Гауффа и Гриммов вошел Шекспир, Свифт, Стерн, Диккенс и Вальтер Скот.

С Иориком я познакомился у фабричных ворот, — я тёрся в толпе рабочих, а он потешал нас своими гвоздями, яйцом, спичками, музыкой и прибаутками. Я разговорился с ним, когда после представления он, задумавшись, сидел на лавочке и вытирал себе лицо своим красным гоголевским адским платком. Около его ног — Ярун, жалобно засматривая ему в глаза.

Мне любопытно было, кто он, откуда и давно ли состоит в бродячих комедиантах.

В этот раз я мало чего узнал из жизни «бедного Иори-

ка», но не заговори я с ним, и не могло бы произойти наше странное сближение. Помню еще, Ярун меня обнюхивал и подал мне шестипалую свою лапу — я подержал ее, вещую лапу, и тихонько погладил.

*

Он приходил ко мне на чердак — мое теперешнее излюбленное местечко для занятий — я учил его английскому языку. Зачем ему вздумалось учиться по-английски, я не спрашивал: я сам был увлечен английским и мне казалось, так и для всех должно быть и важно и интересно все английское.

Иорик — бродячий фокусник, а когда то выступал он в зоологическом саду и у Соломонского в цирке, удивляя своими фокусами не такую, а «чистую» публику. И нигде не мог ужиться: прорывало — «за язык беззастенчивый», как сам он объяснял мне неудачи свои устроиться по человечески. У Соломонского он и свое прозвище получил: Иорик — так значилось на афише: «Иорик». Но ему и в голову не приходило, какое имя он носит и кого представляет. И когда я рассказал ему о Гамлете и открыл значение его имени, по лицу его пробежала та судорога, как при глотке каменного яйца «вкрутую», он глубоко задумался, точно что-то припоминалось необыкновенное и чему-то смеялся, а глаза его были полны слез.

Иорик, отработав свою комедию, приходил ко мне на чердак в сумерки — без гвоздей, без яйца, без спичек, без музыки, но неизменно с камертоном: камертон был ему, как фонарик в слепую ночь. Не задерживаясь у ворот, он проходил в дом, змеей вползал на верх и, как мышь, прыскал прямо на чердак. Он появлялся вдруг по способу цирковых «экстентриков», превращающихся на арене по надобности в любого зверя и птицу, а за волшебные огоньки был ему лунный луч сквозь слуховое окно. И, весь зеленый, стоя передо мной, он пронизывал этот мертвый отраженный свет живыми играющими угольками.

Он оказался необыкновенно переимчивым: английские слова подхватывая с полуслова, точно вспоминая однажды хорошо усвоенное и лишь забытое. И это меня очень радовало — Шекспира мы читали в-голос на голоса. И еще оказался он мне на руку за свой глаз и словцо: его глазам были открыты смешные стороны — веселые в самых, казалось бы, серьезных случаях жизни, и увлекало его все неправдошное — мой сказочный мир. Заниматься с ним было и легко и весело. Я и не заметил, как лето кончилось. И совсем неожиданно кончились наши английские уроки.

В последний раз он появился на чердаке и что-то мне сразу показалось не всегдашнее. Да так и было. У Иорика душа «задумчивая», а тут — да просто рассеянность — такое бывает, когда одна сверлящая мысль, заполняя, не выходит из головы и туманит глаз. И одет он был не тот Иорик — какие уж там потайные карманы! — на его задорно завитом коке чуть держалась модная шляпенка-лодочка, и разило от него не ваксой и не серой и не бенгальским огнем, как обычно, а мылом — этой шибающей в нос фиалкой. Я не спросил о перемене: мало ли чего требуется от фокусника и если бы Иорик явился монахом в рясе и скуфейке с четками на руке, и то было бы не удивительно.

Наш английский разговор не разговаривался.

О чем-то все о своем раздумывая, он вытянул из своих модных узких «лосиных» брюк заветный камертон. Звякнул о палец — проверить чердачного жучка, тянущего свою однообразную точиль, и поспешно опустил в карман. Ему не сиделось. Я не задерживал.

Простить себе не могу — все у меня так в жизни: или слов нет или поздно приходят!

Пообещав наведаться в ближайший вечер, он змеей выскользнул с чердака. И пропал.

Бедный Иорик! Он больше не появлялся ни у ворот со своей музыкой и представлением, ни на моем чердаке — с камертоном. А как ждал я его! Верю в силу ожиданий, своим

желанием они из-под земли вызовут и пропавшее без вести обнаружат и вернут. И вот Иорик так-таки и не вернулся.

Пропажа мало, что волновала, а душу мою вывихивала, будь то вещь или встреча, одинаково.

«И куда исчез художник Николас со своими красками? думал я, повторяя себе в десятый, в сотый, в тысячный раз один и тот же вопрос, куда скрылся медник Павел Сафронов с апокрифами? карлик-монашек Паисий с лунными сказками? А теперь Иорик?

Зачем-то ведь они появлялись — то ли что-то открыть мне, то ли напомнить о чем-то? И это не мое воображение — про меня слава, что я все выдумываю — нет все их видели и чай пили. И в ком еще, кроме меня, прорезали они такую тревожную память!

*

Кто-то из фабричных сказал, что Иорика видели на гулянье в Ильин день. Я был на крестном ходу у Ильи Пророка, странно, что я не заметил! Или — то, что уходит, что должно скрыться с глаз, всем покажется, а перед тобой будет как в шапке-невидимке.

На Девичьем Поле в праздник Смоленской Божьей Матери знаменитое гулянье «под Девичьем». И я отправился с нашего Воронцова Поля на другой конец Москвы.

Погодин когда-то (1863 г.) описал это гулянье «под Девичьем». Погодинское всемосковское Древлехранилище по соседству, сколько прошло, а как мало в чем изменилось! Нигде ведь нет такой закоснелости, как в развлечениях — возьмите театр: из года-в-год ставится одна и та же пьеса, поколениями актеров играют ее и один и тот же излюбленный, даже неподновляемый прием.

У Балагана безобразничали два паяца: розовый и палевый. Мне показалось, что это Иорик — и розовый и палевый. Я бросился через зрителей — нет, я ошибся, не Иорик! А при имени Иорик, паяцы добродушно повторили:

«Бедный Иорик», но — где он и куда исчез? — они только длинно высунув язык, задрыгали ногами и, прыснув носом, пустили — трудно передать этот безнадежный звук.

Раешник по-прежнему легко и не прерывая, точно пишет «уставом», сказывал свои сказы и Балду, от которых «и самый снисходительный цензор заткнул бы себе уши». Я заслушался — меня всегда покоряла кованость русской речи без этих дурацких, чуждых нам, придаточных, бескровных, выглаженных периодов и запятых в бесконечность. И опять мне показалось, что это Иорик и никому больше и, как к паяцам, я протолкался через вавилонскую сутолку к самому райку — нет, и это был не Иорик. А когда я спросил о Иорике, раешник не то не расслышал, не то нарочно или такая привычка переиначивать, такое загнул имечко, и из Иорика — ну, что тут дурного? — вышло что-то совсем неподходящее к общему удовольствию слушателей.

Больше всего народу у крайней к монастырской стене палатки: там шарманка и под шарманку песня и пляшут. С какой-то последней надеждой я пошел к шарманке: «не Иорик ли там работает, все возможно!»

И все во мне вдруг расположилось: мои двери и окна раскрыты к зрению, к слуху, и чувствую.

Ей было не больше шестнадцати — чуть постарше меня. Узнаю это сразу по блеску ее шеи, наполненной, как молодые побеги, и по ее щекам — щеки были вымазаны краской, но эти красные пальцы и пятна выпирали и отваливались на ее розовой плотной, без пор, шелковой коже, и еще по ее уже неспокойным, но не затемненным гложущей заботой глазам. Разряжена она была, как в сказке раешника его хрустальная принцесса с именем, по тайне чар, неповторимым: на ее голове, на ее расцветающей, еще далеко не расцветшей груди, и на поясе, чуть раздвинутом, везде, где только приколется, бантики — она вся была в самых ярких цветов бантиках.

Лицо ее было не русское, очень уж белы волосы и этот яблоновый овал, но произносила она слова чисто по-русски,

как московская, а пела задумчивым голосом и с каким-то отчаянным надтреском — или такое от без передышки, не переставая петь?

Когда поют, я всегда гляжу в рот: на губах очень явственно, я чувствую, как играет душа — весь человек со всей его тайной и со всей под улыбкой скрытой болью.

Она пела, повертывая плечами и притоптывая — душу свою измученную и оплеванную:

«Ну-ка Трошка, двинь гармошкой, жарь, жарь, жарь!
«Ты, девчонка, в бубен громче вдарь, вдарь, вдарь!

И с гвоздящим звуком, из глубины тоскующих звуков вдруг обдал меня голос и я вдохнул его с подголосьями до самого сердца. И как плетью всхлеснуло меня.

Я и тогда — я давно это понял, что такое загубленная жизнь человека, и не от людей загублена жизнь — бедные вы, бедные люди! — а по судьбе — по жестокой доле отмеченного *там* человека. Я и сам ведь — не помню когда или всегда я чувствовал себя «отмеченным» и оттого в моей душе звенит: «вдарь-вдарь-вдарь!».

Из палатки выскочил молодой человек, лет за сорок, с красным, крылящим концами, платком вокруг шеи и, взмахнув руками, взлетел выше лесковского Павлина — бесстрастный, понукающий к работе хозяин шарманки — я так и ахнул: Иорик! Но это был не Иорик, а Ерник; сделав воздушный круг над Павлином, он опустился на землю и, ломая руками пространство, пошел вкруг — все чаще, скорее и крепче хозяйского «валяй»! И она, как подпруженная, закружилась, и в кругах ее «грусть — тоска — моя» по жгучей звенит:

«Есть милой — нет милова — все равно — лишь бы водка да вино!»

Высоко на монастырской стене, прячась между зубцами, стоял монах. Он был весь в черном с четками, замотанными на белой, белее стены, руке.

Я невольно его увидел, оглядывая ржущую от удовольствия толпу, упорно напиравшую к подстегивающему хозяйскому «валяй» и к гвоздящему «вдарь» — песня не прерывалась, Ерник бесновался.

Я пристально поглядел на монаха и что-то знакомое показалось мне: из-под черной его скуфьи вились зеленые волосы: Иорик! И я хотел было крикнуть туда — через головы: Иорик. И остановился: я увидел или мне это показалось — моим приближающим дали «подстриженным» глазам: на молодом еще, но как-то до-синя оттененном, лице монаха из правой рассеченной брови капельками текла кровь.

Красный был день, жарко, как бывает только вдруг после Ильина дня — астраханский зной раскалил Москву, заваленную арбузами. Поздно вечером я возвращался с Девичьего Поля самым легким путем по берегу Москва-реки. Розовый месяц — над московскими сторожами — вызванивающими часы, колокольнями старинных монастырей Андроньева, Новоспасского, Донского и Симонова. В розовом по берегу светились и блестели змеиные камни и волчьи зубы.

И всю-то мою татарскую сакму — прямая дорога до Полуярославского моста — трензелем звенело во мне, но не умирающий трензель Стравинского, а расплавленное льющееся серебро — тупыми гвоздями било по живому, заковывало сердце:

«Ты, девчонка, в бубен громче вдарь, вдарь, вдарь!»

Осенью с началом ученья я покинул свой насиженный чердак и вернулся в комнаты к своему столику. Только у меня и у старшего брата по столу. Мой очень маленький, но все-таки есть, где приткнуться, разложить книги, а главное тетрадка — записываю «мучительные» слова. На моем столе, как тут у меня Фейерменхен, караулит хрустальный козленок, под часовым треснутым колпаком стоит — «никто ру-

ками чтоб не полез трогать», а с козленком белый вороний остов — ворона собственной выварки, и блестят осетровые кости — кости ни зачем, верно для глаза.

«Юрий Милославский», увлекший Ивана Александровича Хлестакова «под сень струй», меня огпугнул фальшью народной речи; я зачитывался Лажечниковым, нашим русским Вальтер-Скотом. Вот было б рассказать Иорику — порадовалось бы его английское сердце!

С осени стали поговаривать на Москве о новом, выписанном из Лондона, чудесном парикмахере. В самой шикарной парикмахерской на Кузнецком у Базиля вы могли его увидеть. Базил и Теодор — первые московские куаферы.

Рассказывали, что брея, англичанин занимает клиента такими прибаутками, хоть с час сиди в мыле под бритвой, развеся уши или вытараща глаза, как хотите, и не дыша: фокусы проделываются у вас под носом, как подлинное наваждение. А фокусы действительно были точно-что *аглицкие*: парикмахер, походя, глотал бритву, превратит мыло в сверкающий Монблан, а вспрыскивая духами, подымет такой пенящийся душ, не различаешь ни зеркала, ни гребешка и никакой посуды и флаконов, все окутывалось лондонским туманом, а из облаков вдруг раздается звук, похожий на рожок — и видение исчезло. В рассказах вовсе не упоминалось о колдовстве: «глаза отводит»; напротив, подчеркивалось; фокусы с прибавлением — «*аглицкие*».

И я подумал, уж не Иорик ли тут работает? Меня поразило совпадение: я вспомнил его парикмахерский наряд в нашу последнюю встречу; а название «англичанин» — да ведь эти мои английские уроки! — и знакомый каждому из нас заключающий все фокусы Иориков рожок.

А проверить как было? Да будь у меня даже на «подпольку» с пробором, к Базилю меня все-равно не пустят — к Базилю надо и костюм от Доса или Делоса, а ботинки от Пиронэ.

Всеми правдами и неправдами я ходил в театр: «зайцем платным» и «зайцем с втиском». Моя театральная страсть

по-истине была неутолима. А как часто приходилось или только читать отзывы о спектаклях или со стиснутым сердцем возвращаться домой: «не пропустили!»

Нет, я не завидовал — зависть всегда соединяется с недобрым чувством, а я зла никому никогда не желал, только я чувствовал тупую боль «обойденного» — «отмеченного». «Да для чего же? я спрашивал: зачем то вложить желание и никакой возможности...»

Просматривая «Новости сезона» — театральное изобретение Семена Лазаревича Кугульского — мне попалось среди всяких афиш и объявлений траурное извещение о трагической смерти известного московского фокусника Иорика.

«Прах коего, читал я, покоится на Ваганьковском»..., а дальше слова Гамлета о бедном Иорике. Кугульский обещал дать подробный отчет о замечательной, полной приключений, разнообразной жизни этого «несравненного» артиста и циркового деятеля.

Театральный мир — интерес на сезон, а сезон как-раз кончался. Какие уж там подробности! Кугульский женился и уехал в Париж, а его заместитель по «Новостям» Рагнедов ускакал в Южную Америку «проветриться». Так о Иорике и не вспомнили — бедный Иорик!

***

У наших фабричных ворот летом появился какой-то, он был не один, а с собачкой: ушастого Яруна сразу все узнали по шестому пальцу. Но хозяин, нет это был не Иорик, и одет по-другому, сверх пиджака на нем не то мантия, не то подержанная попона, а за музыку самая обыкновенная гармонья. Это был тоже фокусник — бродячий комедиант Лоренцо.

Как и Иорик, Лоренцо всовывает себе в нос тонкие гвозди, но яйцо не глотает, за то может, «по старинным комедиям», состряпать яичницу в шляпе, может и со спичками, и ловко пустит бенгальские огни.

Коверкая слова, как заправский комедиант, Лоренцо играл со своими магическими инструментами и его острая птичья мордочка уморительные строила рожи. С неизменным «по Иорику» безразличием говоря: «сработаем!», он проделал знакомые фокусы, а в заключение «яичница».

После представления, как полагается музыка.

Присев на лавочку, Лоренцо распустил свою гармонью, и, перебирая в-залив послушные лады, начал «страдать»: «то как зверь она завоет, то заплачет, как дитя».

Очень «зверь» всех растрогал. А когда по обычаю пересчитывая пальцы у Яруна и дивясь чуду природы, клали в картуз копейки, Лоренцо щегольнул цирковым «трюком»: не подымаясь с лавочки, ловко вывернул ногу и изогнувшимся носком сапога, как шестым пальцем, сбил с головы, тоже на фокусы глазевшего, городового его форменный с плевком картуз. — Браво!!!

И уж поднялся уходить, и вдруг его птичьи глаза глобусом, закружились, ища: он вспомнил и нетвердо, как дети, прочитал по записке — и я услышал свое имя, прозвучавшее испанским: «Ремоз».

Лоренцо мне объяснил, что он точно не знает, по каким фабрикам ходил его товарищ, а есть дело и если я тот самый Ремоз — тут он порылся в бездонных карманах и из-под попоны вытащил паленую утячью голову и... и я узнал в его руках знакомый мне камертон.

Тут подошла и собачка, обнюхала голову утячью и меня, и подает мне свою шестипалую лапу. И я читаю в ее глазах:

Ремозу. «От Иорика на память».

**
*

Много подробностей сообщил мне Лоренцо о судьбе Иорика. Но не все. И только мои глаза открыли мне всю правду.

Надо было побрить очень важного покойника — помер генерал Ахлестов. Похороны были объявлены обер-сверх-перворазрядные: полный хор регента Василия Степановича Ле-

бедева и с протодьяконом Успенского Собора Шаховцовым. А про Шаховцова молва, в горле будто у протодьякона волосы кустами, и оттого такая увлекательная жуть, как заведет «вечную память», — а это значит, будет вся Москва! Заправилы Похоронного Бюро с Малой Дмитровки хвастали, что на Малом Театре костюм Тени Отца Гамлета работа вовсе не костюмера Императорских Театров знаменитого Дябова, а их похоронного мастера Чашникова, и вот случай щегольнуть отделкой «усопшего» генерала Ахлестова — вся Москва! Обратились к Базилю. А Базиль не дурак, правда, за бритье покойника заломил цену: что-то насчитано, чуть ли как не за дюжину живых модных «под-бобрика», но за то с ручательством: чисто, гладко и с блеском — вся Москва! А исполнить такую ответственную работу из всех иностранных мастеров мог только «англичанин».

Базиль предупреждал Иорика: «без фокусов».

С покойником работа несложная, так думал Иорик. Так и всем казалось. Иорик выбрил генерала — мое почтение! С живым так не «сработаешь». И как полагается, подкрутя усы, вспрыснул духами и подпудрил. Чисто, гладко и с блеском стекленели щеки и подбородок. Если бы позволено было, он сам бы себе крикнул: «браво», а между тем...

Когда по Гоголевскому примеру Иорик для удобства взял покойника за нос и неосторожно приплюснул ноздри, под вздрогнувшим пальцем что-то хлюпнуло. И этот смешной звук сверлом застрял в ушах. И опять: бритва, скользнув, резанула по квёлой подсиненной коже, а из раны не кровь... кровь пузырьком показалась на Иориковом тонком, изловчившемся в фокусах, эластическом пальце. Он пососал себе палец, — чего-то солоно, — и чувствует, как палец вдруг онемел. Но это еще не самое: в растери под гнетущим сверлом, Иорик приноровился было, схватившись, как за свое испытанное и несомненное, выкинуть коленце: взвить над покойником мыло. Но странно, никакого пенящегося Монблана не вышло. Повторил — ничего: ни радуги, ни

блуждающих огней — ничего! Все пропало! И все это пропалое, пронзающее «ничего», схлюпилось в его ушах в тот ноздревой сверлящий звук и поползло — и ползет из всех щелей и щелок горлом, заросшим волосами, мучая пальцем, оно ползло без заката и памяти: «ве-е-еч(ная)... накатывая.

Вернувшись с работы, Иорик повесился.

«Бедный Иорик — я говорю словами нашей первой встречи по-английски, — где теперь твои шутки? Твои ужимки? Где песни? Молнии острот, от которых все пирующие хохотали до упаду. Кто сострит теперь над твоею костяной улыбкой. Все пропало».

ЛЯГУШНИК

Михаил Семенович Ежов, наш дальный родственник, вторая вода на киселе, когда-то считался своим и везде бывал, желанный гость, но со временем обратился в безместное и беспризорное, о чем говорится безжалостно: «не велено пускать».

Подробности о его превращении из желательных в нежелательное, не знаю: не то проигрался, не то неудачно смошенничал — мало ли всяких непрямых способов поправить дела, только надо наловчить руку, чтобы чисто, а не всякому удастся. Я думаю, всего скорее, что он «попался» и не раз — раз прощается, а в другой — без спуску. Тоже и запивать стал. Так одно к одному — и опустился. И уж не Михайло Семеныч Ежов, а зовут его нынче «Лягушник» и за глаза и в глаза с заяшным отчеством — Иваныч: «Лягушник Иваныч».

Почему «лягушник»? То ли, что на нем бессменно висело зеленое пальтишко, когда-то щегольское, но до такой рвани изношенное, точно тиной занесло; то ли его повисшие рачьи усы и эти без слов о беде говорящие глаза, вот оборвутся и на пол — раздавленный зеленый крыжовник.

Не раз я его встречал, как шел он по бесконечному Найденовскому двору, согнувшись: он возвращается куда-то к себе с ни-с-чем, нищий. В трезвые минуты он все мечтал поправиться и жить «по человечески» и таскался к Найденовым просить место и получал неизменный ответ: и не то, что как принято в случаях отказа: «не принимают» или «нет дома», а откровенно — «не велено пускать». И куда он возвращался к себе — в какую тьму.

Я отчетливо вижу, как бессмысленно смотрит он в пустоту, напряженно, гонясь — в пустоту, но в конце-то концов из ничего вдруг мелькнет надежда. И потому завтра по бесконечному Найденовскому двору он пойдет просить место.

Как-то я услышал и уже с сердцем сказанное, говорилось в конторе у Найденовых «белому» дворнику, по петербургски «старшему», и я все понял:

«Шляется всякая сволочь, гнать в три шеи».

«Лягушник» пропал.

По двору говорили: «в больницу свезли» или «на Хитровку переселился».

*

Однажды, в час совсем не показанный, мы только что вернулись от всенощной, в наш дом без звонка через черный ход вошел Михаил Семеныч. И заметно было, что выпивши.

Мы сели чай пить. И его усадили с собой. Но от чаю он отказался. Попросил пива. Еще не поздно, послали за пивом. И две бутылки ему поставили.

Он пил молча, обсасывая свои рачьи усы. И единственное вырывалось у него под пивной глоток: «устроиться»!

Он хорошо знал, что мы никак не можем помочь ему, но это вышло у него в привычку: «устроиться» или распространенно — «хоть на какое-нибудь самое маленькое завалящее место».

Я и тогда понимал, а потом уж как почувствовал, как это не то что трудно, а постыло человеку «без места». И мне всегда жутко, когда вспоминаю или вижу перед собой человека растерявшегося «без места».

На второй бутылке он захотел музыки.

Брат сел за рояль. И на первые звуки он, неуверенно поднявшись, стал у рояли, облокотясь.

Надо было видеть, с какой болью он слушал. Он про-

ходил весь свой путь с того самого времени, как был он еще не Лягушник, и Лягушником, каким стал он.

И тут совершилось музыкальное чудо. Во-истину, музыка колдует. Его мечта «устроиться» осуществилась. Как он и подумать никогда не посмел бы. И он, от неожиданности, только разводил руками. Его удивление перешло в восторг, рук оказалось мало и, не удержавшись, беспомощно, он навалился на рояль.

И оттого, что по природе своей я был затаенно чувствителен, я из всех только один не смеялся: Лягушник выворачивал мне душу.

Мне что-то говорило, что так и со мной будет в жизни. И пусть же скорее! с ожесточением торопил я судьбу. И из тянущейся, уходящей в даль тьмы моего будущего, вдруг видел себя, свою согнутую спину удалявшегося ни с чем.

Я и тогда понимал, куда и как ведет человека жизнь и, что бы он ни делал, цвет жизни боль, и для устроенного в жизни и для неустроившегося «без места» — боль беды и боль совести. Я чувствовал свою вину — и вольный и невольный грех: люди страдают друг от друга чаще не от злого умысла, а оттого, что, не подумав, сделают или, когда непременно что-то надо было сделать, проходят мимо.

И теперь, глядя в прошлое, я готов хоть тысячу раз начинать жизнь на земле и еще тысячу лет жить, повторяя тысячу ошибок, но я не хотел бы, как сейчас вот говорю себе с упреком: «я чувствовал и не сделал, не пошевельнулся, я видел и прошел мимо». И я себя спрашиваю: почему так поздно открылись мои глаза? И кто или что освободит меня от этого режущего голоса, вдруг окликающего меня?

Михаил Семеныч, обессиленный от восторга или какая-то дверь неожиданно захлопнулась перед ним, тяжело повалился под рояль.

Без музыки и без улыбки много было возни и старания выпроводить Лягушника. Была ночь — в ночь.

ЗЛЫЕ СЛЕЗЫ

Когда я пел в церкви на клиросе, я следил за нотами, чтобы в лад, моим кубовым альтом, покрыть серебро голосов. И только начало всенощной, когда доносило до меня старинный распев:

«Приидите поклонимся,
И припадем к Нему»

возглас проникал меня, наливая голос той силой, о которой силе в другое время не догадывался ни сам я, ни те, кто меня слушал. И всю всенощную я стоял в ноте, весь выладонный, воздушный и шолковый.

И долго потом — через годы — вдруг увижу себя: недоумение и боль в моих глазах, я вспоминаю каким вниманием я был окружен, а в мире не узнавали меня — весь исполосованный, изляганный, выбивавшийся из под камней.

У наших злюк бабок и ласковых бабушек их подслеповатый глаз, как ни прячься, найдет. Расходясь после всенощной, они всегда щуняли меня:

«Стоишь, как каменное идолище, лба не перекрестишь!»

А и в самом деле: за моим забыдущим пением, какие поклоны и, даже больше, не до внимания к службе.

А я, все понимая, озорства ради, грозил и язвился: «обращу де всех вас, бабки, в идольскую веру».

«Не поддадимся», — вышелшивали змеиные и птичьи рты.

Но они, и сами того не зная, всякий раз поддавались моей «идольской» вере, уносясь, Бог знает в какое лиловое

свое прошлое и в какое яблоновое загробное под колдующий голос, мне и самому не открытой тайны моего существа.

**
*

Очень нам хотелось, хоть раз, на всенощную в Кремль — в Успенский Собор. Ночные службы с крестным ходом мы не пропускали, но на всенощную никогда не удавалось.

В доме у нас был «ад», мне непонятное тогда глубоко потрясающее своей безысходностью, все было как слизано злобой, задавлено и беспокойно. И только в церкви — я стоял под наведенными на меня глазами — дома так никто на меня не смотрит, — светящимся тихим светом с чудотворного образа. Как же без нас в нашей приходской церкви Грузинской Божьей Матери?

И все-таки решились: один только раз пропустить службу — и мне показалось, с чудотворного образа несводимые с меня, такие близкие и памятные мне, глаза, прощаясь, отпускали меня. Под Преображение мы отправились в Кремль.

Не занятый нотами, я не проронил слова, следя за синодальным хором. Я вслушивался в «столповой» распев соборян — управлял заштатный протодьякон Полканов с волосатым горлом.

И когда, выйдя на литию — перед благословением: «пшеницы, вина и елея» — протодьякон Шаховцов возгласил имена, утвердивших на русской земле русскую веру — Антония и Феодосия Печерских — и особенно трепетно такие близкие родные Москве — Петр, Алексей, Иона и Филипп (их мощи покоятся в Кремле), а хор соборян на басах в унисон отозвался сорокогулким «Господи помилуй»; когда после моления о России и о всех православных вдруг слышу, точно впервые услышал и о всякой душе скорбящей и озлобленной, помощи требующей, мое сердце, как осветило: и в другом, понятном мне свете, я увидел весь «ад», весь

мрак нашей жизни, всю черноту отравляющую и самую весеннюю мою звонкую радость. Передо мной заблестели не материнские глаза с чудотворного образа, а «злые слезы» надорвавшегося и все-таки непокорного виновного сердца, а еще и это — нестерпимо человеку смотреть — глаза со следами выжженных слез.

И один открылся мне путь — Мой голос, как кремлевский ясак прозвучит через колокольную черноту не «Господи помилуй», а своей волей и своим словом — за весь мир — «за всех помощи *требующих*».

Послушайте, вот откуда — за что меня будут гнать по тюрьмам, и неприкаянным проживу я жизнь среди людей.

БЕЛОСНЕЖКА

ДЕКАДЕНТ

Московский символизм под знаком Пушкина. А русский исток его ни Верлен, ни Маларме — «Poètes maudits», а маг Сар-Пелядан (Sâr Péladan).

Февраль 1894 года — первый сборник Брюсова и Миропольского (Ланг), «Русские символисты». Но для «большой публики» — для «мира и города» имя символисты останется впусте. И только потом, когда начнется история — в революцию — через двадцать пять лет, обозначится твердо «символизм»: Брюсов, Коневской (Ореус), Добролюбов — «Северные цветы», «Весны», изд. Скорпион. А до истории будет ходовым одно название: «декаденство» — «декадент», «декадентщина (уродливое и пестрое): под эту кровлю все поместится с Брюсовым — и Бальмонт, и Балтрушайтис, и Гиппиус, и Сологуб, и Андрей Белый, и Блок, и я.

Прозвище декадент утвердилось прочно, и когда от декадентства ничего не осталось, будет повторяться: «д-е-к-а-д-е-н-т».

В канун мировой войны (1914-го) Б. М. Кустодиев лепил меня и одновременно, обряжаясь во фрак, ездил в Царское село лепить Николая II. Как-то Николай II спросил: кого он еще делает? Кустодиев назвал меня, конечно, с прибавлением «писатель». — «А! знаю, декадент!» — и он досадливо махнул рукой, что означало — «и охота тратить время на такое». И вдруг оживился: «Постойте!» — и вышел. Кустодиев думал, что вернется с «Лимонарем» или «Посолонью», но Ни-

колай II вернулся — нет, это не «Лимонарь», книга редкая! — раскрыл книгу — «вот это настоящее!» — сказал он и начал читать. И читал превосходно. А это был рассказ Тэффи.

1890 — год выступления во французской литературе Сара Пелядана. А через три года его имя станет известно на Москве. Больше чем имя: образ мага. Книг его, ни «Le vice suprême», ни «L'Amphithéâtre des sciences mortes» никто не читал, и понятия не имеем, а между тем... и тут летописец скажет: «знамение».

И Пушкина и Сара-Пелядана вы могли видеть «воочию», не книгами, не призраками, а живьем, и даже познакомиться, на что, впрочем, никто не решался.

НА ТВЕРСКОМ БУЛЬВАРЕ

В Москве две знаменитости: Пушкин и Сар Пелядан.

В четверг вечером на Тверской бульвар пожалуйте на музыку: оркестр Александровского военного училища, капельмейстер Крайнбриг, соло на корнет-а-пистоне. Приходите лучше попоздней. И не надо никаких денег, и рекомендательных писем не спросят, вы увидите их на даровщинку: Пушкин и Сар Пелядан.

Пушкин и Сар Пелядан две знаменитости, а ходят они с прогуливающимися на равной ноге, как простые смертные, и без всякого показа, не выставляясь, но какая даль между нами! И замечают ли они нас из своего далёка? А мы на них во всю — Пушкин и Сар Пелядан.

На Страстной монастырь глядя, памятник Пушкина: Пушкин в крылатке стоит со шляпой, и внизу подпись: Александр Сергеевич Пушкин. И тут же, около памятника, смотрите, он самый, живой с баками и в крылатке, как с памятника, только без подписи. Да и к чему: в каждом из нас, в каждом — тысяча глаз — ему подпись: Пушкин.

Тоже и Сар Пелядан: Сар Пелядан в Париже, а вот он

самый, не тень, не мое воображение, можно потрогать, я не посмел бы.

Как была настоящая фамилия Пушкину и как звался по-русски Сар Пеладан, никто не любопытствовал: Пушкин — и все тут; Сар Пеладан, нет памятной подписи, да просто «декадент».

Брюсов и Ланг (Миропольский) — «русские символисты», они, конечно, не раз, помахивая тросточками, резво пробегали по Тверскому под музыку, и какой писатель, и самый зачаточный, не спешит! но замечали ли они это лицевое «знамение» — Пушкин и Сар Пеладан — или в своем «символизме» никого и *ничего?* Но Зайцев — *ничего*, что путь ему другой, никак уж не «декадентский», — Зайцев, «Собора Обезвелволпала саккеларий», заметил и Пушкина и Сар Пеладана и потом не одиножды вспоминал, да и еще вспомнит в своей московской памяти: «Москва, год 1894-ый, 5-ый и 6-ой», когда не было еще ни Горького, ни Леонида Андреева, ни Куприна, ни Арцыбашева, а царствовал на Руси при Льве Толстом Чехов.

Пушкин читал Э. Т. А. Гоффманна и мог вообразить свое посмертное вещее явление на Тверском, на музыке. Но Сар Пеладан —— l'Ordre de la Rose-Croix Catholique — нет, и при всем оккультизме в голову не придет: быть в Париже и на Москве одновременно, да и слыхал ли хоть что-нибудь этот разряженный чучела парижский маг о Москве — Сарай-византийской татарской деревне!

Пушкин! Какой сказочный образ — и большего добродушия и упоенности своим историческим обличьем едва ли в ком еще встретите — подлинно, Пушкин был самый счастливый на Москве от Марьиной рощи до Воробьевых гор и от Нескучного до Андроньева.

Полон, кишит бульвар. И каждый из нас, я в этом уверен, чем-нибудь да тревожится — без заботы только «птицы небесные», да муравьиная стрекоза, но Пушкин — сама заря заревая, и мутной заботе проткнуться негде и цапнуть нечего.

В человеческой природе — едва ли у зверей встречается

— есть непреодолимое желание тронуть единственное и непохожее.

«Чего рыло дерешь?» походя, который двинет локтем.

Или «здорово-живешь» пустит вдогонку словцо, небу жарко и вам стыдно. Особенно дались баки и шляпа; крылатке спускали.

Трепетно было глядеть на Пушкина; мне всегда казалось, вот заговорит он; его перебьют, я был убежден, — а это уж будет черезчур, — его загогочут.

Теплый июльский вечер. Фонари вдоль бульвара — сторожа ночей — зажгли свой зоркий, жуткий, мутно-чарующий глаз. В движущуюся пыльную тьму вкрасились цветы и крашеные губы. В тесноте просторней, волна вольней.

Мечта, — мечта о чем? Но горяча и как горька. И нет — на раздуму? Одно желание. И только жить: «люблю и верю».

Однообразный и безумный,
Как вихорь жизни молодой,
Кружится вальса вихор шумный,
Чета мелькает за четой...

В волне один. Никогда не заговорит, без спутников, всегда один.

Явится на землю — Пушкин, какие товарищи и какой разговор! Как мощи, что и смотреть-то не полагается, воображай и жди чудес.

Однообразный и безумный,
Как вихорь жизни молодой...

ТАГАНКА

Дом Хлебникова у Семеона Столпника на Николо-Ямской; мы в приходе у Ильи Пророка на Воронцовом поле. По-московски соседи.

Сергей Хлебников мой товарищ, вместе учились и этой весной кончили. Сергей по отцовскому делу — серебряный магазин на Кузнецком, я в университете — занимаюсь ботаникой и философией; и решаю задачи из Шапошникова, хочу все решить и держать экзамен в Сельско-хозяйственный институт: нужно быть ближе к земле, а кроме того, бывшая Петровская Академия, ее история — «Нечаевский процесс» и «Бесы» Достоевского.

У Хлебниковых мы бывали и раньше, а чаще по случаю их семейного события — свадьба Ироиды: двоюродная сестра, после смерти родителей жила в их семье.

Хлебниковы черные, но не эта родовая смоль, необыкновенная белизна отличала из всех Ироиду: отсвет ли серебра или серебряный московский снег?

Раз я уже встретил такое — белоснежку: белоснежкой была и та неизвестная, и эта Ироида.

В Андроньеве монастыре на первый Спас, как поздней обедне кончиться, на кладбище гулянье: выставка невест — таганские, рогожские и из Замоскворечья, на третий Спас тоже в Новоспасском.

По дорожке между крестов и памятников, живых от выглядывающих любопытных, тесно проходит живой московский цветник. Меня поражала особенная тихость таких умогильных смотрин. Раскрывшиеся под августовским солнцем цветы — взблескивающая когтистая роса и зарумянившиеся — медовое, яблоновое, впрямь непорочное — таганские, рогожские и замоскворецкие невесты. И среди уверенно и легко ступающих — сама земля их поддерживает — я заметил, как одиноко шла белоснежка, и с ней две серенькие пичужки — носики востренькие — и у каждой у пичужки по зонтику ручкой вниз, уверен, не раскрываются, и по этим пичужкам, по вылинявшим зонтикам можно было сказать положительно: «бесприданница».

Едва ли хоть один из всех верзил и истуканов с глазами огляда, шныря и щупа, обратил внимание на белоснежку.

При выходе с кладбища, как пойдут к монастырским воротам, я опять увидел ее сквозь пестроту нарядов и цветов: одиноко шла белоснежка.

Это свет русской зимы — «да на снег лишь и глядела» — ворожба.

И три года по-ряду на Медовый Спас в Андроньеве я встречал белоснежку: те же зонтики, серенькие пичужки и та же беднота и безнадежность.

Я не забыл сказку, а белоснежка пропала — пропасть ничего не стоит! На выставке невест больше не появлялась она — не останавливая моих любопытных ко всему чудному, непохожему и странному, моих страдных глаз.

И вот Ироида.

Она, как сестра той, пропавшей, сама белоснежка. Но оттого ли, что гляжу на нее не сквозь цветы и наряды, мне она кажется больше, выше, а глаза из бел-горюча горее.

Жить Ироиде у Хлебниковых, как дома, да все-таки не дома: приемная, не родная. И ей было все равно, только б из-дому, из-под глазу и по-своему. В канун свадьбы она была счастливая.

Ее будущий муж — да она и не вглядывалась. Да и он в глаза не лез: большой, но застенчивый, и очень богатый — Ухновы миткальщики, он единственный, все ему. Но это только по одежде, не наше, английское, и не стесняется: какие подарки!

Нет ничего одинакового, даже близнецы, на что уж! И у него было отличие: и тоже цвет — лицо его, как кирпичем. И когда они сидели рядом, лицо его сливалось с пунцовыми обоями. И у меня было такое, что она всегда одна, — она и была одна, белоснежка.

Не легкий, резкий, «ушибленный» сказали бы, я со своим богатым миром снов и сказок, всегда стеснялся, как бедняк. И любимое море мое, мое всегда все навыворот, наперекор и по-своему, и моя бездумная веселость — светились горько: горечь я чувствовал, как душу моей души.

Сказал ли я хоть слово с Ироидой? Не помню, нет. Да

и о чем? Книг она не читала, и этот мой мир был для нее закрыт. Но призрачный — моих снов?

Не может быть, чтобы не было тайны в этом белоснежье. А если есть тайна... Ведь не зря же появилось на земле такое едиственное и непохожее. Это не бумага, а самый жаркий цвет — свет подснежника — первого цветка: весна!

Как к словам — моя страсть разлагать слова до первозвука, и эта белизна меня тянула.

Мне памятен вечер: в этот единственный вечер вдруг она очнулась — другой голос, и по-другому она посмотрела. И это было, я знаю из ее тайного мира, который был моим миром. В первый и единственный раз.

Оттого ли, что вся душа ее переполнилась — «сердце воли просит!» — а моя переливалась. Все видеть, все слышать и чувствовать — до захлёба. Раскаленный белый цвет — такой белоснежкой глядела моя душа. А на сердце вскипала горечь.

И еще мне памятен этот вечер: Пушкин. Я сидел за столом против Пушкина.

Или образ Пушкина все взбаламутит и перекувырнет? И вот почему не миновать было встрече — первый и в последний раз.

Московский обычай: после обручения до свадьбы всякий вечер жених в доме невесты. А тянутся эти встречи не месяц, а месяцы. Первые влюбленные вечера проходят ладно, все внове, разговоры, а глядишь и говорить-то уж не о чем — ведь это ругаться человеку срок не поставлен, да и то... — и наступает такая скучища, сравнить разве с посмертной, когда тоже по обычаю по вечерам приходят в дом, где был покойник. И тут уж рады всякому, только б на-людях, а не одним «убивать» вечер. И родственники и знакомые — желанные гости; да и по-соседству кто — милости просим.

Так попал к Хлебниковым Пушкин.

Пушкин в Шелопутинском переулке снимал комнату,

сосед. Пушкин — шебуевский конторщик, а фамилия его, когда сказали, я думал, ослышался: Денисюк. И надо ж такое: и даже не Денисов, а Денисюк. Но имя и отчество пушкинские: Александр Сергеевич. Так его и величали; Александр Сергеевич. И оттого в моих глазах он и Денисюк, а оставался Пушкин.

На жениховых вечерах главное ужин. Жених старается — его обязанность. Стол был заставлен бутылками.

В этот вечер собралось много гостей: кроме своих, студент Иванов, математик вместе со мной (Ивановы мукомолы, у них же и сливочная в Таганке). Да жених привел знакомых, таганские. И все как на подбор: двенадцать разбойников.

Из разбойников — в лицо я их всех знал по Андроньеву и по Новоспасскому: женихи. А один из разбойников был мой товарищ: Денис Иваныч Девилин — постоялый двор на Гончарной. И не по возрасту, куда старше, не по училищу, а по общему пристрастию к книгам: я и познакомился с ним на Чистых Прудах в Тургеневской библиотеке. Нам было по пути — с какой бережливостью он всякий раз провожает меня до самого дома, всегда в разговорах о книгах. Я перед ним подлинно подземный гном, и если б взял он меня к себе на руки и понес по Покровке, никто б не обратил внимания. А славился Денис на Таганке своим неимоверным «дерзновением» — тихий и кроткий, а дернет, держись: ссор не затевал, и первый в драку не полезет, сосредоточенно, точно над трудной страницей, расшвыривая все, что по пути подвернется, шел он на ломовой двор на Таганскую площадь и вступал всенародно в единоборство с битюгами. Один глаз с подтеком, но читать это не мешает.

Денис мне очень обрадовался, да и я ему, все-таки свой. Меня больше ругали — я уж как старался: уткнусь в книгу и чтобы не встреваться, — да не очень удавалось, сорвусь и пошел подстать Денису, наперекор. А внимание мне было всегда чувствительно, но я не завирался.

За ужином никого из старших: устали. И немудрено;

всякий день гости — и хоть бы свадьбу сыграть и конец, измаялись. За хозяйку была Катерина Васильевна, дьяконица, жена Алексея Петровича от Рождества; на нее можно было все оставить, сумеет распорядиться.

Напоминала она Клеопатру Семеновну «Скверного анекдота» Достоевского и одевалась по Клеопатре, с прыском и неожиданно, и смотрела чересчур прямо; а держалась вызывающе-самостоятельно; «разбойников» величала она не по имени-и-отчеству, не кличкой, а всех одинаково «мальчики» — тот же самый оттенок, с которым говорят о дамах «несомненного» поведения, а «разбойники» обращались к ней с игривой почтительностью и всегда с двусмысленной прибауткой.

Вечер обещал развлечения и самые неуместные и ко всеобщему удовольствию.

Жених сел за наш стол и с ним Пушкин. А невеста отдельно — маленький стол за нами. С нею только — я узнал их: это были те самые андроньевские серенькие пичужки, и у каждой в руке веер — «нераскрывающийся», как там зонтики. Или мне представилось? Это совпадение меня забеспокоило: я вспомнил пропавшую белоснежку — Медовый Спас. Но что было общего с судьбой счастливой Ироиды?

Я выбрал место против Пушкина, мне все видно.

Пушкин казался таким маленьким и воздушным о-бок с грузными стоеросовыми разбойниками. Не отрывая глаз — на свою белоснежку, и знакомое разбойничье — «Три дня купеческая дочь Наташа пропадала»... выблескивало в лад, и через стихи его глаз мне виделась Наташа-Ироида. Я чувствовал, но ни разу не обернулся взглянуть проверить.

В комнате было жарко и спёрто от разбойного груза и стола, маринованного и перцового — впрок и вдоволь.

Мой сосед Денис и студент Иванов.

Денис вычитал в «Записках» Никитенки:

— Знаменательный вечер у Некрасова: Лонгинов, «писатель не для дам», читал свою поэму «Отец». По звучности,

непристойности и кощунству ничего подобного в русской литературе.

— А Пушкин? — перебил Иванов.

— Пушкин, — Денис подмигнул своим необыкновенным глазом и прослезился, — мы его попросим.

— Гаврилиаду, — настойчиво сказал Иванов.

— Пушкин прочтет, что ему по-душе.

— Нет, я буду требовать, именно Гаврилиаду.

— Егор, не сопротивляйся!

Вели обручальную чашу: за здоровье жениха и невесты. Жених подымался, чокался. Еще не проливали, но скоро наступит разлив.

Меня не приневоливали. Из всех один я непьющий. Я тогда и не курил. Денис подливал мне, но осторожно.

Все внимание на Пушкине и на особенных бутылках: пить-так-пить.

Составлялась жгучая смесь: цыганское «с перыцем — ядыды». И это колдовское предназначалось для Пушкина. Я попробовал — и вот столечко, испытать эти «ядыды», и в глазах у меня, вдруг пропавших («глаза на лоб») с шумом поскакали зеленые кузнечики.

Пушкин пил с выбором, а смесь брезгливо отставил.

И это движение принято было за обидное. Начинали задирать. Как обычно: баки и шляпа. Пушкин за столом был без шляпы, но это все равно: почему такая? и ни у кого такой, и эти баки?

Пушкин — как не к нему.

— Что вызывает в литературе волнение? — говорил Иванов своим свежим голосом, — да все, что зовется опасным, ужас и «безнравственное». Александр Сергеевич, — Иванов поднялся, — я требую: Гаврилиада!

И я подумал: «а что если Пушкин поддастся и начнет читать?» И я представил себе: Пушкин читает — его перебьют и — загогочут. И это мысль задушила меня.

И я не понимаю, как я очутился в соседней комнате —

не помню, как поднялся из-за стола и как вышел, и именно в эту комнату.

Тесная, в коврах, заставленная: диванчики и этажерки. Со стола из-под абажура тихо светит. И тикают часы в-свет. Я прислушивался. Или часы остановились — так под землей, должно быть, необыкновенно. И вдруг в тишину издалека и властно: «не сопротивляйся!». И я подумал: «с перыцем — ядыды?» И те две пичужки, те серые с веерами, метнулись: «Как там накурено!» И из пичужек стали медведки, мохнатыми лапками ко мне, маня. Вижу Ироида — она на медведках была еще белее: глубоко вздохнув, вдруг окинулась, и руки ее вздрогнули от плеч.

Я и до сих пор храню в себе чувство: мне всегда с людьми неловко та̀к глаз-на-глаз, мне всегда кажется, что со мной неловко. Одно «настоящие», одно «люди»; а другое — «я». И я хотел уйти.

И вдруг, как заря, дунуло — знакомый голос — так мог читать только Пушкин: «Гонимы вешними лучами...»

И я как прикован, горью слов выбиваясь... а в сердце какое «люблю» и «поверить». Я из-взгляда долго гляжу и не верю — мое неотступно внимание: я различаю, как белый подснежник, тая... и в глуби под белым горючь: алое шелком. И встречу с тою же самою горью — —

А какой задорный здоровенный хохот зеленым чадом колдовской смеси ударил мне прямо в глаза: там, за стеной тысяча луженых глоток, само естество, утроба гоготала, выворачивая наперекор слова о «весне» и о «первой любви». Я не знаю, сколько прошло, но когда, очнувшись, я вернулся в столовую, я попал в полный разгром — революция.

В нагрузку, переплетясь с бутылками — «в рожу всех знаю, а имени не ведаю», так сказалось у меня по-русски. Ни студента Иванова, ни Катерины Васильевны. Три ноги, четвертая подогнута, торчали из-под скатерти с упреком. В комнате свет заночёван, одна только бедная лампа под потолком из паутины, глаз не режет: спите спокойно!

И посреди мертвого поля Пушкин.

С Пушкина стащили его пушкинский сюртук. В одной рубашке с помятой пристегнутой манишкой, а все-таки не ошибешься, Пушкин. Над ним Денис, лопоча: «Саша, не сопротивляйся!» — без лязга и без шора работал безопасной бритвой. А подле маятно жених, колени сгибаются, как в оперетке, в обеих руках, как драгоценность, мыльница, на лице кирпич от накала лиловый, а по щеке серая пена — проба мыла, мазнул Денис.

Одной пушкинской баки, как не бывало, гладко, а другая половинкой загибалась, вроде испанская. Пушкин — закрыл глаза — посмертная маска, не сопротивлялся.

А когда на другой день я спрошу, как это могло случиться, ответ Дениса:

«Так сделалось».

В эту ночь мне приснился сон, я его хорошо помню, и чувство этого сна так живо и трепетно.

Я себя увидел наверху, перед раскрытым окном: белые стены и белая колокольня Андроньева монастыря. По лестнице поднимаются, вошли, и у стола Киреевские И. В. и П. В. и Хомяков (их имена я знаю с детства и по портретам). И с ними, как потом нарисует Бакст: синие, черным подугольные глаза — Андрей Белый. Не могу разобрать, о чем у них разговор и о чем меня спрашивают. И вдруг вижу, поднялись и летят мимо окна большие серые птицы, и в лёте их различаю голос: «твои птицы». Я могу протянуть руку и дотронуться до крыльев, я чувствую их пуховую теплоту, и как ластятся они ко мне, улетая, и уж серыми огромными рыбами плывут в синюю даль. И чувство во мне вскрыляет меня и сам я лечу, колыхаясь — серые теплые крылья...

Однообразный и безумный,
Как вихорь жизни молодой...

Пушкин плыл от своего памятника. Сар Пелядан к памятнику Пушкина. Они не замечали друг друга: Сар Пелядан чувствовал себя Пушкиным, Пушкин видел всех и никого.

На Москве исстари имена — музыка в-целе и в-волю, дьяки! Тихон Бормосов, Федор Лихачев, Дмитрий Жеребилов, Борис Обобуров, или возьмите: Мондрадыкин, Екалов... Мундирова-Трещева. А московский Сар Пелядан — открою имя: Емельянов-Коханский — и это разве не укладное, не полноценное — серебро: Емельянов-Коханский.

За ласковость имени, впрочем едва ли кому известную, за необыкновенную внешность, всем видимую. Емельянов-Коханский пользовался одинаковым вниманием и рано возбуждал любопытство, как Александр Сергеевич Пушкин. Емельянова-Коханского звали Александр Николаевич, служил он кассиром на бегах.

Первый русский декадент — Сар Пелядан — бурка на голое тело, не совсем на голое, но так говорилось, черная клином ассирийская борода, а взгляд надзвездный: не смотрит, а взирает. И никогда один — мне известно из «Обнаженных нервов» (книга стихов Емельянова-Коханского): «посвящаю египетской царице Клеопатре и себе», — его неизменная спутница египетская царица Клеопатра. Скромно одетая, а скорее бедно одетая, и никакого голого тела — эта египетская царица. Или для оттенка: ассирийское и северное серенькое, маг и учительница.

Пушкина никто не боится, а на ассирийского мага смотрят с опаской, и хотя никто не сомневался: бурка на голое тело, и какое ж оружие на-голо, где ножа пырнуть и из чего выстрелить, а вот, подите ж!

Грозно под музыку шел он в волне с египетской царицей и сквозь самый непротыкаемый затор, расшвыривая глазом человеческие ухабы и зыбуны. Шопот провожал его и встречу: «декадент».

Понимал ли кто слово «декадент» и видел ли кто тоненький сборник — разноцветные листки розовые и желтые, цвет любовных весенних писем, А. Н. Емельянова-Коханского (Изд. А. С. Чернов, М. 1895) с царским посвящением и портретом автора: Хохлов из Большого театра в роли «Демона»...

«Декадент» — впервые у Макса Нордау, Гениальность и помешательство (1903-1904): Эдгар По, Ибсен, Метерлинк, Толстой, Нитцше, Шекспир — в одну кучу — «декаданс». О «декадентах» не без Нордау, но без его огула, Н. К. Михайловский в «Русском Богатстве», а в «Вестнике Европы» пародии Вл. Соловьева.

Так слово «декадент» попало в русский оборот и пошла блоха скакать по лицу русской земли.

Но что было «декадентского» в «Обнаженных нервах»? Бумага? Посвящение? Портрет?

От каждого да останется хоть какой-нибудь гульдик и что годами повторяется, пока не выпенится имя автора. «О закрой свои бледные ноги» (Брюсов), «Люблю себя, как Бога» (З. Гиппиус), «Запустил в небеса ананасом» (Андрей Белый), «Так вонзай же, мой ангел вчерашний, в сердце острый французский каблук» (Блок), «Между женщиной и молодым мужчиной разница не так уж велика... Как от уха разнится рука» (Кузмин), «Чуждый чарам черный челн» (Бальмонт), «И учредительный да здраствует собор» (Тан-Богораз), «Дыр-Булщир-убещур» (Крученых), «Мелкий бес» Сологуба и даже из мало известных — «Он миру завещал «Что делать» свой трактат-роман» (Вас. Вик. Леонович-Ангарский). Но что может остаться, пусть для смеха, из смеси Надсона — П. Я. (Якубович-Мельшин) и отголоска Курочкина в «Будильниках» и «Осколках»?

Розовая бумага, египетское посвящение, демонский, оперный, чужой портрет, бурка наголо, ассирийская борода, Тверской бульвар, четверг, музыка, волна с волной — Пушкин и Сар-Пелядан...

Однообразный и безумный,
Как вихорь жизни молодой,
Кружится вальса вихорь шумный,
Чета мелькает за четой...

КОНЕУБОЕЦ

Денис с Преображенского, беспоповского Федосеевского толку. Самопоставленные отцы — «большаки», никаких таинств. «Ими же судьбами веси, спаси!» «В лесах» у Мельникова-Печерского беспоповцы, хорошо пишет, и лес его — куда топор ходил, и поле его — куда коса ходила, всем памятны. Черный цвет — одежда богомилов, но какое чудесное пение — всеми луговыми цветами окрашенное — «знаменный распев. Потому что нет таинства брака, толк объявлен «безнравственным», и «неблагонадежный», потому что «правительство антихристово».

В начале 60-х годов прошлого увлечение старообрядцами. Начал казанский профессор Щапов, а весь революционный пыл — Бакунин. В Лондоне на Богоявление, поднимаясь по лестнице на свидание с приезжим старообрядцем, Бакунин пел: «Во Иордане крещающееся Тебе, Господи, Тройческое явися поклонение...» А на собрании Герцен и Бакунин покурить выходили на кухню, пока не выяснилось, что старообрядческие гости сами курящие, только стесняются. За старообрядцами как ухаживали, но «революции» не вышло. Отдельные лица, но только тут вера в Огненного протопопа непричем.

Так и случилось с братом Дениса.

Об этом брате я много наслышался, Денис часто вспоминал. И все книги от брата. За Денисом я затвердил воззвание Чернышевского (Колокол, 1858). Меня волновало это, как говорили благоразумные, это «безбожие, мятеж и кровопролитие» и еще «сердце», о котором сердце благоразумные не имеют понятия...

«К вам, молодые люди, к вам, сидящим еще на скамейках и в аудиториях, обращаюсь я теперь. Вам выпадает на долю великое, небывалое дело. Вы будете призваны *спасти мир* и осуществить истинное царство Христово. Начните с того, что, изучая науки общественного устройства, по-преимуществу касающиеся экономических отношений и естественных прав человека, не верьте им, как бы они, повидимому, ни удовлетворяли; изучайте их глубоко для того, чтобы предать их проклятию; изучайте для того, чтобы разрушить их и создать новое здание. Не забывайте, что Царство Христово еще нигде не было на земле, что царствовала форма, а не сущность. Все общества смеются над истиной Христа, везде *душно, тесно сердцу*. Только в русском крестьянском поле, только в русской крестьянской сходке, только в русской деревне отдыхает сердце, становится широко и дышется свободно. Умрите, если будет нужно, умрите, как мученики, умрите за сущность, как умирали первые христиане за форму, умрите за сохранение равного права каждого крестьянина на землю, умрите за *общинное начало*».

Брат Дениса и умер за «общинное начало». А Денис — то же чувство: «тесно и душно сердцу». Денис со всей страстью брата вышел — мимо людей — на коня: конеубоец.

ТРЕХГОРНАЯ

Денис на музыке редкий гость. А когда будет, мы неразлучны: все о книгах. Кончится музыка, а уходить не хочется, заглянем в пивную — тут же, на Тверском. И в пивной — о книгах.

Наглядевшись на Пушкина и Сара Пелядана, мы сидели в «Трехгорной». И как всегда то же чувство: образ Пушкина и Сара Пелядана меня уводит и мучает — и, видя неотступно, я спрашиваю себя: чего или чему?

В этот памятный вечер, это было в последний четверг,

Денис рассказывал трагическую историю о Шевыреве. Начал он еще на бульваре, мне запомнилось «14 января 1857, Москва, заседание Совета Московского Художественного Общества у А. Д. Черткова».

«Собирались спрохвала, — рассказывал Денис, — заседание не открывали, разговор про разные художества: канун великих реформ, — было о чем; очень волновался Шевырев. Вошел запоздавший гр. Бобринский...»

Бобринский верстался только с министром Паниным — петровская мера: плечища, пар десять выкроит портной на среднего, а будет кащей, и вся дюжина, а на карла, считай сотня. У Чертковых хорошо топили, а как вошел, да расселся Бобринский, чувствительных стал пот прошибать, вроде — за третий самовар сели.

Бобринский, как и Сухово-Кобылин, «неслужилый дворянин», независимость, блестяще-образованный, верхушка дореформенной интеллигенции, богатый помещик, знаток и покровитель искусств, не уступит Уварову, арзамасцу и изобретателю золотого: «православие — самодержавие — народность». И патриот — Бобринские столпы.

Шевырев перед Бобринским — тля, но передо мной — человек, с неизменной Анной на шее, выше не досягнул, обходили, влюбленный в «сень струй» итальянского неба, поэт, есть хорошие стихи, друг Зинаиды Волконской и Гоголя, профессор эстетики, автор древней русской литературы, и патриот: Степан Петрович Шевырев то ж, что Минин-и-Пожарский.

— Разговор о русских порядках, — продолжал Денис, — о злоупотрблениях в управлении казенных железных дорог. «Грабеж в этих случаях чисто наше родное дело!» по-волчьему скалясь, Бобринский. Смолчали, что, кажется, не понравилось Бобринскому. А хозяин, чтобы загладить неловкость, заговорил о предстоящей всемирной выставке и о возможности участии в ней России. «На выставку, подхватил Бобринский, при настоящем положении наших дел, мы могли

бы послать разве только драную спину помещичьего крепостного, чтобы похвалиться перед Европой беспримерной выносливостью этой спины!» И вдруг поднялся и, как бы кончая всякий разговор, задохнувшись: «Да и вообще, когда все это слышишь, самое имя «русский» становится противным». И не сел. Опять молчали. Но не выдержал Шевырев и, наступая на Бобринского, стал кричать с упреком, что он позорит и унижает Россию и все русское безразлично: «Хорош патриотизм!» А на это Бобринский со своего с верху, как плюнул: «Неблагодарный труд защитника всякой мерзости и подлости!» И тут Шевырев, обратясь в шар и подскача в бобринской пасти, лопнул: «Для меня дороже всего честь русского имени, а вам, граф, дорог титул!» Бобринский сделал шаг, ворча, — слов не разобрать, но все поняли: дуэль. Шевырев выпрямился, он был гораздо выше, чем казался, глаза поэтически «под сень струй» и рукою так — отстраняя: он не принимает вызов. «Я защищаю честь русского имени...» проговорил он отчетливо, но в «имени» не совсем твердо и схватился за стул. А Бобринский подумал, стулом он его бить собирается и, ухватя за Анну, приподнял к самой люстре и шваркнул об-пол. Гости бросились разнимать — да уж нечего: со сломанным ребром Шевырев не только наскакивать, а самостоятельно и подняться не может, и плакал обиженными глазами. На всеподданейшем донесении московского генерал-губернатора Закревского резолюция: Шевырева в отставку и ссылка в Ярославль. А Бобринскому безвыездно в его подмосковную деревню.

Пивная между тем набивалась посетителями, начинали галдеть.

— Любили, конечно, оба — оба страдника — и горячо и всецело Россию, — раздумчиво ответил Денис на мое раздумье, — а разве Герцен не любил Россию и Филарет Московский и сам Николай I? Хомяков хорошо сказал: «каждый по своему пониманию».

И эти слова Дениса прозвучали отдельно и ко всем. И я вдруг понял, что вся пивная затаилась. И увидел: мимо

столиков медленно шел Сар Пелядан и с ним египетская царица Клеопатра.

Все столики были заняты, и вот на моих глазах один оказался вдруг свободным, точно из-под земли вырос: его занял этот странный, все заглушивший посетитель.

Он сидел против нас и с ним египетская царица Клеопатра. Она заказала «Трехгорного», и тотчас хлопнула пробка. Очень тихо было, каждый шорох внятен и чутки пивные пенные бульки. Не по царски, с жадностью выпил он стакан — или бурка шерстела? Она ему еще налила и осторожно отпивала свой: будь у нее усы, она бы с удовольствием обтерлась пальцем.

Они сидели молча, ни на кого не глядя. А все глаза были на их столик.

Мне было любопытно, как кто смотрит, и невольно я остановился на нашем соседе. Это был без возраста, но не скопец, лицо у него грязное, не грязью, а поносной смесью, а руки жилистые красные; если нарядить его факельщиком, руки будут огненные, а лицо пропадет. Упорно, не отводил он глаз с ассирийской бороды и египетской царицы; видно было, упорная мысль прожигала его, но слов высказать эту мысль не было или мысль была так велика, не достанет никаких слов.

Денис мне подмигивал своим необыкновенным глазом, и мне чудилось, вот услышу его роковое: «не сопротивляйся». Да я уже слышал.

И точно на мой слух сосед вдруг поднялся, с жадностью сцапал свою недопитую бутылку и, шмаргнув носом, запустил.

И что удивительно: при всеобщем одобрении и досаде, что промахнулся, сужу по кряку.

— Александр Николаевич, пойдемте! — ясно прозвучал слабый детский голос и с какой-то египетской печалью «Книги мертвых».

Но он не пошевельнулся и только брезгливо отставил стакан с блестящими зелеными осколками.

И мне вспомнился вечер, когда обезобразили Пушкина, и как потом Денис мне объяснил, что «так сделалось».

А это зеленое стекло тоже «так сделалось?» И сломанное ребро? И что же не «так делается?» «Поверить. Кому же? — какая насмешка!» И слова повторялись, но больно — —

И в эту ночь, пробираясь сквозь зеленые бутылочные стекла и ребра с кровящимся мясом, весь исколотый, но не чувствуя, я попал на Москва-реку. На Каменном мосту, наклонясь... В реке отражается Кремль — его стены, его башни, его соборы, и трепетно догудывал реут-колокол. Все было торжественно-необыкновенно, а в моей памяти вся московская быль от татар до Петрова нашествия. И вдруг отворилась калитка и показалась белоснежка — она была и та и другая — пропавшая — Наташа-Ироида. И с ней, но это были не серенькие пичужки, не мои с горячо бьющимся сердцем и живою кровью серые птицы, и не медведки с манящими мохнатыми лапками, а зеленые кузнечики. И в каждом шаге ее повторялось: «душно сердцу!» — тяжело шла она. Она была ко мне так близко, как в Пушкинский вечер. И я прочитал в ее горьких глазах под стук ее сердца: «умереть за общинное начало!» И подумал: значит, и это ей известно? И протянул к ней руку, вспомнил, что стою на мосту, я хотел поднять ее до себя, и коснулся ее колен. «Убери лапу!» сказала она и толкнула меня в воду.

Мы сидели на Тверском в Трехгорном. Ничего ассирийского и египетского, русский доморощенный галдёж, выкрикивали несуразное. Человек с огненными руками, весь в черном, дирижировал. «Отчего мне так грустно?» сказал я белоснежке. Мы молча сидим. И мои руки сжаты в тоске, потому что я понял, — что «я тебя люблю». И в ответ черная волна ее горьких глаз ударила в меня, и в зелени моих осво-

божденных глаз поплыло белое — и плывет белоснежное, раскрывая свое тайное — алое.

1933 - 1946

И я понял: я родился в счастливой «сорочке», бабка украла «сорочку», да не сберегла себе на счастье, она сожгла мою шкурку. Я как сказочная лягушка, как лебедь, у которых тоже сожгли их шкурку, — вернуться в тот мир мне заказано до срока. Я принужден оставаться среди людей беззащитный. Какая неверная доля! И мое счастье — горькое счастье.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Impr. de Navarre, 11, rue des Cordelières, Paris

АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ

Книги воспоминаний:

ПОДСТРИЖЕННЫМИ ГЛАЗАМИ. (1877-1897)
Ymca Press, **Париж 1951.**

ИВЕРЕНЬ (Осколок) **1897-1905. Не издано.**

ПЕТЕРБУРГСКИЙ БУЕРАК. (1905-1917). Не издано.

ВЗВИХРЕННАЯ РУСЬ (1917-1923). Таир. Париж 1927.

УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ (1923-1939). Не издано.

СКВОЗЬ ОГОНЬ СКОРБЕЙ (1940-1943). Не издано.